А. П. Максимович

Идут большевики...

ПАРИЖ
1938

А. П. Максимович

Идут большевики...

ПАРИЖ
1937

Imprimerie spéciale du „ Courage ” 24 rue d'Alleray

В большом саду цветет сирень — белая и лиловая. Душистые грозди низко склоняются на гибких стеблях. Я ловлю их, подскакивая насколько можно выше, рву, с усилием отдирая кору и ищу счастья — пятилиственный цветочек. Какая прелесть сирень. Сирень и акация. Ими полон сад, и я наслаждаюсь их запахом.

Впрочем, сегодня сирень помогает мне скрыть слезы досады и обиды. Я очень огорчена.

Мне сегодня в первый раз разрешили посмотреть большой журнал «Нива», который в красивых переплетах стоит в гостинной. Это журнал настоящий, для взрослых — его читает мама. Там масса картинок и нам с братом Васей всегда хотелось его осмотреть. Но нам не позволяли, потому что мы маленькие и можем его испортить — запачкать. И вот сегодня разрешили. Какая радость!

Мы с братом уселись рядом на диване в папином кабинете. Тут же стоит большой письменный стол с массой интересных вещиц, разными карандашиками, ножичками, циркулями, печатями, которые мы рассматриваем вечером, сидя у папы на коленях.

Днем папы никогда нет. Он на службе. Служба это великое дело, самое важное и почетное. Все в доме вертится вокруг папиной службы. Я знаю, что маме очень хочется, чтобы папа сидел здесь побольше с ней и с нами, в гостинной или в саду. Но нельзя. Папа должен идти на службу. И мама его дожидается терпеливо.

Мама никогда не выходит из дому без папы, ни гулять, ни в гости. Ей скучно идти одной. Но папа не может идти с ней. Он на службе. Иногда папа, возвращаясь домой, приказывает укладывать чемоданы; он едет в командировку. Мама беспокоится. Мама всегда беспокоится, когда папы нет. Но папа должен ехать, хотя и очень любит сидеть с нами. Я наверное знаю, что ему гораздо веселее сидеть дома, чем ехать куда нибудь в гости, или на вечер. Но когда надо ехать на службу, он никогда не бывает недоволен. Он весел тогда. Служба чудная вещь.

Самое лучшее в службе — это маневры. Когда папа возвращается оттуда, мы замираем от радости. Он будет нам рассказывать про маневры.

Вечером мама и папа сидят вдвоем в кабинете, а нас в половине девятого посылают спать наверх. Мы быстро раздеваемся под присмотром фрейлейн, и затем брат торжественно стучит в пол снятым ботинком. Это знак папе и маме, что можно идти к нам.

Они приходят и папа начинает рассказывать или читать. Рассказы о маневрах наши любимые. Маневры это как будто бы война. Ходят войска и с ними случаются разные интересные вещи и, наконец, побеждают самые толковые и умные. И там же ходит папа. Он наверное лучше всех.

Брат Вася тоже будет офицером. Когда он подрастет, его отправят в Пажеский корпус. Он с двухлетнего возраста записан пажем, из за заслуг дедушки. Это большая честь.

А я? Мне говорят, что девочка не может быть офицером. Это жаль! Это меня сердит! Почему? Какая разница? Я сильнее Васи и уже умею читать по немецки. Мы еще увидим! Может быть, если я буду очень хорошо учиться, то и меня возьмут на службу.

Папа служит Государю и России. Я знаю портрет Государя. Он очень красивый. Даже красивее папы. Государь гораздо, гораздо выше папы и папа ему служит. И дедушка тоже ему служит. И служить ему большая радость, большая честь! Ее надо заслужить. Надо много и хорошо учиться, чтобы потом служить ему. Ах, как бы и мне хотелось служить!

Я знаю и портрет России. Он называется карта, и висит у нас в детской. Он тоже красив, очень красив. Россия большая — самая большая, самая лучшая. Она гораздо больше других стран. Какая маленькая рядом с ней Франция, страна мадемуазель. Папа говорит, что в России все есть, что сильнее России никого нет, что она всегда побеждала и всегда будет побеждать. Как хорошо, что я русская!

И вдруг сегодня, какой ужас!

Мы сидим с Васей и смотрим «Ниву». Там особенно интересны пароходы — разные миноносцы, броненосцы, крейсеры. Мы стараемся их срисовать, и выходит недурно. Что это за пароходы?

Мамы нет. Фрейлейн сидит рядом, но она не умеет объяснять книги. Надо самой прочесть. Читаю...

«Русско-японская война»... «Порт-Артур»... «Эскадра адмирала Рождественского»... «Гибель эскадры»...

— Фрейлейн, сейчас война?

— Нет. Никакой войны нет.

— А это — русско-японская война, что это такое?

— Она кончилась, вот уже три года.

— Кто победил? — спрашиваю я машинально.

— Японцы.

— Что???

— Вы бы лучше пошли на двор побегать, — посоветовала фрейлейн.

— Как? Японцы победили русских?

— Да.

— Как же это возможно, — говорю я, чувствуя, что все в голове у меня мешается. — Это невозможно.

— Спросите вашего папу, он вам расскажет, — ответила безразлично фрейлейн.

— Ей это не важно! — думаю я со злостью.

В комнату входит мама.

— Мамочка, японцы победили русских?

Мама с улыбкой поправляет мои волосы.

— Ну, не совсем! Это — так, была война незначительная. Если

бы Россия продолжала воевать, то, конечно, победила бы Японию. Но Государь прекратил войну, прежде чем Русские подвезли нужные войска туда, далеко. Это очень далеко.

— А! Вот что!

Но все-таки это неприятно. Где она эта Япония на карте? Я прошусь наверх вымыть руки, и бегу смотреть карту... Вот она! Такая малюсенькая! Да, конечно, ее бы победили. Почему так не вовремя.. Но я вспоминаю, что войну прекратил сам Государь, а он все может и все знает. Значит так надо. Я вздыхаю. Какая досада, что японцы победили. Хоть не совсем, а все-таки. Противно! Мне это очень неприятно.

Я бегу в сад, откуда меня кличет фрейлейн, и иду рвать сирень Там удобнее скрыть, что я плачу.

Вечером возвращается папа. Он очень весел и начинает играть с нами. Значит эта победа Японии не такая уже катастрофа. На мои расспросы папа отвечает очень успокоительно, почти то же, что и мама. Конечно, если бы война продолжалась, то Россия бы победила. Россия всех сильнее. Но все-таки победили Японцы. Это стыдно.

Я долго думаю: она такая маленькая... Как это вышло? А кто там командует? Мне говорят, что там император — микадо. Какой противный! Где он сидит? В Токио. Где оно?.. Здесь, на берегу моря.

А что же все эти пароходы, которые мы видели в «Ниве»? Они не могли подъехать и выстрелить в микадо? Ах, да! Эта эскадра погибла. Они старались, но не смогли.

— Папочка, эскадра Рождественского шла на Токио?

— Нет, она шла во Владивосток, но она должна была потом биться против японцев.

— Почему она погибла?

— Потому, что ее встретил японский флот, после того как она очень была истомлена долгим путешествием вокруг всей Европы и Африки. Она плыла из Петербурга, видишь, вокруг всего этого... Был бой, и наши суда погибли. У нас были плохие суда, а у японцев хорошие.

— Почему?

— У нас плохо умеют строить суда. Фабрик нет. Приходится строить за границей...

— Как, — перебила я в ужасе, — наши пароходы строят за границей! Они же нарочно там их портят, наверное!

Папа смеялся.

— Нет. Кто же их портит? Но все таки флот наш слабее японского. Армия у нас первая в мире, а флот плохой. У японцев было много подводных лодок. Они подплывали к нашим под водой и топили их. А сверху не было видно.

«Да! Конечно. Если они подплывают под водой, то это страшно. Раз их не видать — что же делать?»

Меня очень заинтересовали подводные лодки и на следующее утро я их разыскала в «Ниве».

Потом мы пошли с Васей учить уроки в мамин кабинет. Уроками нашими заведовала мама. и мы их очень любили.

— Вася, — сказала я, кончив переписывать страницу, — Надо взорвать Токио!

— Что?

Надо взорвать Токио. Там сидит микадо, японский император. Он враг России. Он потопил нашу эскадру. Ты знаешь, что я придумала? Сколько нам лет? Тебе семь, а мне восемь. Так вот — сейчас нельзя. Мама не пустит. Но как только мне будет... — я задумалась. — Когда мне будет, как Тале, двадцать лет... Нет, долго ждать, это страшно много двадцать лет!.. Когда мне будет, как Наташе Вороновой, шестнадцать лет, мы с тобой должны ехать к Государю и сказать ему, чтобы он нам дал подводную лодку. Мы на ней подплывем к Токио. Никто не увидит. Я надену водолазный шлем, как ты видел в «Ниве», и подрою яму под Токио. Заложу порох и взорву.

— А мы тоже взорвемся? — стоически спокойно спросил Вася.

— Не знаю! Нет! Сбежим! —

— Ты думаешь, надо? — сказал Вася, всегда очень внимательно относившийся к моим инициативам.

— Обязательно.

— Хорошо. Сделаем. — Он начал решать задачу.

— Знаеш, — сказала я. — Это действительно надо будет сделать и, чтобы потом не забыть, мы это запишем в альбом и подпишемся.

— Зачем? — удивился Вася.

— Так лучше!

Я старательно и калиграфически записала в своем альбомчике торжественное обязательство, когда мне будет 16, а Васе 15 лет ехать к Государю, и затем взрывать Токио. Он и я подписались под этим документом.

Однако, Папа отнесся к проэкту скорее скептически. Под водой мокро и порох не взорвется. И его уж очень много надо будет. Но сама инициатива ему понравилась.

**
*

Май 1909 года.

Мы с Васей кончили уроки и сидим в саду на своих маленьких скамеечках. У нас на коленях ружья и желтенькие, кругленькие коробочки с пистонами. Надо поднять курокъ, положить розовый пистон, потом спустить курок, и раздается выстрел. Мне подарили недавно новое ружье, ко дню рождения. Конечно подарили и другие вещи — чайный сервиз, кухоньку. Я девочка, и знаю, что мне полагается иметь игрушки для девочек, разные кухни, сервизы, куклы. Я их принимаю с удовольствием, но играть с ними не интересно. Другое дело ружье и книги.

Мы надели уланские кивера, на нас старые шарфы и аксель-

банты, выброшенные за ветхостью. Мы в самом воинственном настроении. Фрейлейн читает нам в немецком детском журнале очень интересные рассказы. Один про крестьянина - героя Андреаса Гофера, который не захотел, чтобы его страна Тироль была под австрийским владычеством. Он восстал против австрийцев с кучкой партизан и совершил замечательные подвиги. История кончалась грустно, смертью Гофера.Но меня она восхитила. Вот это жизнь! Молодец Гофер!..

Теперь фрейлейн читает другую историю, еще более интересную. Свен Генге, датский крестьянин борется с небольшой кучкой друзей против шведских завоевателей, разбивших регулярную армию. Дания на краю гибели. Всюду бродят свирепые шведы. Но Свен Генге, его брат Абель и их товарищи подымают народ, устраивают нападения на полковника Мангеймера, шведского начальника. Повстанцев наконец убивают, после самых потрясающих приключений, но Дания спасена. И датский король при торжественных кликах народа въезжает в свою столицу.

Ах, как бы я хотела быть Свеном! Если бы только Государю надо было бы послать меня куда нибудь, как датский король посылает Свена с письмом, зашитым в брюхе убитого оленя! Впрочем, зачем я ему нужна? Ему служит и армия,и папа, и масса людей! Хоть бы скорее вырасти! Я обязательно буду служить. Как? Я не знаю — там видно будет. Но я этого добьюсь, обязательнон добьюсь! Я должна так много знать и уметь, чтобы все забыли, что я девочка! Надо учиться!

Но быть Свеном все таки интересно. Мы будем играть в Свена. Я — конечно, Свен, Вася — Абель, его брат. Но кто же будет шведами? Мы хотим, чтобы за шведов стала наша младшая сестра Маша, которой только четыре года. Но она очень кричит и ни за что не хочет быть шведами. И фрейлейн сердится. Ничего! Пусть шведы будут там за кустами.

Все лето Свен и Абель боролись со шведами в кустах. Мы потратили на это целую кипу пистонных коробок, которые нам покупали большими пачками.

А ведь шведы действительно очень гадкие! С ними боролся не только Свен, но и Петр Великий.

Мы сидим на широкой, покрытой диким винонградом терассе. Мама сидит тут же и вышивает. Близится вечер и лучи солнца становятся косыми, тени удлиняются. Запах цветов, которыми напоен воздух, становится еще сильнее. Наш красивый особняк стоит среди сада, а на нем, далеко в небе, реет флаг.

Звонок! Это папа!

Мы несемся к калитке, по покрытым мелким гравием аллеям. Он входит веселый и несет пакет. Мы бросаемся целовать его. Усы его немножко колются, но я так люблю папу, люблю, когда он нас ласкает. Он входит в дом и я помогаю ему снять шинель.

— Вот вам книжки, — передает нам пакет папа, — читайте!

Мы рвем обертку пакета.

— А! Это Петр Великий!

— Да. Прочтите. Скоро двухсотлетие Полтавской битвы.

— Что это такое? Папочка, расскажи!

Мы бежим вслед за отцом на веранду, к маме. Туда же подают обед. Папа рассказывет о Полтвской победе.

После обела мы с Васей садимся читать принесенные папой книжки. Это очень интересно... Нарвское поражение... Но Петр им не смущается... Это ничего... Надо выучиться сначала! И вот он едет за границу, учится, работает. Он и плотник, и каменщик, и корабли строит, и бумагу льет! Он все умеет делать. И вот он строит Петербург... Армия готова! Полтавская битва! Торжество! Победа!

«И в состав Европы вдвинут
Новый северный колосс!»

Это красивые стихи. Но вот еще лучше:

«Было дело под Полтавой,
Дело славное, друзья!
Мы дрались тогда со шведом,
Под знаменами Петра.
Наш могучий император,
Слава вечная ему!
Богатырь был между нами,
По осанке и уму.
Сам родимый пред полками
Ясным соколом летал,
Сам ружьем солдатским правил,
Сам и пушку заряжал.
...Бой кипел, стонали люди,
Смерть витала вкруг царя,
Но хранил Господь для русских
Императора Петра.

В тот же вечер я знала эти стихи наизусть на всю жизнь.

***

Я лежу в кровати. Тихо мерцает лампадка, вокруг которой стоят горшки герани. По стенам комнаты ползут причудливые тени от цветов и ветвей. Мне не спится, я вообще часто просыпаюсь ночью и думаю. Мне вовсе не скучно. Напротив. Я слежу за тенями на стене и вижу разные красивые вещи — заколдованные замки, принцесс, русалок, героев...

Больше всего героев в Русской истории. И они настоящие. Они живые, а не выдуманные. Их много: Суворов, Дмитрий Донской, Екатерина, Петр, Ермак... Много, много.

Я тоже хочу быть героем, но не знаю удастся ли. Одно меня смущает — смерть. Я очень боюсь смерти. Что это такое? Дедушка, мамин папа умер. Говорят, что его душа на небе. Но я знаю, что его положили в могилу. Это очень, очень страшно идти в могилу и

лежать там одной, на кладбище, ночью. Я не хочу умирать. А вот герои умирают. И Петр Великий тоже умер. Ну, он, наверное, не боялся — он такой храбрый. А я боюсь. И на войне умирают. А папа сказал, что если будет война, то он пойдет на войну... Я спросила маму, может ли папа быть убитым на войне. Мама сказала, что, слава Богу, войны нет, но, что на войне все могут быть убиты. Значит и папа. И папа ничего... Как будто не боится... Он не боится войны.

Как же это я боюсь умирать? Это стыдно, наконец! Никто не боится, а я боюсь, а еще хочу быть героем. Скверно! Может быть, это оттого, что я еше не выросла! Но Вася тоже не боится, он вчера сказал. Я его спросила. Он говорит — нет! А мне страшно.

Нет! Я надеюсь все таки, что если надо будет умереть за Государя или Россию, я все же не побоюсь. Все равно! Пусть! Полезу в могилу, хотя и страшно. Ведь лезут же другие. За Россию — можно. Решено. За Россию — полезу, а иначе — ни за что! А теперь надо заснуть...

Утро. Мы встаем. На дворе чудно хорошо. Солнце, безоблачное небо, запах моря. Радость. Сегодня великий день! Государь приезжает в Одессу. Папа и мама его увидят. Будет торжество, парад...

— Аня, скорее. Ты опять там копаешься! — слышу призыв фрейлейн.

— Сейчас, — отвечаю я безразлично.

...Много шведов, много наших
Под завалами легло,
Вдруг впилась другая пуля
В наше царское седло.
Не смутился император,
Взор как молния сверкал,
Конь не дрогнул от удара,
Лишь быстрее поскакал...

— Ты идешь, наконец, или нет?

Я стою с незастегнутым ботинком среди комнаты и философски слушаю упреки фрейлейн.

— Фрейлейн, когда приедет Государь?

— Сегодня, — недовольно отвечает немка.

«Ей все равно.»

Я не люблю фрейлейн. Со вздохом забираю свои книжки и бегу в столовую и на двор. Папа и мама еще спят. Они вчера вечером были в гостях. Надо, чтобы папа рассказал, как приедет Государь... Ведь государь — это тоже самое, что Петр Великий, но только Петр Великий был давно, а он сейчас. А если бы в Одессу приехал Петр Великий... Но он не может. Он умер. Жаль!

Через час мы бежим в спальную мамы. Папа и мама встают.

— Папочка, расскажи, как приедет Государь!

Мы слушаем с напряженным восхищением. Папа говорит, что Государь выше всех людей. Что он правит Россией и ведет ее все

дальше по пути славы, благоденствия и могущества... Я не вполне себе уясняю, что значат эти слова. Но это что то очень хорошее. Россия великая и могучая страна и будет еще выше и могущественнее. И мы, когда вырастем, будем работать на нее, если хорошо выучимся.

Надо учиться и читать. Мы с Васей много, много читаем. Папа и мама это поощряют и приносят нам массу книг. Особенно хороши книги по русской истории. Что за великие люди! Как много они сделали. И я, когда выросту, постараюсь тоже делать...

Больше всего я люблю петь «Боже Царя храни!». Какая чудная музыка. Мама нам часто играет, а мы поем: Нет никакой другой музыки такой, как «Боже Царя храни!». Когда я слышу его, у меня по телу пробегают мурашки и щекочет в горле. Это Русский Гимн!

Замечательно, что все, что касается России, такое красивое: и карта, и Государь, и двуглавый орел, и белый, синий, красный флаг, и гимн... Все!

***

Мы учимся хорошо. Вася уже кадет. Его отдали в Александровский корпус, в Петербурге, в младшие классы. В Пажеский он перейдет прямо в старшие. А я хожу в гимназию. Мы живем уже не в Одессе, а в Ковно, где отец — Начальник Штаба 3-ей кавалерийской дивизии.

В гимназии учиться легко — пустяки. Быстро окончив уроки, я сажусь в папином кабинете. Там стоит громадный шкаф с книгами и в нем масса интересных вещей. Там история России Соловьева в шести огромных томах. Я туда уже заглядываю, но всего мне еще читать не позволяют. Там история конницы и очень красивые картинки. Но самое лучшее, это история 17-го драгунского Нижегородского полка, где папа командовал 4-м эскадроном. Их одиннадцать книг. Мы с Васей давно прочли их, но опять перечитываем. Особенно мне нравятся Турецкие и Персидские войны и борьба с Шамилем.

Какие молодцы Золотаренко, Ратиев, Захарий Чавчавадзе, Амилахвари, Амираджиби. Какие чудные эти драгуны! Я с удовольствием распеваю, тоже навсегда запомнившуюся мне, песню 4-го эскадрона.

«Про ночь семнадцатого мая
Четвертый помнит эскадрон,
В ту ночь погибель презирая,
На бой неравный вышел он.
И как всегда Нижегородцы
В грязь не ударили лицом.
И дни своей бессмертной славы
Опять украсили венцом.
Изменник наш, паша Кундухов

Задумал русских поразить,
Но шашка острая драгуна,
Успела козни отразить.
В глухую ночь засели турки
В долине под Бегли Ахмет,
И много их на утро боя
Увидел прадед Магомет.
Пять тысяч конницы турецкой
Разбил второй дивизион.
Ура же, третий молодецкий!
Ура! Четвертый эскадрон!

Сейчас меня больше всего интересует Отечественная война. Летом будет Бородинский юбилей. Наш дом наводнен книгами и брошюрками о 12-м годе. На Пасху Вася приезжает из корпуса и мы вместе читаем их.

Как ужасно, что Барклай де Толли все отступает и отступает! Прямо противно становится. Наконец соединился с армией Багратиона. Что же он теперь будет делать?.. Опять отходит! Это же невозможно!.. Смоленск... Отступление продолжается... Все отходят. Наконец, государь Александр I посылает в армию Кутузова. Но и он отступает. Странно!

Бородино. Русские останавливаются... Наконец! Бой... Шевардинский редут .. Семеновские флеши... Наполеон бросает в бой свои резервы. Он стоит на холме и наблюдает. Его просят дать старую гвардию... Русские стоят непоколебимо... Ура! Он не смог победить, несмотря на свои двунадесять язык! Я кручусь по комнате от восторга!

Вечером папа учит меня петь:

«Скажи ка, дядя, ведь недаром,
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?»

По вечерам папа уже не рассказывает нам про маневры, а читает Гоголя. Я особенно люблю Тараса Бульбу. Как чудно заканчивает Гоголь:

«Но есть ли такие муки, такие силы, которые могли бы сломить Русскую Силу!»... Конечно нет! Боже, что за счастье, что мы Русские!

***

Утром мы с папой ездим верхом. Он на своей огромной «Донне». Я на второй его лошади — «Инее». Папа учит меня ездить и я уже езжу недурно. Немного трудно управляться с мундштуком. Папа постоянно делает замечания. Четыре повода в одной левой руке — много! Но я так хочу выучиться!

Сегодня мы ездили в папину любимую конно-пулеметную команду. Папа рассказывал, с каким трудом ему удалось добиться, чтобы она была устроена так, как он считал нужным. Тогда это бы-

ла новость. Папа летал по городу, сносился с разными властями и, наконец, добился того, что местное самоуправление города, кажется Бржозовский, городской голова, предоставил для команды очень хорошее помещение, с большим двором и площадью для сада.

Папа вообще всегда ругается, когда солдаты не хорошо устроены. Так ругается, что страшно становится. Мама даже как будто этого стесняется и тихо-тихо останавливает папу. Я слышала, как она сказала, что не надо говорить людям дерзости. Но папа только смеется.

— Подумай, — говорит папа. — Эти дураки воображают, что это будет «русский дух» и патриотизм, если солдат заставлять каждый день есть щи и кашу. Ведь противно все время есть одно и то же! Зачем это! Гораздо лучше спрашивать их, и делать, что хотят — и макароны с мясом, и пельмени, и что угодно! Нет — русский дух — это щи! Болваны!

И это слово: серые герои. Я не могу слышать этого слова! Они вовсе не серые, а должны быть самыми блестящими. А если они у тебя серые — сам виноват, и стыдиться надо, а не радоваться.

И казармы должны быть веселые, светлые, нарядные, так, чтобы приятно было войти в них! Подумай, молодые двадцатилетнние люди там живут годами! Русский народ самый замечательный, самый талантливый, самый толковый и умный на свете. Перед ним лежит великое будущее. Но, конечно, ему нельзя оставаться в том свинстве, в котором он еще живет. В Новгородской губернии есть еще курные избы! Каково! Надо, чтобы народ воспитывался, выходил из затхлости и невежества, становился культурным. И для этого надо пользоваться военной службой, чтобы этих молодых людей сделать грамотными, развитыми, повысить их умственный и культурный уровень! Чтобы они потом в деревню приносили новые запросы, привычки и потребности. А они — серые герои! А они — солдат должен быть неприхотлив. Он, чорт возьми, слишком неприхотлив! Надо его выучить лучшему.

Я помню каким удивлением было встречено папино распоряжение завести для солдат зубные щетки, завести скатерти, салфетки, ночные туфли, носовые платки и выучить ихъ чистить зубы по утрам. В конно-пулеметной команде, которой отец сам занимался, было очень уютно и красиво. Занавески, цветы, чистые половики, всякие украшения на стенах. Среди солдат нашелся художник, который их искусно расписал. Было красиво. Перед домом были разбиты садики.

Однажды отец вернулся полу-сердитый, полу-насмешливый.

» Представь себе, — сказал он маме, — эти дураки обиделись, что мой писарь пришел на вечер, где были офицеры и танцовал там. Ведь какими надо быть идиотами. Как он себя там держал? Отлично. Все от него были в восторге и обиделись только, когда узнали, что он мой писарь. Ведь это же противно, наконец! Надо радоваться, что у нас писаря такие, что от офицеров не отличить,

а они обиделись. Все равно. Я ему выговора не сделаю — пусть злятся. Я считаю, что это хорошо.

В штабе 3-ей кавалерийской дивизии, где папа был начальником, жизнь шла иначе, чем в друих штабах. Во первых писаря были первые в городе щеголи, что отец очень поощрял. Они держались свободнее и устраивали вечера. Так на Рождество был писарский бал и мы пошли. Я очень много танцовала с писарями, которые танцовали отлично и рассказали мне массу интересных вещей. Мне этот вечер очень понравился. Затем были драматические выступления, но не так называемый солдатский театр, которого отец не выносил. Он уверял, что солдат надо учить настоящим красивым вещам, а не какой то псевдо-народной глупости. К тому же настоящие хорошие вещи, по словам отца, нравились солдатам гораздо больше. В других штабах с писарями не танцовали и папа находил, что это жалко.

На Пасху они приходили к нам с поздравлениями и папа их очень любезно угощал. Но монархистом он был чистейшим, никогда никаких либеральных идей не терпел. И говорил постоянно, что России нужен самодержавный Император.

На лето мы ездили в Полтавскую губернию, в село Прохоровку, Золотоношского уезда, где было имение деда, В. Н. Максимовича. Оно стояло совсем недалеко от Днепра, напротив Канева и могилы Шевченки. Как мы любили Прохоровку! Дедушка жил в большом каменном доме, а мы во флигеле. Дед раньше командовал 3-м армейским корпусом, в состав которого входит и 3-яя кавалерийская дивизия, где служит папа. Он был членом Александровского комитета о раненых, но по своему преклонному возрасту, ему было уже 85 лет, жил в Золотоноше, в своей усадьбе, а на лето приезжал в Прохоровку. Он был довольно крупный помещик — имел более тысячи десятин земли.

Я очень любила дедушку и была его любимицей.

Утро. Свежо, хорошо. Сад залит солнцем. Спеют сливы и груши. Скоро Ильин день. Только что умывшись водой из криницы, в легком ситцевом платьице, я иду по саду к дедушке. Он уже встал и сидит за письменным столом. Я целую его руку. Он крепко обнимает и целует меня.

— Что это, дедушка?

— Отчет Парижской обсерватории. Смотри, как это интересно. Звездное небо.

Дедушка начинает мне объяснять карту звезд, вынимает разные книги русские и иностранные.

— Вот возьми, почитай, — говорит он мне. — Ты уже должна понимать. Это очень талантливое описание и легко читается. Сочинение Фламмариона. Когда кончишь, дам другие. И расскажешь завтра, что ты поняла.

Я беру книгу.

— А вот это новое издание Менделеева. Замечательный, выдающийся ученый!

— А что он придумал?

— Он открыл... — И умный старик в простых и понятных словах объясняет мне главные открытия Менделеева. Это немного трудно понять. Но дедушка не торопится — рассказывает часами. Он любит, чтобы я сидела с ним.

— А это что, дедушка?

— Микроскоп новый. Мне прислали. Смотри.

И дедушка показывает мне, как обращаться с микроскопом, капает воды на стеклышко и показывает мне прыгающих в воде инфузорий. Как смешно!

— А вот, я приготовил для тебя. Ты спрашивала про Бориса Годунова. Прочти.

Я с удовольствием хватаю книгу. Потому что, хотя инфузории, Менделеев и астрономия и очень интересны, но русскую историю я люблю больше всего.

— Дедушка, всю историю я запоминаю хорошо. Но вот удельных князей — не могу. Так много, все путается.

— Ты выпиши их в родословном порядке и запомнишь.

— А что такое родословный порядок?

— А вот я тебе объясню...

Это лето я копалась в истории Соловьева целые два месяца и злила фрейлейн, протягивая по комнате длиннейшую шестиаршинную ленту бумаги, о которую все спотыкались. Она была склеена мной для родословной дома Рюрика. Читая Соловьева, я вписывала туда в родословном порядке всех князей без исключения. Получилось недурно. Дед оказался прав. Двадцать лет спустя я еще помнила основную последовательность князей почти безошибочно.

Чудное лето! Мы с братом сидим на деревьях. Это гораздо удобнее, чем на стульях. Так широки развесистые ветки шелковицы. Тенисто. Прохладно. С земли нас трудно заметить. Тут же на ветвях книги.

Я сделала большое открытие. Прочла в первый раз подряд деяния и послания апостолов, жития святых, жизнь восточных подвижниц: Синклитикии, Сарры, Мастридии, Исидоры, Евдокии, Фомаиды и других. Вот это жизни! Вот как следует жить! А я до сих пор ничего не понимала. И как мне стыдно, что я так боялась смерти. Умирать вовсе, вовсе не страшно. Теперь только я начинаю жить по настоящему и знаю, что такое счастье! Ах, как хорошо, как дивно жить на свете! Слава Богу!

Я пишу стихи:

Неисчислимых благ податель,
Творец бесчисленных миров!
Земли ликующей Создатель,
И в небе блещущих громов.
О Ком лепечут листья бора,

О Ком шумит лесной зефир,
О Ком звенит гимн птичек хора,
Кто словом мощным создал мир.
О Ком шумят морские волны,
Кто свет любви нам указал,
И Кто святой любовью полный,
За мир греховный пострадал.
О, Бог любви и всепрощенья!
Как много чистой красоты,
Ты заключил в свои творенья,
В природы нежные цветы.
Как славит нежно и прекрасно
Величие Божие весна.
Но нет, я выразить не властна,
Все, чем душа моя полна.
И я могу лишь в восхищеньи,
Под говор плещущей волны,
Слить голос свой с святым моленьем
Цветущей, радостной весны.

Конечно, эти стихи очень посредственные. Но я не могу иначе выразить обуревающих меня чувств. Я очень, очень счастлива!

Что же я буду делать сама! Во первых я должна, насколько возможно, быть святой. Совсем — я не смогу. Но приблизительно, немножко — надо будет постараться. Быть святой еще лучше, чем быть Петром Великим. Но самое лучшее это Александр Невский. Он и святой, и так служил России, как никто. Александр Невский — мой идеал!

А затем надо служить. На военную службу, к сожалению, девушек действительно не берут. Но это не важно. Можно иначе. Так как я буду жить очень воздержанно — никаких удовольствий не надо — то я могу работать где угодно, и в деревне и в городе, и все могу делать — все, что нужно! Но служить я буду! Я еще не знаю как. Впрочем, это ничего! Пока надо выучиться. А потом... Спрошу у папы и у дедушки. Они посоветуют.

Зима 1913 года кончается. Февраль. 300-летие Дома Романовых. Апофеоз Империи. Я хожу как сумасшедшая. Всюду висят флаги, чудный парад, гром салютующих орудий. Нас посылают в кинематограф. Я там уже была, но мне не понравилось. Какие то люди тонули на пароходе, катали страшные глаза и женщина целовала какого то человека. Даже странно. Кто же целует чужих! Зачем это! Но фрейлейн понравилось. У нас совсем другие вкусы.

Зато эта картина была восхитительна.

Смутное время... В Москве зверствуют поляки, убивают русских. Патриарх Гермоген сидит в темнице... Но он отказывается подписывать бумагу, которую ему подсунули враги. Он зовет Русских бороться! Изгнать насильников, не признавать чужеземного ига! Он великий человек. И я бы ни за что не согласилась, чтобы иностран-

цы завладели Россией. Пусть бы меня в куски резали — ни за что бы не согласилась!..

Какой ужас, русские изменники ходят вместе с поляками и воюют против своих — русских. Мерзавцы!..

Но вот идут Минин и Пожарский! Они поднимают народ! Ополчение идет к Москве, освобождает ее... Ура! Радость! Победа!

Избрание Михаила Федоровича Романова... Молодец Сусанин! Конечно, так и надо было действовать. А ведь здорово, что он согласился их вести! Другой глупый, отказался бы. И они бы нашли где нибудь проводника. Но он нашелся...

Поздно вечером я лежу в кровати. Мне не спится. В гостинной мама играет на рояле. Мама чудно играет. Она кончила с золотой медалью Московскую Консерваторию. Сейчас играет сонату Шопена с траурным маршем. И я начинаю думать, как бы я сама действовала на месте Сусанина. А ведь он правильный путь показал. Надо врагов отвлекать на себя и возиться с ними, чтобы они не трогали других. Вот что надо делать! Это правильно! К несчастью вряд ли будет еще когда нибудь Смутное Время. А то я бы показала полякам! Недаром я так не люблю Зосю Перковскую. Она полька.

Но папа очень рассердился, когда я это сказала. Он мне долго объяснял, что теперь в России очень много народов, потому что Россия империя, и все эти народы надо любить так же, как русских. Потому что Россию составляют все вместе. И в этом величие России. Конечно, Русские в России главный народ. Но все остальные, поляки, грузины, немцы или армяне — тоже русские. Их всех должна защищать русская армия. Обо всех их заботится Государь и всем им одна Родина — Россия.

Мне стыдно. Теперь я буду знать.

Папа хорошо говорит по польски и с поляками постоянно говорит на их языке. Они это любят и у папы с ними хорошие отношения.

К нам, проездом за границу, приезжает тетя, мамина сестра. Они каждый год ездят за границу. Почему мы никогда не ездим? Ни разу?

— Зачем ездить за границу, — говорит папа, — когда у нас есть Россия! Лучше ехать к себе, жить своей жизнью, а не в иноземных гостинницах. Когда выростете, то поедете, чтобы познакомиться с чужими странами. Но пока, ростите русскими в России!

Он выехал за границу только в изгнание. Дед тоже никогда за границей не был.

***

1914 год.

Я перешла в четвертый класс гимназии, а Вася в третий класс корпуса. На лето мы по обыкновению поехали в Прохоровку. Было особенно весело, потому что папа поехал с нами. Он почти никогда не брал отпусков летом потому , что в это время все офицеры хо-

тят его взять. А папа говорит, что начальник должен уступать другим, потому что иначе они никогда не смогут взять удобное для себя время. А папа так любит службу, что ему никогда не тяжело оставаться и все равно когда брать отпуск.

Мы разучили французскую пьеску, чтобы сыграть перед папой. Все собрались в гостинной, как вдруг папу вызвали к телефону из Золотоноши. Он вернулся очень взволнованный и сказал, что его вызывал дедушка, и что объявлена будет мобилизация. В то же время ему принесли телеграмму. Его срочно вызывали в Ковно.

Папу давно уже беспокоило какое то убийство эрцгерцога и какие то споры Австрии и Сербии по этому поводу. Но он нам ничего не объяснял и вовсе не думал о войне. А тут вдруг дедушка определенно утверждает, что война будет. Папа еще не верит. Но дедушка очень знающий генерал, участвовал сам в разных войнах. И наверное он прав. Будет война.

Папа и мама идут разговаривать в спальню. А я несусь к себе, кладу земной поклон перед иконой и быстро-быстро молюсь. Началась настоящая жизнь — детство кончилось!

Папа немедленно уезжает. Сначала на лошадях в Золотоношу, куда его провожает мама и брат Вася. Потом в Ковно. Он останавливается в Киеве на час и едет в Печерскую Лавру поклониться угодникам. Его благословляет митрополит. Затем дальше — Вильно... Ковно... Война.

Началось сумасшедшее время. Одна за другой европейские державы вступают в мировую войну. Каждое утро я бегу за газетами, приношу их к маме, и читаю ей вслух военные новости. Каждый день идут новые объявления войны.

Папа часто пишет, а главное, телеграфирует каждый день. До нас доходят, доводящие меня до пароксизма патриотического восторга, известия о победах. Взятие Эйдткунена, Сталупенена, Гумбинена, Инстербурга и дальше, дальше... Я знала, что папа там — дерется.

Через несколько недель папа был в первый раз контужен, потом опять, потом ранен. Богатырского здоровья человек, он даже не эвакуировался и совершенно себя не щадил. Но потом опять страшная контузия в левый бок, повредившая сердце... Его отправили в Петроград. Мама выехала к нему.

Сентябрь 1914 года — убит дядя, брат папы, Владимир Васильевич.

Октябрь — убит другой дядя, Арапов.

Мы на зиму приехали жить в Золотоношу, к дедушке, в его усадьбу на Черкасской улице. Меня с сестрой отдали в местную гимназию.

— Мамочка, — спросила я однажды. а наши вещи, которые остались в Ковно? Где они теперь? Их сюда не привезут?

— Нет, милочка, папе некогда было думать о вещах, когда началась война. Он должен был думать о войсках. Они там навер-

— Но, мамочка, а вдруг они пропадут! Жалко. Вот у инженера Ш. тоже вещи были недалеко от границы, а он добился, чтобы их сюда перевезли. Ната Ш. сказала, что это удалось благодаря связям. Разве у нас нет связей?

— У нас связей, конечно, больше, чем у Ш., — ответила мама. — Но дело не в этом. Папа не хочет. Нельзя возить по железным дорогам вещи, когда пути нужны для подвоза войск и обоза на фронт. Возить сейчас вещи очень не хорошо. Это надо делать только в крайней необходимости.

Весной 1915 года Ковно было взято немцами и все наше имущество пропало там. Отец ничего не вывез. Я знала, что мама и отец очень любили нашу обстановку, которую сами подобрали, разыскивая красивые вещи. Но ни мама, ни приехавший тогда в отпуск папа ничего не сказали, ни одним словом не выразили своего сожаления. Я так и не знаю, что они думали об этом.

Жизнь наша шла очень размеренно. Мы с сестрой учились в гимназии. Брат был в Петербурге в корпусе. Мама ни сама никуда не выходила, ни нас не пускала. Она считала, что во время войны, когда на фронте ежеминутно умирает масса людей, неприлично ходить на какие бы то ни было вечера или даже в гости. Чтобы потом узнать, что папа убит как раз в то время, как она и мы пили чай или болтали со знакомыми?! А ведь папа убит мог быть каждое мгновение.

Я вполне этому сочувствовала и никуда не выходила. Зато часами сидела с дедушкой. Дедушка объяснял мне про войну, перечитывал папины письма и продолжал учить меня. Чего-чего я только с ним не прочла. Истории Шлецера, Маколея, Ключевского, труды Мечникова, Менделеева, отчеты разных обсерваторий, не говоря уж об историях разных полков и походах знаменитых полководцев. Я отлично в подробностях знала любую из кампаний Наполеона, Суворова, Фридриха Великого, Тюренна, Конде, Монтекукулли, Евгения Савойского, Аннибала... Дедушка однако любил подчеркивать разницу в масштабах между русскими и иностранными полководцами, кроме Наполеона.

Конечно Монтекукулли хороший полководец, но сколько у него было войска. Две бригады! Это просто хороший начальник дивизии. Тогда как Дмитрий Донской оперировал огромными массами.

И отец и дед были несколько обеспокоены не совсем удовлетворительным развертыванием событий на фронте. Но, конечно, ни на минуту не сомевались в победе и считали, что она принесет России чрезвычайно много. Я жила грезами о победе.

Сижу в своей комнате и пишу стихи. Они не особенно хорошо написаны, но мне так приятно их читать. Они так полно выражают мои чувства. Дедушке и папе они нравятся. Я довольна. Закончено длинное стихотворение о русской истории, которое мне нашептала зимняя вьюга.

Воет, стонет непогода.
Тучи, хмурою толпой,
По пространству небосвода,
Стаей носятся густой.
Долу с стоном лес клонится.
Спят замершие поля.
То мятелью веселится
Святорусская земля.
— Я не даром завываю, —
Вдруг мне ветер просвистел:
— Русским я напоминаю
Славный Родины удел!
С бою, в натиске победы,
Средь борений и трудов,
Русь сковали наши деды
Цепью лавровых венков.

Дальше — перечень главных побед и событий...

...Вы, орлы Екатерины
Гордость Родины своей,
Чудотворцы, исполины,
Цвет родных богатырей!
Крым, падение Варшавы,
Туртукай и Измаил,
Вот пути Российской славы.
Гром победы нас покрыл.
Русь всегда отпор давала
Стае яростных врагов,
И погибель им ковала
Средь мятелей и снегов.
С бою, в натиске победы,
Средь борений и трудов,
Русь сковали наши деды
Цепью лавровых венков.
И шепнул мне завывая
В лютой пляске ураган:
— Ты могуча, Русь святая,
Победишь ты вражий стан.

Я иду спать.

В гимназии дела у меня по прежнему идут хорошо. Я всегда вторая. Первой у нас Оля Кудря. Она дочь простого казака и учится на стипендию, которую ей выхлопотала начальница гимназии Мария Георгиевна, большой друг тети Марковской.

Оля Кудря первая во всем. Она замечательно хорошо учится. А я немного отстаю по алгебре и геометрии, бывают четверки. Я очень люблю и уважаю Олю и она это знает. Мы часто разговариваем, хотя друг другу помогать нам нечего. У каждой своя

манера. Третья в классе — Охримович, тоже дочь крестьянина. Иногда я бываю третьей, а она второй, но ни она, ни я не бываем первыми — всегда Оля. Хотя сочинения я часто пишу лучше и по истории и языкам знаю, конечно, больше. Обе девочки мне симпатичны и я часто зову их к себе. Оля живет в гимназическом интернате и предпочитает, чтобы я ходила к ней. У нас она почему то стесняется. Поэтому я часто бегаю в интернат и сижу с ней. Ей это льстит. А я люблю ее и мне приятно доставить ей удовольствие.

Охримович никогда ко мне не согласилась придти. И я так и не поняла почему. Ее семья очень бедная и кроме уроков она должна много делать дома: убирать, варить обед, смотреть за младшими детьми. Тем более замечательно, что она так хорошо учится и тем более она мне нравится. Но Охримович как то странно относится ко мне. Порою мне кажется, что она как то враждебно настроена. Почему бы это так было? Впрочем, я не вникаю, такъ это мне кажется невероятным. За что?

С другими соученицами у меня отношения простые. Когда я являюсь в класс, ко мне бросаются те, кто уроков не выучил. И я даю быстрые советы и указания — решение задач, в двух-трех словах основное из уроков физики или истории. Но это все. У нас нет общих интересов.

Мне 15 лет. Большинству в классе тоже, или 16. Есть и семнадцатилетние, например, второгодница Мильгевская. И я замечаю, что они гораздо меньше интересуются уроками или войной, чем знакомыми гимназистами или студентами, с которыми пересылаются записками. Мы учимся в две смены, так как с самого начала войны мужская гимназия занята госпиталем. Девочки утром, а мальчики после нас. И в партах и разных потайных уголках оставляются записки. Идут бесконечные рассказы о прогулках с поклонниками в городском саду, о восьмикласснике Чокове, который считается красавцем. А некоторые даже, краснея рассказывают по секрету, как они целовались. Это мне не нравится. А вот война их совершенно не интересует и служить России тоже особенно никто не собирается. Странно, как у других все иначе!

Многие говорят в гимназии, что я гордая. Может быть это и верно. Я не знаю. Пока я пишу новые стихи: «Духи Руси». В испарениях тихой лунной ночи, которые так чудесны в Прохоровке, я вижу картину России. Ее географию, после истории.

Тихая летняя ночь наступила.
В небе сияя, луна
Светом серебряным землю облила,
Неги и ласки полна.
Пышно повисли густыми шатрами,
Ветви высоких дубов.
Ласково блещет ночными огнями
Синего неба покров.
В воздухе веет ночная прохлада,

Сонно лепечут листы,
В клумбах заснувших старинного сада
Клонят головку цветы.
Полночь... От лона земли испарения
Легким взлетают дымком,
Носятся робкой толпою видения
Над задремавшим прудом.
Вот они реют, вот тихо струятся,
Тянутся, вьются, летят,
В воздухе теплом туманом роятся,
Тенью над речкой скользят.
Кто вы? — Мы духи, мы силы земные,
Тайны подземных миров,
Духи России, виденья ночные,
Отблеск Российских снегов,
Отблеск безбрежных пустынь полуночи,
Стран, где бушует борей,
Духи Кавказа серебряной ночи,
Милой Украйны степей. —
В волнах прозрачных реки задремавшей
Тихо глядится луна,
Розовый куст, к водам речки припавший,
Моет играя волна.
Носятся духи, волшебной толпою,
Светом залиты луны,
Ласково спорит с ночной тишиною
Говор лазурной волны.
...Север далекий. Бурливое море
Вечным заковано льдом.
Ветер бушует в холодном просторе,
Снег блещет синим огнем.
Льдины безбрежные... Холод полярный,
Вечная мглистая сень.
Дивных сияний блеск светозарный...
Краткий, мерцающий день...
Тундры безлюдные саваном - снегом
Скрыты под вечною мглой,
Легких оленей лишь вспуганным бегом,
Сонный нарушен покой.
Скалы Финляндии вверх громоздятся,
Мрачно стремнины глядят,
В темных ущельях вихри клубятся,
Вьюги и бури шумят.
— Вот наша Родина! — шепчут видения,
Страны, где хладный гранит,
К небу далекому в жарком стремлении,
Вдаль неподвижно глядит.

Страны, где вольные воды морские,
Вечным закованы льдом,
Блещут алмазом дворцы ледяные,
Дивным сверкая огнем...
Носятся духи волшебной толпою,
Светом залиты луны.
Рощи склонились над сонной рекою,
Сладкой истомой полны.
...Юг благодатный. Лазурное море,
С небом слилося вдали.
Чайки играют. В далеком просторе
Режут волну корабли.
Дышут прохладою Грузии долины...
Грозною ратью кругом,
Встали могучих хребтов исполины,
Снежным сверкая челом.
Там, в глубине ароматного сада,
В сени развесистых тисс,
Пышные грозди растут винограда,
Стройный стоит кипарис.
Дальше, роскошными полон садами,
Крым благодатный стоит.
Черное море, целуясь с скалами,
Вал за волною катит.
Дон величаво-покойно катится,
По степи к морю стремясь,
Днепр на порогах бурлит и клубится,
Бешенно в бездну несясь.
Далее Киев встает златоглавый,
С сонмом старинных церквей.
Смотрит уныло курган величавый,
Средь безграничных степей.
Волга шумит на широком просторе,
Вдаль, мимо сел... городов...
Глухо рокочут, как бурное море,
Чащи зеленых дубов.
Далее Азия встает неприступно,
В свой заключившися мир,
Думает думу свою неотступно
Горный, безлюдный Памир.
Носятся духи волшебной толпою...
Чуждый мне видится край..
Стал неподвижен за ветхой стеною,
Многомиллионный Китай.
Там на суровых вершинах Алтая,
Снег вековечный лежит.
С корнем столетние кедры взрывая,

Ветр над тайгою шумит.
Нет, хоть и чужда мне Азия седая,
В сердце к ней дышит любовь:
Эти равнины — все Русь дорогая!
Русских здесь лилася кровь.
Сколько нетронутой мощи таится
В груди тех девственных стран,
Где полноводная Лена катится
В хладный седой океан.
Сколько могучей, непочатой силы
Русь, ты в себе бережешь!
Геньям всемирным копаешь могилы,
Грудью твердыни берешь!
Русь, ты сильна средь врагов сокровенных
Силой могучей любви,
Выросла ты на могилах священных
В предков чистейшей крови.
Русь, тебя строго судьба испытала,
Муками к счастью вела,
Ты ж средь борений и гроз устояла,
Верою в Бога полна.
В волнах покойных серебряным светом,
Блещет, играет луна.
Этим горячим, чарующим летом,
Радостью дышет земля.
Носятся духи волшебной толпою,
Под серебристой луной.
Сад задремавший над сонной рекою,
Тайны хранитель немой...

Этим летом 16-го года случился странный инцидент. Однажды к нам приезжают в гости дальние родственники Залозные с взрослым сыном и восемнадцатилетней дочерью.

День ясный, солнечный. Только что пообедали. Взрослые расположились под деревьями, а мы, молодежь, решили прокататься на лодке. Оля Залозная садится рядом со мною, на весла. Мальчики пока отдыхают. Потом они станут грести, когда выедем к речке и станет труднее.

Вот и река. Все меняются местами. Лодка колышется, чуть не опрокидывается, кто то плеснул веслом и забрызгал всех. Крики. Смех... Расправляя волосы и обмахивая разгоряченные лица, мы с Олей садимся рулить на корму. На носу сидит Владя Залозный. Он немножко важничает и презирает нас — маленьких. Владя вынимает из кармана газету.

— Владя! Прочитай о войне. Я плохо прочла утром. Сколько пленных взяли на австрийском фронте? 8.000? — спрашиваю я.

Владя пожимает плечами и не отвечает. Оля презрительно улыбается.

— А тебе хочется, чтобы Россия победила? — спрашивает она.

Я раскрываю глаза, не понимая, что она этим хочет сказать.

— Будет очень хорошо, если Россию разобьют, — заявляет она. — Это наконец потрясет самодержавие.

Я подумала, что или схожу с ума, или Оля рехнулась. Но она покровительственно и презрительно смотрела на меня.

— Эх, ты, дитя! — сказала она. — Не знаешь жизни! Самодержавие должно пасть и будет наверное скоро свергнуто. Все знают, что императрица покровительствует немцам и недовольство растет даже в реакционных кругах. Скоро в России будет республика, а Украина, наконец, сможет самоопределиться и стать самостоятельной.

— Что ты сказала?! Повтори! — крикнула я вне себя.

Но она удовлетворенно и утвердительно кивнула головой:

— А ты не знала?

— Чего я не знала?

— Что скоро будет революция, что царизм должен пасть и тогда, наконец, Украина освободится от московского гнета и станет самостийной. Поэтому я буду очень рада, если немцы разобьют русские войска.

Я уже не владела собой. Со всего размаха я так хватила Олю по щеке, что лодка закачалась... Крики... Скандал... Мы еле причалили к берегу.

— Зачем связалась с дурой! — злобно кинул своей сестре Владя.

— Я с вами не хочу больше знаться! — кричала я. — Убирайтесь отсюда!

Вася взволнованно смотрел на меня и старался помирить нас, ибо не слыхал в чем дело. Кое как дошли до дому. Мама ничего не разобрала из наших сбивчивых объяснений. Я решительно отказалась извиниться. Гости тотчас же уехали, очень недовольные. Мне даже неловко было повторить те невозможные, превосходящие всякое вображение, кощунственные фразы, которые произнсла Оля, слова не шли изо рта. Я ничего не сказала. Они больше не приезжали.

**
*

Зима 16-го-17-го года.

До сих пор у меня отношения со всеми в классе довольно безразличные, но не дурные. Кроме Оли Кудри и Охримович, которых я люблю. Но сейчас вышла история с Мильгевской. Мильгевская второгодница, в учении не успевает и очень часто имеет двойки. Сидит она на парте как раз передо мною. Она — деревенская девушка. Ей уже 17 лет и она очень хочет поскорее выйти замуж.

Ко мне она чувствует симпатию, несмотря на то, что я к ней отношусь хуже, чем ко всем остальным ученицам. Она вечно пристает ко мне с разными просьбами: решить задачу, помочь написать со-

чинение, объяснить урок. Она прямо надоедает. Мне это противно и я с ней более чем холодна. Может быть это и не хорошо. Но она мне не нравится. Как она этого не видит! Или видит, но терпит только для того, чтобы я ей помогла! Не понимаю. Всегда встречает меня умильными: «Душечка, прелесть, Аничка!». Отвязаться нельзя. Она бегает за мной, носит мне книги. Это отвратительно, так унижаться из за каких то задач или сочинений Я знаю, впрочем, что ей необходимо в этом году кончить удовлетворительно учение. Но все же меня отталкивает такое подобострастие! Я с ней невежлива, чуть не груба! А она все же ходит просить меня! Правда, что когда я помогаю, то удовлетворительная отметка обезпечена, но все ж таки! Не понимаю почему она мне так не нравится. Я иногда стараюсь сдержаться. Но потом опять не могу! Не выношу этой девчонки.

Сегодня вышла история. Она явилась в класс восторженная. Она влюблена... Опять!.. Влюблена в какого то Андрейко и говорит, что он ее жених. Она скоро выйдет замуж, как только кончит гимназию. Через год. И опять она пристала ко мне с просьбой решить задачу. Я отказала, ибо писала как раз интересные стихи. Тогда она пошла к Охримович и стала говорить об Украине. Она говорит, что Андрейко украинец, так же, как учитель мужской гимназии Злобинцев, который собирается жениться на нашей подруге. Она говорит об Андрейко с восторгом и заявляет, что теперь тоже стала сторонницей Украинской автономии и будет говорить с ним только на мове. А затем, так как я кончила стихи, опять попросила решить ее задачу. Но я рассердилась. Что это за автономная Украина!

Я резко сказала ей, что с автономистами никаких дел иметь не желаю, что больше руки подавать ей не буду и, чтобы она на мою помощь больше не рассчитывала. Что прошу при мне революционных речей не вести, потому что я этого не потерплю.

Она долго плакала и упрашивала меня. Но я не могу. Уж очень она мне противна, эта толстая и глупая Мильгевская. Автономистка! Изменники!..

***

Убили какого то Распутина. Я только тут узнала, что был в Петрограде такой Распутин, который являлся во дворец. Какая странная фамилия. Говорят, что он был немецкий шпион. Его убили зверски, в подвале, при чем там участвовал один из великих князей и Пуришкевич, монархист из Думы. Странно.

Меняются министры. То один, то другой. Папа приехал в отпуск и очень недоволен событиями. Что то странное делается. Вместо того, чтобы всем сплотиться вокруг Государя и выиграть войну, в Петрограде заняты какими то совершенно невозможными сплетнями, при чем доходят до того, что осмеливаются произносить имя Императрицы! Папа резко осадил свою сестру, которая что то сказала про Государыню.

Говорят, что государственная дума, которую Государь распустил, не хочет разъезжаться. Как она смеет!

5-ое марта 1917 года — Светопреставление!!!

Если бы вдруг было Второе Пришествие, то я, конечно, удивилась бы гораздо меньше. Я знаю, что когда нибудь должен быть Страшный Суд! Но это???!!! Нет!

Исправник вызвал папу по телефону и попросил совета. Получен манифест об отречении Государя. Что делать?! Папа стал звонить в Киев. Там известие подтвердили. Папа посоветовал подождать еще до утра, а потом вывесить манифест, если не будет опровержения. Манифест папе исправник прислал на дом. Господи, Боже мой! Что это такое?

«Божией Милостью, Мы, Николай Второй, Император и Самодержец Всероссийский... объявляем всем Нашим верным подданным... Признали Мы за благо отречься от Престола Державы Российской и сложить с себя верховную власть...»

Этих слов я до смерти не забуду.

Что же теперь будет? Что теперь делать? Господи!

Я чувствую, что голова моя лопается, мысли путаются, все тело бьет озноб! Папочка, папа, что это???

Но папа так же подавлен и уничтожен, как и я. Он тщетно старается собраться с мыслями.

На следующее утро манифест во всех газетах.

На улицах манифестации. Толпы народа запрудили площади. Развеваются какие то странные, кроваво-красные флаги, потом какие то желто-голубые, говорят украинские, и белые с голубым — еврейские. Это что такое! Все ликуют, радуются, словно случилось что то хорошее.

А у меня слезы застилают глаза и жгучая, страшная, никогда ни до того, ни после того не испытанная боль, разрывает все мое существо. Сейчас, 20 лет спустя, я уже не так молода, пришлось многое пережить и видеть всякое. Но никогда, ни при каких личных неудачах или разочарованиях, ни при каких утратах, я в жизни так не страдала, как тогда. Все, что может вынести человек, все отчаяние, тоску, боль, мучение я пережила тогда. Так никогда больше не было. Никакое горе больше не терзало меня, как эта невыразимая катастрофа — крушение, агония всего высшего, любимого, священного, что было у меня — Родины России и ее Государя!

Я не спала почти совсем 19 ночей и рыдала, уткнувшись в подушку, чтобы другие не слышали. Это была физическая боль, невыразимое, гнетущее, подавляющее чувство, которое как тисками сжимало мне грудь. Уход Государя для меня предрешал несомненно гибель России. А этого я просто физически не могла вынести. Меня сводила судорога, била лихорадка. Это был безысходный, кошмарный ужас!

В Киеве объявилась какая то Рада. Украинцы ликуют!

В Петрограде какой то Совет солдатских и рабочих депутатов, и Гучков издал приказ № 1 по армии, который по единогласному утверждению и папы и дедушки покончил с армией навсегда.

Государя арестовали. Какой то мерзавец ген. Корнилов арестовал Государыню и Царскую Семью.

Нас собрали в зале гимназии и начальница, Мария Георгиевна сказала нам речь. Она была бледная и измученная. Голос ее чуть-чуть дрожал, хотя она прекрасно владеет собой. Царские портреты вынесли.

Затем — митинг на базарной площади. Мы пошли. Тетя Марковская сказала, что надо надеть красные банты, но мама сорвала бант и выбросила его. Всюду реяли красные флаги, говорились революционные речи. Особенным успехом пользовался Сиротенко, революционный учитель мужской гимназии, который сразу стал играть значительную роль и еврей Гальперин, ставший, кажется, председателем совета солдатских и рабочих депутатов. Пошли нескончаемые митинги. Митинги женщин, митинги прислуги, митинги рабочих, хотя в городе никаких фабрик не было, и т. д.

К моему невыразимому удивлению масса людей, которые раньше постоянно говорили о своей преданности Государю и клялись пролить последнюю каплю крови за обожаемого Монарха, теперь оказались очень левыми. Даже тетя Марковская стала говорить, что всегда была либералкой и сочувствует революции, потому что царское правительство ужасно всех угнетало.

Один папа так Временному Правительству и не присягнул! Просто уклонился, хотя мама даже боялась за него. Он объяснил мне, что нельзя шутить с присягой и невозможно присягать тем, кому служить до конца не собираешься. А служить папа будет лишь постольку, поскольку, ибо они явно ведут страну в бездну и надо искать других путей.

По вечерам из города несутся крики, смех, хохот, пенье марсельезы. Я сижу в саду, под акациями в самом неподдельном отчаянии. Разлив в этом году совершеннеео необычайный, такого не запомнят и старожилы. Всю Прохоровку затопило и вода подступила к самому большому каменному дому, смыв старый коровник и залив все остальные здания. Волга тоже разлилась страшно. Всюду говорят о наводнениях... Плачет Русская Земля! Плачет и рыдает, как и я. А они веселятся... Чему? Разве будет хорошо?! Погибла Россия!

А удары все сыпятся. Некуда деваться от них. Господи! Дай силы!

Армия разваливается. Уходят со сцены первые участники революции. Из Германии в пломбированном вагоне приезжает какой то Ленин и другие революционеры. Их встречают с почестями... Как можно слушать тех, кого сами немцы сюда доставили. Папу бы небось не провезли через Гер-

манию в специальном вагоне в самый разгар войны. Значит немцы расчитывают, что они им помогут... А их слушают толпы.

Собрался какой то совет крестьянских депутатов и главную роль начал играть адвокат Керенский. Раньше говорили о конституционной монархии, а теперь все говорят, что в России будет республика. Готовятся к Учредительному собранию, которое будет, говорят, осенью. Этот Керенский стал военным министром! Как адвокат может быть военным министром?! Что он может понимать в военном деле? А ведь у немцев генералы хорошие. Что же это будет?

Кругом все беснуются. Особенно шумят украинцы самостийники и автономисты. Хотят отделять Украину от России. Господи, да что же это такое!

Я стараюсь присутствовать на митингах, так как меня тяготит, что я ничего не понимаю. Впрочем, никто ничего не понимает. Но я хочу понять!

Конечно, не надо терять рассудка, несмотря на всю горечь положения. Разве даром я так много учила историю. Разве я не знаю, что и раньше часто Россия бывала на краю гибели! Два Рима пало, Третий стоит, а четвертому не быть. А что сейчас приходится мучиться, это не важно. Вытерпим — как раньше терпели наши предки и от татар, и от поляков, и от Литвы, от Самозванцев, шведов, французов... Ничего!

В гимназии тоже шли митинги. Я отправлялась на них одев маленькую трехцветную ленточку, национального флага. На мою ленточку все в гимназии смотрели очень терпимо. Повидимому, это считали естественным. Только на митингах мне не позволяли выступать, говоря, что я черносотенка известная и что они заранее знают, что я могу сказать. Вот и все. Никто ничего неприятного мне не говорил, просто о политике со мной не разговаривали. А политикой тогда бурлила вся гимназия. Я сидела в одиночестве.

Митинги были по разным поводам. Обычно они устраивались после уроков. Лукашевич, которая была у нас вместе с Дорошенко лидером украинок, просила желающих остаться в классе. Я оставалась почти всегда. Мне хотелось разобрать, что они хотят делать, какие их планы, чего они желают.

Более всего меня угнетало сознание, что я совершенно не понимаю происходящих событий. Жизнь оказалась совершенно не такой, какой я себе ее представляла. Империя, которая казалась мне такой могучей, рухнула. Все взгляды, мнения, суждения, къ которым я привыкла с детства и считала неопровержимыми, не только осуждались и опровергались, но прямо почитались ни за что! Кругом звучали речи совершенно новые, неожиданные и непонятные. Политических партий, о которых я вообще раньше не подозревала, оказалось очень много. Все спорили, чего то требовали, а я даже не могла понять о чем идет речь.

Больше всего меня возмущали самостийники. Они говорили страшные вещи, от которых меня бросало в пот, дыбом вставали

волосы и кружилась голова. Такого мучения я потом больше не испытывала — притупилась чувствительность. Но тогда это было нечто страшное

Слушать бессильно, как свои же русские люди, не сморгнув заявляют, что Украине лучше было бы под австрийским владычеством, чем в единении с Россией, что московские каты главные враги Украинского народа. Что Украина должна отделиться и стать незалежной и самостийной!

Я ненавидела самостийников! Но и другие партии говорили вещи странные и невероятные. У меня голова шла кругом от всех этих изумительных речей. Отец давно уехал в Петроград и поделиться мне было не с кем. Наши знакомые от нас отшатнулись, боясь скомпрометироваться сношениями с такой олицетворенной контр-революцией, как мы. Монархистов в городе вообще больше не было. Я не понимала, куда они делись. Раньше их было много. Поговорить мне о политике ни с кем не удавалось. Все сторонились.

Однако я твердо решилась познакомиться с революционными теориями и хорошенько изучить их. Это было нелегко — я не знала, куда мне за этим обратиться, а пока внимательно читала прокламации и ходила на митинги. Проще всего было прочесть их теории в книгах и я стала старательно разыскивать революционную литературу. Тут мне повезло. В глубине сада, на откосе, в нашей усадьбе находился маленький домик, который тетя Марковская предоставила сначала женскому клубу, в который сама вступила, а затем совету солдатских и рабочих депутатов, под библиотеку. Библиотека занимала две небольшие комнатки. В первой, на большом столе лежали газеты и журналы. Во второй, в шкафу стояли книги.

В первой комнате бывали посетители — крестьяне, с торбами. Они говорили о посеве, о рыночных ценах и слушали чтение газет. Вокруг грамотного чтеца собирались группы. Слушали внимательно, качая головами. Иногда бывали речи. Кто-нибудь начинал говорить — чаще всего украинцы или эсэры, которых в нашем городе было много. Это были или студенты или учителя, или мелкие служащие земской и городской управы. Крестьяне слушали одобрительно и кричали «правильно». Впрочем, те же крики «правильно» сопровождали часто и речь оппонента. Сами крестьяне говорили редко.

В задней комнатке не было никого. Библиотекарь туда редко заглядывал, предпочитая сидеть с посетителями в читальне. Он очень нехотя вставал, чтобы выдавать книги, и чтобы я его не беспокоила, позволил мне самой рыться в шкафу. Я засела в этой библиотеке, решив, что лучшего места для своего политического образования не найду.

Там было прохладно и тихо. Окна выходили в наш сад, и кисти акации свисали вдоль окна. Я сидела там часами, разглядывая эти удивительные книжки. Нашла там статьи Грушевского, эсеровские журнальчики и брошюрки, затем почему то собрание сочинений Достоевского, украинские книги, которые я даже не могла прочесть.

А затем шли толстые тома, которыми старый библиотекарь очень гордился, ибо их было, говорил он, очень трудно достать.

Мое внимание привлекла книга какого то Энгельса, о положении рабочего класса в Англии. Она была написана очень понятным языком, и я уселась за стол, с веткой сирени в руках, и принялась ее читать.

То что я прочла, меня привело в ужас. Господи, что же это такое! Какая гадость! Неужели это правда?! Рабочие работают по 16 и даже 18 часов в сутки. Маленькие дети прямо калечатся и умирают. Их заставляют работать по 12-14 часов! И эти мерзавцы сердятся, когда хотят ограничить работу детей 10-тью часами! Это же звери какие то! Как можно заставлять детей так работать! Разве они могут работать, такие маленькие!..

Так вот почему они сердятся и кричат, что пили их кровь! Вот ужас! Неужели это правда? Мне делается страшно. Но почему же это допускали? Это же гадость!..

Нет. Я не могу поверить... Он врет! Надо посмотреть что нибудь другое. Рядом на полке стоит «Капитал» Маркса. Что это может быть? Название какое то неинтересное. Что то о деньгах. Перелистываю его. Вначале очень неразборчиво — какой то товарообмен... Переворачиваю страницы... и останавливаюсь! Ой! Опять!..

Уронив голову на подоконник, я судорожно грызу карандаш. Издали доносятся звуки марсельезы, топот проходящей мимо манифестации. Я беспомощно стараюсь собраться с мыслями... Такого ужаса я не ожидала. День прошел. Смеркается. Надо торопиться домой. Скоро библиотеку закроют. Я слышу, как в соседней комнате убирает журналы библиотекарь, напевая под нос: «Смело, товарищи, в ногу...» Но я не могу выйти. Я не хочу, чтобы он видел, что я плачу... Ага!.. Окно!

В один миг я ставлю Маркса в уголок, чтобы найти его завтра и, чтобы его никто не забрал, заваливаю его газетами, открываю окно и бесшумно соскальзываю в сад. Но идти домой в таком виде нельзя. Я ложусь в траву и прячу горящую голову в большой, мягкий лопух...

Ах, зачем, зачем это было! Да, конечно, теперь они сердятся и угрожают. Они будут мстить! И я даже не могу на это сердиться! Господи, почему это было! Я никак не думала... никак!

Ах, почему Государь не уничтожил капитализм? Ведь он мог! Если бы он приказал, то никто бы не посмел ослушаться. И рабочим было бы хорошо жить, и эти революционеры не могли бы рассказывать таких страшных вещей, против которых ничего возразить нельзя. Что им ответить, когда они говорят, что пили их кровь и издевались над бедными людьми? Раньше я не понимала, почему они это говорят. Мне было даже смешно! Какую кровь мы пили? Я так их люблю — всех русских людей. Как я могу им сделать зло? Никогда! Но вот их мучили на фабриках и они обозлены, они хотят мстить, наказывать нас! Как это тяжело! Я люблю их — а они

меня ненавидят и считают своим врагом. И думают, что мы виноваты. Разве мы виноваты? Не знаю. Ах, зачем, зачем это было.

В небе зажигаются звезды, медленно тухнет зарево заката. В болоте певуче квакают лягушки. В траве вокруг меня кипит жизнь миллионов насекомых. Жаркий, ароматный дух идет от распаренной земли. Я знаю, что надо идти домой, что меня ждут... но не могу. В висках стучит, слезы скатываются в траву, мысли беспомощно бродят в голове. Я не знаю, чему верить, что правда, что ложь, и что надо делать! Вот мучение!

Конечно ясно, что капитализм это мерзость, раз он допускает и даже способствует совершению таких вопиющих вещей, как 16-ти часовой рабочий день и издевательство над маленькими детьми. Я — против капитализма.

Но чего же хочет этот Маркс? Что то непонятное. Какая то диктатура пролетариата. Я знаю, что такое диктатор — в Риме были диктаторы. Это — вроде императора, но не наследственного. Так, как же толпа рабочих может быт императором? Это же невозможно! Разве они могут править государством? Править государством очень трудно — нужно знать массу вещей. А рабочие необразованные. Как они могут править?

И вообще, разве можно управлять государством, если у власти целые толпы людей? Всегда должен быть один главный, чтобы власть была крепкой. А тут, пишут, что вообще не будет никакого государства! Ну, уж это, наверное, для отвода глаз! Как же можно без государства? кдн

И армию хотят без начальников, и чтобы офицеры и чиновники были выборные. Ну, еще чиновники, Бог с ними! Вот в земстве и в городском самоуправлении — выборные. Это еще так. Хотя и то, не все должны быть выборные, иначе как же центральная власть ими будет управлять?

Но в армии — это уж я сама знаю! Попробовали бы выиграть сражение хотя бы против Тюренна или Кондэ, не говоря уже о Наполеоне и Суворове, при помощи солдатских депутатов. Чорт знает, что бы вышло! Этак развалить армию можно... что они и делают наверное. Ведь Маркс хотел разрушить все буржуазное государство! Ну хорошо, а потом? Ведь с такой развалившейся армией нельзя будет действовать — что же будет? Немцы Россию заберут — вот что будет! Вот горе! Вот несчастье! Беда! Ужас!

Но с другой стороны — разве возможно, чтобы у крестьян не было достаточно земли, чтобы жить. А рабочих так страшно бы мучили. Конечно, нельзя. Это необходимо сразу же устроить. Но как? В том то и дело, что я не знаю как.

Читаешь революционные плакаты и мороз по коже подирает. Все свергают, все ломают! А дальше же что?

Вчера пришел знакомый крестьянин из деревни и по обыкновению остановился у нас. Из деревень, где у дедушки земля и соседних с ними, крестьяне никогда не останавливаются в гостиннице, а прямо едут к нам во двор, с возами, обедают у нас на кухне,

и кормят лошадей нашим сеном. Это уж так водилось всегда. Дедушка сидит на балконе и когда они проезжают мимо, кланяется в ответ на их приветствия, и говорит, чтобы их угостили. Он их знает уже восемьдесят лет.

Приехавший вчера крестьянин объяснил мне, что он едет делегатом в совет крестьянских депутатов, куда то в Киев. Он сказал: «Я хоть и неграмотный, но толк в государственном хозяйстве понимаю».

Ох, наверное, ничего он не понимает! Но и я, к сожалению, тоже ничего понять не могу. Как тяжело жить на свете!

То, что рассказывают эти книжки о жизни рабочих и крестян просто недопустимо, отвратительно, преступно! Так жалко и стыдно это мне, что я не могу сердиться на них, когда они теперь буйствуют. Но как это тяжело и мучительно! Так тяжело, что плечи ноют, как будто их давит что то. Я их так люблю, так люблю Россию, Русский народ. А они на меня сердятся. Я вспоминаю, что Охримович, в гимназии, как будто всегда ко мне чувствовала какую то неприязнь. Вот оно что! Она сердилась, что мне жить хорошо и легко, а ей и ее семье очень трудно. Кто в этом виноват? Разве я? Но я все таки понимаю, что они сердятся. Они же не могут знать, как я их люблю, а видят, что мы живем хорошо, а они плохо. Вот и сердятся!

Зачем, зачем их обижали тогда? Зачем не дали им земли, раз им было нужно? Зачем не запретили работать так долго на фабриках? А детям маленьким совсем нельзя позволять работать. Если для этого надо было взять имения у помещиков, то какой может быть разговор! Надо было взять — вот и все!

А теперь они ненавидят нас и считают нас врагами! Вот несчастье! Ну, какой я им враг? С тех пор, как я себя помню, я только и жила мыслью о том, как я буду служить Родине. Теперь я выросла — и вот, оказывается, что я им враг! Откуда? Какимъ образом?!

А вокруг что делается! Страшно смотреть! С фронта бегут дезертиры, не хотят воевать. — С немцами братаются. На железных дорогах разгром. Милиция — посмещище. По уезду грабежи и поджоги. Всюду беспорядок, грязь, хаос. Советы солдатских и рабочих депутатов говорят страшные вещи, хотят все громить, и Украину отделяют от России.

А на фронте немцы. И наступление, о котором так кричал этот противный Керенский, конечно не удалось. Еще бы! Армией командует адвокат. Что же теперь будет с Россией, и что надо делат? Что?

⁂

В деревню мы поехали очень поздно, в июле, и там до нас дошла весть об отъезде царской семьи в Тобольск. Я на груди, рядом с крестом, носила медальон и в нем портрет Государя. Я очень, очень любила его с тех пор, как начала себя помнить, и такого издевательства над ним молча снести не могла. Это было бы изменой.

Надо что то постараться сделать. Почему левые, революционеры, так умеют говорить с народом и увлекать массы, и знают что говорить, а я, например, вовсе не знаю, что сказать? Но надо попробовать.

Я взяла газету и отправилась на леваду к косарям, поделиться с ними своими мыслями и попробовать воздействовать на них речью. Я знала, что это сочтут опасным, и дома об этом никому не сказала. Но я считала своим долгом хоть раз попытаться открыть крестьянам свои соображения и посмотреть, что из этого получится.

Конечно, знай я точно, что надо делать, я бы не побоялась никакой опасности, но самое тяжелое было именно то, что я совершенно не видела, где истина, и не представляла себе, какой может быть выход для России из создавшегося катастрофического положения. Старое было в моих глазах сильно скомпрометировано. Но что новое надо создавать, я не знала.

Косари приняли меня холодно, а на мои горестные жалобы на то, что Государя отправили в Тобольск, они рассмеялись, и Билец, старый революционер, язвительно ответил, что «давно пора упрятать в тюрьму Николая кровавого».

— Почему «кровавого»? — спросила я сдерживаясь, желая выяснить это непонятное мне настроение.

— Нашу кровь пил, — ответил Билец.

— Неправда, — ответила я.

— Катовал нас! И вы, паны, нашу кровь пили.

— Кто? Я?

— И вы тоже...

— Эх, Билец, — сказала я горько. — Я знаю, что вам тяжело жилось, но видит Бог, если бы России и вам нужна была моя кровь — я бы с радостью ее бы отдала — не то, чтобы вашу пить! Я люблю вас — а вы меня ненавидите. Напросно это! Совсем напрасно!

— А ты нам, барышня, пропаганду здесь не заводи, — решительно объявил сознательный Билец, — сейчас классовая борьба — и панов по-боку! Поняла!

— Не в панах дело, — возразила я тихо. — Вовсе не в панах. А вот на фронте, какой хаос! Немцы придут! Что тогда? А?

— Мир без аннексий и контрибуций, — заявил Билец. — Годи воевать!

— Да ведь не вы будете делать аннексии и брать котрибуции, а у нас, у вас, отберут исконные русские земли!

— Годи, барышня! Тикай видселя! Теперь мы будем панувать!

Долго и горько рыдала я в траве, в совершенном отчаянии. Неужели немцы нас завоюют. Этого быть не может, не должно! Но что же делать! Ведь это же решительно недостаточно — валяться в траве и плакать! Надо действовать! Но что делать? Что? Они и слышать меня не хотят. Я ничего им объяснить не умею. Впрочем, довольно трудно объяснять, когда сама ничего не понимаешь. Вот положение!

Керенский стал премьер-министром. Орет, кричит, уговаривает солдат драться... Толку никакого.

⁂

Нас приглашают на какое то театральное представление и мама говорит, что отказываться нельзя. Взрослые не пойдут, но мы с сестрой пойдем. Меня предупреждают, чтобы я держалась очень осторожно, потому что на нас наверное будут смотреть, а теперь нельзя сердить революционеров. Будут петь марсельезу и гимн Украинских самостийников, тех, что хотят отделять Украину от России. Их надо теперь слушать стоя. Это еще что? Чтобы я подлаживалась из страха? Никогда!

Мы идем с мадемуазель, но мадемуазель ничего не понимает. Перед самой дверью у меня лопаются обе подвязки. Француженка въ ужасе. Но я отсылаю ее в зал, где скоро должно начаться представление, вместе с маленькой Машей, которая совсем не разбирается в политике и не обращает внимания на марсельезу. А у меня подвязки так долго рвутся и не держатся, и сползают чулки, что марсельеза уже окончилась, когда я запыхавшись, являюсь в зал.

Но пьеса мне очень понравилась. Ведь с самого начала войны, я из дому абсолютно никуда не выходила и ничего не видела. Шла очень смешная украинская пьеска — какая то свадьба. Кажется, «Назар Стодоля», но не помню точно. Что то очень забавное. Мне было даже стыдно, что на революционном украинском вечере мне могло быть так смешно. Ах! Зачем они хотят отделяться от России?

Но теперь опять с подвязками неладно. Чулок упал... Я краснею, делаю растерянные жесты и выбегаю.

Поют: Ще не вмерла Украіна, и слава и воля! Ще нам браття молоденьки усмехнется доля! Сгинут наши вороженьки, як роса на сонці, запануймо и мы, браття, на своей сторонці. Душу, тіло мы положмо, за свою свободу, и докажем, що мы браття козацького роду».

Вряд ли здесь кто нибудь более козацького роду, чем я сама. Но кто эти «вороженьки», про которых они поют? Россия! И мы! Почему, Господи? Почему? Что это за мучение!

Однако, часто на вечера ходить нельзя будет — очень уж вовремя рвутся подвязки...

В саду, на своем любимом дереве вырезываю крест, расписываю его масляными красками, делаю золотое сияние и часто, часто прихожу туда плакать и молиться.

Папа поехал на Дон, где его назначили формировать 9-ю казачью дивизию, для отправки на фронт. Он командует ей, вместо уехавшего ген. Орлова.

В июле в Петрограде были очень сильные бесспорядки — выступали какие то большевики. Я не могу понять, что это за большевики и от какого слова происходит это название. Никто мне объяснить не может. У них главным Ленин, тот, который приехал из Германии. Его Керенский хотел арестовать, но, конечно, не смог — что он может?!

Нам конфиденциально приносят листки, распространяемые ге-

нералом Корниловым. Ну, нет! Чтобы мы шли с такой дрянью — нет. В марте арестовывал императрицу, а теперь — оплот контрреволюции. Его листки спрятаны в книгах, в библиотеке. Я выбрасываю их в сажалку.

Да и что он хочет делать? Демократическую республику! Подумаешь, как обрадовал. Куда годится его республика? Замечательно, что она даже Марксу не нравится. Тут я с Марксом совсем согласна... Правда, может быть, по другим причинам. Все равно.

Рига взята немцами. Ужас!

***

Мама с Васей уезжают на Дон, к папе, а я остаюсь заведывать прохоровским имением. Это дело очень трудное, но я довольна и горда, что мне его поручили. Самое трудное — разговаривать с прикащиком и жнецами, но должна же я наконец выучиться говорить с людьми.

Косари и жнецы еще работают, хотя и очень плохо. Они смотрят на меня совсем не любезно и говорят, что их экслуатируют. Это слово им нравится. Его говорит чаще всего Билец. Я не понимала бы, что это значит, если бы не книжки, которых я начиталась в советской библиотеке. Я не спорю, но прошу, чтобы они закончили обмолот, свезли бы мешки во двор и стали орать на зябь. Они объявили, что если я эксплуатировать не буду, то можно продолжать. Я не знаю, эксплуатирую ли я их, или нет. Честное слово не знаю! Но надо же на зиму иметь в Золотоноше хлеб. Уже из банка не выдают почти ничего. А денег у нас нет совсем. Все лежит в государственном банке в Бахмуте, а оттуда нельзя достать. На всякий случай, я увеличиваю порцию сала — давали по четверти фунта сала в день на человека, а я сказала давать по пол фунта. Прикащик ругается, но это не важно. По моему, он сам украл большой кусок. Он, кажется, нечестный человѣк. Что то странное у него со счетами: лемеши чинит чуть ни каждый день, а где — не говорит...

Другой вопрос — пленные. У нас работает десять пленных австрийцев. Немцев вообще я конечно ненавижу, но не их, разумеется: они пленные. И вот началась целая история. Они жалуются, что у них нет сапог. А у нас есть много пар. Прикащик не хочет им выдавать, говорит, что не нужно. Но как же можно не дать? Откуда же им взять? Я раздаю сапоги, несмотря на протесты прикащика, который требует, чтобы я и ему тоже дала. Это кажется не полагается. Но я даю. Все равно. Лишь бы они были хорошо одеты и работали бы.

Жнецы и пленные стали являться ко мне довольно часто со всякими просьбами, и я стараюсь их удовлетворить, хотя прикащик уверяет, что они воры и все крадут. Но по моему, он сам тоже крадет. А потому разобраться трудно.

Вокруг неспокойно. У Каневских, соседних Келебердянских помещиков был поджог. Нашего арендатора выгнали с хутора и он

прибежал, говоря, что его чуть не убили. Мадемуазель советует поскорее ехать в город, но я не соглашаюсь. Надо кончить обмолот, свести зерно. Раз мне поручено имение, значит я ответственна и бросить его не могу. Наконец кончено. Уезжаем в Золотоношу.

Начинаю ходить в седьмой класс гимназии, но учиться некогда. Спасает то, что знала раньше. В Петрограде произошла новая революция, о которой все говорят с ужасом. Власть захватили большевики. Я никак не могу добиться, что это за непонятное название, что это за люди, и чего они хотят. Про них ходят слухи самые невероятные. Говорят, что это просто выскочившие при Керенском из тюрем каторжники, а во главе их стоит Ленин. И вот они то и захватили власть. Их все смертельно боятся. Говорят, что они страшно жестокие и, когда входят в город, то убивают всех, кто раньше был богат, и мучают людей. Они все национализируют, отбирают имения и деньги.

Что отбирают имения и деньги меня не особенно трогает. Разве можно спорить о деньгах, когда гибнет Россия. Если бы деньги эти шли на дело, то пусть бы отобрали. Не важно. Дядя говорит, что это возмутительно, потому что право собственности священно. Но это вздор! Гораздо больше пугает меня, когда дядя уверяет, что без капиталистов в стране не может идти ни промышленность, ни торговля, ни земледелие. Как же это так? Ведь капитализм это та самая гадость, из за которой на фабриках мучаются дети. Ничего не понимаю! Маркс совершенно сбил меня с толку. Говорят, что немцы нарочно прислали к нам Ленина, чтобы он испортил и разрушил все, а они потом придут и все заберут. Вот ужас!

Как трудно во всем этом разобраться. Просто голова кругом идет. Нехорошо, что большевики убивают людей! Ужасно плохо! Впрочем, если они все каторжники... Неужели каторжники могут захватить Россию? Впрочем, говорят, что они больше месяца не продержатся. Ну, а потом же что будет? Говорят — Учредительное Собрание.

**
*

Дома масса хлопот. Во первых появился какой то Земельный Комитет, который не хочет позволить вывозить хлеб и продукты из имения. Они говорят, что нельзя увозить зерно, ибо оно нужно крестьянам. У некоторых крестьян, говорят, недостаток в хлебе. Это — дело, конечно! Но я обязана кое что привести в Золотоношу, чтобы и нам было что есть зимой. И надо немного продать, потому что у нас денег действительно нет, ибо в банке все реквизировано. **Я им объясняю.** Они качают головами, и нѣкоторые соглашаются позволить вывести немножко, а другие нет. Билец определенно не согласен. Я отлично понимаю, что имения отбирают, и нам оставят лишь маленький кусок, если мы сами будем его обрабатывать. Но мы не можем обрабатывать, а потому возьмут все. Это мне безразлично. Мне даже не жаль. Помню Энгельсовских детей и брошюрки

социал-революционеров. Это сделать надо. Земли у крестьян действительно недостаточно. Пусть берут. Но и нам тоже надо жить, поэтому немножко вывести следует. Я прошу две подводы. Это немного, а нам на зиму хватит. Папы нет. Я должна решать сама. Но они не согласны. Это уже несправедливо. Все равно — две подводы я вывезу. Вывезу обязательно. А остальное пусть берут.

Собираю экстренное совещание — прикащик и пленные. И спрашиваю, согласны ли они привести две подводы зерна в Золотоношу, и трех бычков. Они спрашивают, есть ли разрешение комитета. Я отвечаю уклончиво. Прикащик уверяет, что без комитета вывозить преступление. Но я не знаю. Так трудно разобраться во всем. Я уже взрослая. Мне шестнадцать лет, а в такие годы по закону можно даже замуж выдти. Но я никак не ожидала, что взрослая жизнь будет такая сложная. Интересная, правда, но уж очень трудная. И такая непохожая на то, что рассказывали мама и бабушка. У них было совсем иначе...

Распускаю свой совет, но прошу пленных зайти потом по маленькому делу. Они приходят на следующий день. Тогда я их самих спрашиваю, уже в отсутствии прикащика, привезут ли они мне две подводы. Они улыбаются и кивают головами. Их никто не остановит, только я должна выдать им револьверы, так как дороги неспокойны. Даю. Их у нас много.

Отправляюсь в Управу и навожу справки, купят ли у меня немного хлеба. Мне отвечают, что покупать будут у Земельного Комитета, а не у бывших владельцев, ибо имение уже больше не наше. Но агроном Хачатурьянц кивает мне и говорит, что он может это мне устроить, если я зайду к нему вечерком на дом, но в Управе дать денег мне нельзя.

Хлеб и молодой скот действительно на следующий день въезжают к нам во двор. Пленные весело прощаются со мной. Они уходят, и надеются скоро пробраться на родину. Револьверы они просят оставить им на память. Нечего делать — благодарю и прошу только сделать мне одолжение, отвести хлеб и скот в Управу и сдать. Там примут. Они это делают, а я вечером, с кухаркой Нилой иду к Хачатурьянцу на квартиру. Он принимает меня в кухне и тотчас же опасливо выносит деньги. Уходим поскорее, но я все же прошу, чтобы он выдал удостоверение о покупке хлеба Управой, чтобы не вышло какой нибудь истории. Он мнется, но наконец дает. Не понимаю, почему он все это делает так таинственно, но он шепчет, что рад услужить нам, потому что это опасная операция.

***

Я довольна. На зиму всего должно хватить: и пшеницы, и ржи, и проса, и гречихи. Есть корова, лошадь и немного денег от проданного хлеба. Все в порядке.

Остальное осталось там. Но и это тоже хорошо. Раз там есть

нуждающиеся, то надо оставить. Я вовсе не хочу быть капиталистом и эксплуататором.

Меня гораздо более волновали другие вопросы. С фронта шли вести прямо отчаянные. Все разбегались. Поезда приходили буквально увешанные разъезжавшимися по домамъ солдатами. Они стояли на крышах, сидели на буферах, цеплялись за ручки, валялись на площадках. Говорят, многих сносило в тунелях.

Тронулась, двинулась с места вся Россия. Кто только не ездил! По городу неслись беспорядочные выстрелы. Бродили дезертиры, пьянствовали, грабили буржуев. Вечера были жуткие. Выстрелы тогда особенно учащались. Толпы ходили по улицам до поздней ночи, галдели, ругались, угрожали, бросали камни нам в ставни. Окна плотно завешивали одеялами и зажигали только лампадки, ибо керосину не было.

Русская Земля осталась совершенно беззащитной, фронт был брошен на произвол судьбы, и немцы конечно этим обязательно воспользуются. Это приводило меня в беспредельное отчаяние. Русские люди убегают с фронта, оставляют путь свободный врагам, немцы, конечно, незамедлят захватить, что смогут: а когда об этом говоришь с дезертирами, то они отвечают, что главные враги — это мы, и что прежде всего надо бить буржуев. Ах, ты несчастие! Неужели нельзя сначала отбить немцев, а потом уж разбираться с внутренними делами! И неужели мы, действительно, можем быть врагами России? Этого же не может быть! Если есть какая нибудь борьба интересов, то ее надо разрешить между собой. Я все понять могу — все! Только не могу допустить, чтобы Россию отдали немцам! На это я не согласна.

Рано утром встаю и в капоте выхожу в сад. Одна стараюсь сосредоточиться и разобраться. Слезы мешают видеть. В висках стучит. Неужели Россия погибнет? Это немыслимо! Но что ее спасет? Что надо сделать? Что можно сделать?

Единственным моим утешением было писать стихи. Даже в самые острые минуты тоски и отчаяния, стоило мне писать стихи, как совершенно незаметно я переходила на оптимистический тон и преисполнялась уверенности, что Россия выйдет и из этого кошмарного испытания, как из прежних исторических бедствий. К этому тяжкому времени относятся мои наиболее уверенно-оптимистические стихи.

Привожу их, так как лучше выразить свои тогдашние переживания не могу.

Над сонною Пруссией мерцает луна.
Застыла под снегом речная волна,
И скованы льдом камыши.
К востоку широко раскинулся лес.
И звезды мигают средь тусклых небес.
Да стонут тоскливо сычи.
Вечерняя тихо потухла заря.

Последним багрянцем горя,
Причудливо тянутся бледные тучи.
И начал темнеть небосклон.
К границам России прилег лес дремучий,
Весь запахом сосн напоен.
И все засыпает... Один лишь, объят
Тревожной, мучительной думой,
Не спит враг России. Хоть был бы и рад
Заснуть император угрюмый.
Чего бы, казалось, томиться ему?
Отвсюду победные вести!
Германья родная, ему одному,
Обязана славой и честью,
Блестящими битвами славной войны!..
Но что то средь зимней ночной тишины,
Все душит его и тревожит,
И сердце бесстрашное гложет.
Летят от востока горами вздымаясь,
Угрюмые серые тучи,
Их бег ураган подгоняет могучий,
Несутся они в хороводы сплетаясь,
И снова в клочки разрываясь...
И ветер уныло их бег подгоняет.
Да в бешенной пляске снежинки,
Пушистою мантьей поля одевают,
Кружатся и стелятся, вьются, взлетают
Морозного снега пылинки.
Палат императорских строгие своды
Объяты молчаньем глубоким.
И вдруг, пред Вильгельма испуганным взором,
Вокруг изголовия пышного хором,
Теснятся теней хороводы.
Рыдает и стонет полночная вьюга,
Бой мерный вдали раздается часов...
Из дальней России, с полночи до юга
Несется таинственный зов.
То зов всей могучей, единой, великой,
Клич матери нашей Руси...
А ветр завывает тоскливо и дико...
Да бьют в отдаленьи часы.
И веют по комнате легкие тени,
Пред взором Вильгельма встают.
То вдаль уплывают, как рой сновидений,
То темною тучей растут...
Вдруг злее завыла холодная буря...
В страхе сидит император, понуря,
Голову, в угол палаты глядит...
Зимняя вьюга шумит и гудит.

И грянули трубы, грохочут литавры,
В битвах бессмертья стяжавшие лавры,
Грозные витязи ратью идут.
Их строй воеводы седые ведут.
И веют, и плещут победные стяги,
Идет пред Вильгельмом могучая рать:
Поляне, смоляне, кияне, варяги...
И взором их грозных рядов не обнять.
«Мы в битвах стяжали победную славу,
В дружине Олега, в войсках Святослава,
Московских царей и под стягом Петра.
С Суворовым мы побеждали врага.»
Ярко пред строем знамена блистали,
Витязей взоры победно сверкали...
Смотрит Вильгельм на нежданных гостей,
Слушает речи полночных теней.
«Если вы духи великой России,
Странны мне ваши угрозы ночные»,
Молвил Вильгельм, и в пространство глядит.
Зимняя вьюга шумит и гудит.
«Разве для вас я теперь не спасенье,
Не от горчайшей беды избавление?
Вас ваши люди с проклятьем смели,
Вас называют отребьем земли,
Вас ваши братья злодейски избили,
Вашими трупами печи топили,
Я вам дарую почет и покой,
Под благородной германской рукой.»
Грозно блеснули воителей очи,
Грозно сплотилась полнощная рать.
Вьюга взревела, и мрак полуночи
Тяжко сгустился опять.
«Да, мы тяжелого жертвы позора,
Тени Вильгельму рекли,
«Но не услышишь от нас ты укора,
Детям Родимой Земли.
Нет, мы не их называем врагами,
Русские споры решатся меж нами.
Что же ты думал, что Русь победил?
Русскими Русскую силу сломил?
Не против них мы с угрозой явились,
В легкие тени земли обратились,
Вышли из наших могил.
Мы пострадали за имя России,
Оно не погибло — заветы святые
Нашей Родимой великой земли,
В лоно ее мы опять отнесли.
Дремлят они ожидая рассвета.

Пышная жатва ждет нового лета.
Свет его нам уже виден вдали...
Ты ж предсказанию теней внемли.
Ты нас не знаешь, но Русь покоряя,
Нас пробудил ты и вызвал. Седая
Вышла к тебе старина!
И раньше родная страна,
Когда под пятой иноземцев стонала,
В минуту последнюю нас посылала,
Наведаться к лютым врагам...
Теперь ты являешься к нам!
А раньше являлся наместник татарский,
Стремился поляк захватить престол Царский,
И двигались шведы могучей грозой,
С царем потягаться Руси молодой.
И в Кремль златоглавый, на берег Яузы,
С вождем знаменитым явились французы...
Всех встретили тени! Но, странно, никто
Не выдержал нашей полночной беседы!
Поляки, татары, французы и шведы
Бежали, погибли с позором за то,
Что дерзко коснулись просторов России,
И годы проходят, бушуют стихии,
А нас не низвергнет никто.
Мы Русь не покинем, и грозною тенью,
Все будем нестись за тобой,
В боях, и совете, и сонных виденьях,
Несметной, воздушной толпой.
Тебе мы предвестник великой печали!
И честью клянемся тебе:
Преградой незримой мы против вас встали!
Погибнешь в неравной борьбе!»
И смело поднялись воителей длани.
Клянется полночная рать!
А ветра унылого вой и рыданья,
И вьюги холодной глухие стенанья
Сердито из мрака летят!..

***

Ноябрь-Декабрь 1917-го года.

Яркий солнечный день. Мне весело, после окончания последних стихов. Сижу после гимназии в гостинной и читаю книгу. Вдруг, в комнату вбегает испуганная тетя и кричит, что во двор вошли какие то разбойники, хватает за руку маленькую сестру и уходит во флигель. Я бегу смотреть, что случилось.

По большому двору, къ нашему подъезду, подходят одиннадцать, вооруженных винтовками, парней. Раздается громкий стук прикладов в дверь — и я лечу отворять. Что им надо?

— Что такое? — спрашиваю я с любопытством. Меня очень заинтересовал такой необычный визит.

— С обыском, — отвечает смуглолицый, загорелый парень, в теплом кожухе и черной барашковой шапке, тыча в меня револьвером.

— Пожалуйте, — приглашаю я их в комнату. Вчера кухарка рассказывала, что у соседних помещиков, у Мушкета — нотариуса и у фабриканта Ващенко-Захарченко были обыски и что обыскивавшие были очень страшные и держали себя грубо и безобразно. Смотрю на этих, какой у них вид... Ничего.

— Что же вы будете делать? — спрашиваю я.

— А вот осмотрим, куда муку запрятали, — грубо крикнул вожак, размахивая наганом. — Оружие есть?

— Как же! Есть, — ответила я, зная отлично, что никто бы не поверил, если бы я стала утверждать противное. Всему городу было известно, что у нас много немецких винтовок, карабинов, револьверов, которые папа собирал, как трофеи.

— Как вы смеете держать оружие! — крикнул парень. — За это расстрел. Сдавайте все немедленно.

Я с любопытством оглядывала их. Два матроса, с цыгаркой в зубах стали рыться в книжном шкафу. Два деревенских дядька, в тяжелых, залепленных снегом, сапогах, внимательно рассматривали потолок и картины на стенах. Солдаты, гремя прикладами о мебель, заглядывали под столы. Двое штатских — понятых и мальчишка топтались в дверях.

— У вас бомбы есть? — спросил вожак.

— Нет.

— Если соврете — расстреляем! — совал он мне под нос револьвер. Это было неприятно. Зачем он им машет?

— Послушайте, — сказала я тихонько, — вы бы не могли спрятать ваш револьвер. Вдруг выстрелит. Ведь вам самому будет жаль...

Хлопец посмотрел на меня пристально. Мною владело одно чувство. Мне ужасно хотелось, чтобы они хоть здесь, при мне, не ненавидели меня. Неужели нет никакой возможности с ними сговориться? Куда же я гожусь, если наши русские люди будут считать меня своим врагом. Это же абсурд!

Хлопец опустил револьвер.

— Ступайте вперед, — приказалъ он, — ведите нас повсюду.

Я провела их по всему дому, показала кладовые, а затем указала на шкафы и сундуки.

— Вот, — сказала я, выбрасывая старшему на колени связку ключей. — Я никогда в жизни сама этих сундуков не открывала. А потому не знаю ключей. Но вы мне поможете. Откройте их.

Они засмеялись, и маленький юркий человечек с винтовкой, немедленно отобрал ключи у начальника и в один миг нашел соответствующий замок. Сундуки открылись. Первое, что глянуло на нас оттуда, был портрет государя и царской семьи.

— Это что такое?! — завопил один из дезертиров. — Прика-

зано уничтожить все портреты Николая! Вы что, к стенке хотите ,за контр-революцию, буржуи проклятые!

— Знаете что, — сказала я со вздохом. — Их у нас так много было, что, наверное, и еще найдется. Весь дом полон ими был.

— Сейчас порви! — приказал хлопец с наганом.

—Н е могу. Уж вы лучше сами... если иначе нельзя, — тихо сказала я. — Я так любила его... Не могу. С моей стороны это было бы подлостью.

Солдат посмотрел на меня и молча отбросил портрет в сторону.

Другие в это время шарили по углам, в столах, шкафах. И я ясно увидела, что некоторым из них чрезвычайно понравились кос-какие мелкие вещицы: бритва, очень красивый перочинный нож, дротик, какая то медаль, бутылка одеколону... Так понравились, что не могут оторваться от них. Я немедленно вынула вещи из шкафа и подала им.

— Возьмите на память.

Они быстро взглянули на меня, неловко улыбнулись и спрятали вещи в карман. Я решила, что раз им так хочется иметь эти вещи, они могут их стянуть, а это будет нехорошо, развратит их, и они на меня же будут злиться. А если я их им подарю, то все будет по хорошему: они будут довольны и не совершат дурного поступка. При всех последующих обысках — а у нас их было 28, — я в подобных случаях поступала так же, и решительно удостоверяю, что это отличная система.

Долго рылись они повсюду, осмотрели сараи, конюшни, реквизировали зерно и бычков, впрочем оставив нам достаточно на зиму. На чердаках оказалось немало царских портретов, но они только отвернулись, не сделав никакого замечания. Наконец, перерыв весь дом, они удивленно обратились ко мне.

— Где оружье?

Надо сказать, что обыскивать в то время вовсе не умели. Это уже потом чекисты научились, а в 17-18 году можно было прятать что угодно. Я оружье спрятала под полом уборной и отдавать его не собиралась. Оно может пригодиться. Немцы идут! Кругом стрельба! Как можно остаться без оружья.

Но все знали, что оно у нас есть, следовательно, что нибудь они должны были найти. В углу, за широким диваном, мною были спрятаны на случай обыска две немецких винтовки, финский нож, два скверных Смит и Вессона и старая сабля. Их я жертвовала обыскивающим. Я указала им на диван.

— Вот, там, посмотрите.

Они схватили оружье и разочарованно плюнули.

— Это все? Не может быть! Где остальное?

— Ищите, — возмутилась я. — Ведь вы мне не верите! Несколько революьверов осталось у пленных — можете спросить. А там — ищите!

— Пожалуй, что больше и нет, — сказал один из солдат.

— Ищите, — ответила я обиженно. Я не хотела лгать им, но и не хотела отдавать оружия.

— Обыщем еще раз, — покачал головой матрос. — Припрятали...

— Може и нема! — сказал дядько из села.

— Им, чертям, верить нельзя, — вздохнул матрос. — У этих должны быть винтовки. Ребята сказали... а это же дрянь! Наверное спрятали. Ну, скажите, есть винтовки? — обратился он ко мне.

— Та, хиба ж вона скаже?! — выручил меня дядько. — Обыщем ще раз.

— Конечно ищите, — вмешалась я. — Куда вам торопиться? Вот позавтракаете, и опять будете искать!

Они удивленно взглянули на меня.

— На кухне вам готовят завтрак. Я сейчас принесу. Садитесь здесь за стол, в столовой и расскажите мне, зачем все это нужно, то, что вы делаете?

Я сбегала за яичницей с картофелью, которую приготовила кухарка Нила, нарезала им хлеб, поставила тарелки и села рядом с ними.

— У вас тяжелая служба, ходить так по домам... неприятная. Для чего вы это делаете?

— Муку и зерно ищем, — сказал матрос, откусывая большой кусок хлеба, — буржуи прячут. Вот на вас сказали, что вы зерно из села вывезли. Мы пришли отобрать. Реквизируем...

— Отчего вы бросили фронт? — спросила я. — Смотрите — немцы придут, худо будет! Ведь на фронте никого не осталось. Все бегут. Подумайте, заберут Украину немцы. Ведь это ужасно!

— Годи воевать! — буркнул красноармеец. — Настрадались! Намучились! Попили буржуи нашей крови. Война кончена.

— Землю будем делить, — вздохнул крестьянин, разворачивая большой клетчатый платок и вытирая об него нож. — Всю панскую землю заберем.

— Но ведь если немцы придут, они ее у вас отнимут! — крикнула я.

— Эх, барышня! Нечего на немца валить! Свой буржуй, хуже немца!

— Вы думаете?

Я стиснула зубы.

— Беспременно так! Надо землю забрать, и буржуев по шапке. А немцы, вони до сюда и не дойдут.

— Зачем вы с немцами братаетесь, а хотите воевать со своими же, русскими? — сказала я в отчаянии.

— А хиба же вин добром сдастся, буржуй! Вы, барышня, молоденька. Известно, этих делов не понимаете... Ну, что же, пойдем.

— Будем еще шукать? — спросил дядько.

Они встали и нерешительно переглянулись.

— Годи. Пидемо! — решительно сказал хлопец с наганом.

Они вышли, кивая мне довольно дружелюбно.

— До следующего раза! — сказала я.

Они засмеялись.

***

Через несколько дней, наконец я вздохнула свободно. Папа, мама и Вася вернулись из Новочеркасска. Слава Богу! Они еле вы-

рвались с Дона, где шла гражданская война и власть почти повсюду захватили большевики.

Сначала папа формировал 9-ю казачью дивизию, а Васю отдал в Новочеркасский кадетский корпус. Но и на Дону стало очень неспокойно. Там начались сильные самостийнические течения и всегдашнее соперничество между казаками и иногородними обострялось. Кроме того, в угольном районе волновались шахтеры. Когда в Москве произошла октябрьская революция, брожение разрослось в угрожающее революционное движение. Каледин просил, чтобы владельцы шахт дали ему деньги на организацию защиты Дона от большевиков. Они отказали. Собирались какие то совещания.

Папу послали выяснить, что происходит в шахтах. Он поехал один, без войска, и стал говорить с рабочими. Вернувшись, он объявил Каледину, что дело начинается нешуточное, что рабочие сплошь распропагандированы и только ждут подхода большевиков. Ни Каледин, никто вообще не знали, что делать. Решили послать войска против шахтеров и большевиков, и Каледин предложил отцу ими командовать. Но тут вмешался ген. Назаров и заметил, что на Дону командовать должны казаки и, что, если ему дадут войска, он, как донской казак ручается за успех.

Папа обрадовался, ибо драться против русских ему вовсе не хотелось. Идти с Калединым, Назаровым, Корниловым, с которыми у него было чрезвычайно мало общего и, отрицательные стороны, беспомощность и ошибки которых он ясно видел, он решительно не хотел. Так, впоследствии не пошел он ни с Скоропадским, ни с Деникиным, ни с Врангелем.

Вернувшись с этого совещания, он немедленно забрал маму и Васю, и на другой же день выехал в Золотоношу. Этот переезд был кошмарным. Большевики заняли Ростов и надо было проезжать через станции, где они уже захватили власть. Ехать было страшно. Люди вели злобные, угрожающие разговоры. Нескольких ехавших офицеров большевики остановили и, кажется, расстреляли. У папы вид был такой, что слепой увидел бы, что он военный. А брат Вася был одет в свою кадетскую шинель, ибо ничего другого у него не было.

Тут наших спас Федоров, солдат 4-го Новотроицко-Екатеринославского полка, которым раньше командовал отец. Он очень защищал их, говорил, что давно их знает, что это люди хорошие и трогать их не надо. Наконец, он разыскал какой то товарный вагон, ввел туда наших, спрятал их и добился, чтобы этот вагон был прицеплен к составу. Когда приехали в Черкассы, то опять начались страшные угрозы. В толпе кричали, чтобы прикончили того толстого буржуя в коричневой тужурке. Василий Федоров снова решительно заступился и наших пропустили. Спасибо ему! Через два дня после приезда в Золотоношу, он уехал в свою Тверскую губернию.

У нас во дворе остановился десяток артиллеристов, бежавших с фронта По всему городу идет беспрестанная пальба из винтовок. Свистят пули. Несколько пуль попало к нам в сад. Два прохожих

было убито. Все страшно боятся дезертиров. Но мне интересно с ними познакомиться. Ведь я ничего не понимаю именно потому, что совершенно не знаю людей. Надо обязательно хорошенько к ним присмотреться.

Говорят, что они злые, пьяные и могут убить. Может быть это и верно. Но со мною, они всегда бывают очень милы и не ругаются. Мне жаль, что они были несчастные. Я понимаю, что они хотят добиться лучшей жизни, но так как наверное плохо знают, как это сделать (ведь и я тоже не знаю), то бунтуют беспорядочно и выходит безобразие. Нет. Их жаль. И я бы хотела, чтобы они не ненавидели меня.

Вчера ловила петуха — он улетел. И никогда бы не поймала, если бы не дезертиры. Они все за ним погнались и притащили наконец. Мы долго вместе смеялись. Они вовсе не страшные и помогают мне, когда я несу что нибудь тяжелое. А это теперь часто приходится делать. Прислуга ушла.

В уезде идет грабеж. Крестьяне тащут из усадеб все, что могут, а остальное портят и ломают. Перепилили пополам рояль.

Нам земельный комитет присылает еще немного продуктов, несмотря на мою продажу зерна Земству, которая их очень рассердила. Они прислали несколько кур, уток, гусей, конопляного масла, картофеля и разных овощей. Зиму проживем благополучно.

Но зато, что делается в России! Господи!

Фронт брошен, но в тылу идет форменная война. В Киеве сидит Рада. Войска Рады бьются против московских большевиков, которые надвигаются с севера. Кто из них лучше — не знаю. Впрочем, никто не может быть хуже Рады — самостийников. Они хотят расчленить Россию. Пусть командуют даже большевики, лишь бы Россия цела осталась!

Да, но, ведь, и они тоже хороши! Заключают в Брест-Литовске позорный мир и сами развалили армию. О, Боже мой! Что это происходит.

Происходит что то невообразимое:

В Москве и Петрограде — большевики.

В Харькове собрался Съезд Советов, выбрали Исполком и берут власть Украинские большевики.

На Дону — большевики и самостийные казаки.

На Кубани — самостийная Рада.

В Киеве — Украинская Рада: Петлюра, Винниченко, Грушевский...

На фронте никого нет, и объявлен мир, но немцы наступают и, говорят, уже захватили целые области.

В городе действует Совет рабочих и солдатских депутатов, но от кого он зависит — честное слово, не знаю. Не то от Киева, не то от Харькова...

Набирают войска и Рада и большевики. Селяне с мешками и торбами, большими толпами бегут по улицам в то место, где записываются в войска. Говорят, что те, кто пойдут в армию, получат при дележе земли лучший надел, и все туда несутся стремглав.

Говорят, что наступают какие то войска, но какие и откуда, неизвестно. Все их ждут со страхом. Больше всех внушают ужаса большевики. Они, говорят, сделали в Воронеже, что то кошмарнсе. Но я больше ненавижу Раду — изменники!

Вдруг по городу проносится слух, что на вокзале стоит эшелон большевиков. Что это за люди, точно никто не знает. Но говорят, что это народ страшный, очень жестокий, что они всех убивают.

На столбах появился Приказ № 1, и в нем объявляли, чтобы было снесено в Земскую Управу все оружье, чтобы буржуи заплатили контрибуцию, чтобы никто не смел ходить по городу позже восьми часов.

Воинского начальника арестовали за какое то сопротивление и заперли в вагон на станции, а в Управу вызвали представителей города, в том числе отца, к начальнику отряда. Это были войска какого то Муравьева. Они уже заняли Киев, Полтаву, Лубны...

Я полетела в Управу смотреть на большевиков и узнать про отца. Меня очень интересовали эти большевики. Среди всех сейчас дерущихся, они, кажется, самые удивительные. Надо присмотреться!

Перед дверьми Управы, на большой базарной площади стояла толпа, через которую я продралась с большим трудом до самой двери.

В дверях стоял пригожий, замечательно красивый молодой матрос, чуть старше меня, и двое других красноармейцев. На них были накрест повязаны пулеметные ленты, у пояса висели револьверы, в руках они держали винтовки. У одного из кармана торчала ручная граната. Я тихонько протолкнулась и стала рядом с молодым матросом. Он самодовольно оглядывал толпу и весело отвечал на шутки дивчат, глазевших на двери Управы. Толпа нажала, и я толкнула его.

— Куда вы лезете? — спросил он.

— Сзади толкают, — объяснила я. — Пришла взглянуть на большевиков — какие они.

— Ну вот я и есть большевик, — улыбулся он. Смотрите.

— А что вы там делаете, в Управе?

— Контрибуцию берем с буржуев. Арестовали буржуев — возьмем заложниками.

Это мне очень не понравилось.

— А что же вы будете делать с заложниками? — спросила я.

— Расстреляем, если не дадут контрибуцию во время, — ответил он.

«Дело дрянь», подумала я. «Господи, куда они дели отца? Надо обязательно узнать».

Матрос взглянул на шикарные золотые часы - браслет, сверкавшие у него на руке и двинулся в коридор.

— Послушайте, — позвала я его. — Будьте добры. Вы идете в зал. Посмотрите, сидит ли там еще толстый военный в бекеше. Это мой отец. Дома беспокоются за него, а меня в Управу не пускают.

— А как его зовут?

— Максимович.

— Хорошо, — ответил он, и через минуту вернулся сказать, что отца моего скоро отпустят.

— Спасибо, — поблагодарила его я, и отправилась домой, успокоить мать. «Какие странные люди», думала я дорогой. «Ведь, этот, например, совсем не злой. А говорит о расстреле, как будто это ему плюнуть. Зачем это?

Отец действительно вернулся очень скоро. Его отпустили, для того, чтобы онъ уговорилъ остальных буржуев дать контрибуцию. Заложников повели на вокзал и заперли в вагон. Отец собирал контрибуцию, а главное хлопотал об освобождении заложников. Большевики обещали не расстреливать их, если деньги будут внесены, даже с запозданием. Но им плохо верили. Всюду ходили слухи об их непомерной жестокости. Их все безумно боялись.

Однако, и отцовские и мои с ними разговоры шли очень недурно. Они в городе никакого безобразия не чинили, и спокойно ожидали контрибуции, довольствуясь небольшими подношениями в виде продуктов и одежды. Даже реквизиций не было.

Я еще несколько раз ходила смотреть на них, и слушала их речи на грандиозном митинге, который вечером собрался перед Управой. Они говорили вещи очень простые и понятные толпе, хотя, конечно, совершенно невероятные: диктатура пролетариата, социализация земли, рабочий контроль на фабриках и предприятиях. Что то невозможное!

Но мне нравилась их манера. Они были очень энергичны, решительны, отлично умели действовать на толпу, а, главное, они не были самостийниками. А эта проклятая Рада объявила независимость Украины и ее отделение от России. Тогда лучше, пусть будут большевики. Они, говорят, уже берут Киев, и выгнали самостийников. Только почему они не хотят воевать против немцев? Наоборот, они братаются с ними и заключают мир.

Конечно, я понимаю, что когда на фронте нет войска, то воевать нельзя, и приходится заключать мир, чтобы хоть как нибудь закончить войну. Это понятно, но зачем они испортили армию? Большевики сами постоянно говорили, что надо уходить с фронта. Их слушали. Если бы они сказали, что надо драться с немцами, — то их, наверное, тоже бы послушали. Впрочем, кто знает... Может быть, они потому и не говорили, что их тогда не послушали бы.

Ох, я не знаю! Я ничего не знаю! Как трудно что нибудь понять. И папа тоже не понимает. Я же вижу! Если бы он знал, он бы действовал!

***

Январь кончился. Большевики стоят в городе. Контрибуция все еще собирается. Меня это беспокоит. Рассердятся они, наконец, и будет нехорошо. Ну, дали бы им контрибуцию! Этого я никогда не могла понять. Я понимаю — не отдавать оружья. Сейчас такой всюду бой, что надо на случай чего быть вооруженным. Я понимаю, когда не слушаются революционеров, если они приказывают что нибудь унизительное — рвать портреты, или петь гимны... Но

когда они требуют денег — давать надо. Это глупо — не давать. Ведь сила за ними, они и так могут взять — зачем же их толкать на дурные поступки, на грабеж, когда они просят немного, и даже так долго ждут. Это нехорошо!

Наконец им что то вносят. Проходит еще несколько дней — вдруг большевики исчезают. В одно прекрасное утро, их больше в городе нет. Заложников освобождают из вагона, где они их бросили.

Но зато идут слухи, что немцы совсем близко. Боже, что за ужас! Уж лучше, гораздо лучше большевики!

Немцы продвигаются быстро. У них, говорят, подписан мир и с украинской Радой и с советской властью. Власть большевиков называют советской, потому, что у них правят советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Оригинально!

Немцы приближаются. Меня разрывает отчаяние. Папа ходит сам не свой. Подумать только, что немцы войдут сюда, къ нам, на Украину, в сердце России. Позор! Ужас! Отчаяние! Я не могу этого вынести! Какая тут революция! Я готова идти за всеми, кто способен выгнать немцев! Да, но кому я нужна? Меня ненавидят... свои русские...

Что это за жизнь? Зачем жить на свете, когда делается такое!.. Гораздо, гораздо лучше совсем не жить. Я понимаю теперь почему святые уходили в пустыню. Но я не хочу уходить. Хочу посмотреть, что будет с Россией! Неужели она погибнет? Это невозможно.

Вечер. Робко светится золотой язычек пламени в красном стаканчике лампадки. Скорбно глядят из киота лики угодников. Читать нельзя, так темно. Вдали гремят выстрелы. Я сижу в столовой и в тетрадке пишу почти ощупью стихи.

Если бы я могла делать что нибудь более полезное, чем писание стихов! Но я даже меньше понимаю теперь, чем летом. Тогда готовились к учредительному собранию и, хотя я никогда не думала, что из этого получится что нибудь дельное, но все же можно было сообразить, чего хотят разные партии. А теперь все еще больше спуталось! Что это за большевики? Они прогнали учредительное собрание, где сидели эсэры, и теперь всем начальствуют. Но что у них будет делаться мне совершенно непонятно. Говорят, они марксисты. Гм! Может быть. Маркса я немножко знаю. Но что они хотят делать? Я знаю, что они сначала все разрушают. Но что же будет потом? Это главное! Разрушать легко!

Или немцы действительно заберут Россию и все погибнет? Тяжко вздыхаю и заканчиваю стихи.

КУРГАН.

Средь широких полей, весь покрыт муравой,
Наклоняся седою главой,
Спит старинный курган. Над могилой немой
Только ветер гуляет степной.
Да лепечет ковыль колыхаясь над ним,
Да журчит, пробиваясь на свет,
Среди трав и цветов ясноструйный ручей,

Птицам в небе парящим в ответ.
Греют солнца лучи, озаряет луна,
Бури севера грозно шумят.
А могила таинственной грусти полна
Спит покойно... И годы летят.
Прошумели, промчались седые века...
Пал татарский низверженный стан...
Русь объяла полмира — сильна, широка...
Спит безмолвно старинный курган.
Но однажды тревожную, грозную весть,
Вдруг приносит степной ветерок.
«Русь объята войной. На кровавую месть,
Враг родные просторы обрек!»
Но спокоен и тих величавый курган:
Русь могучие силы хранит!
Вновь разбит будет вражий пришельческий стан,
Вновь Россия врагов победит!
И покойна могила средь дальних степей,
Лишь рокочет над нею ковыль,
А от дальних, холодных, от чуждых морей
Ветр несет снова грозную быль:
«О проснися, Россия, восстань старина,
Враг потряс Всероссийский престол!
Гибнет, гибнет в раздорах родная страна.
Всюду царствует мрак, произвол!
Позабыла заветы родная земля,
Что оставили деды святой,
Веют флаги свободы, но худшего зла:
Плена немцев не зрит род слепой!
Русь под немцем! Над бездной висит Третий Рим!
А враги нас все дале влекут!
Боже, смилуйся Ты, Всемогущий, над ним!
В руки немцев нас беды ведут!»

Содрогнулся курган! Словно искра летит
Из глубин святорусской земли,
И призыв - повеленье оттуда звучит...
Вдруг прозрачною тенью вдали
Заклубился волнистою дымкой туман...
Ночь настала. Сияет луна.
Словно дрогнул от бури старинный курган,
И окрестная стонет страна.
Из подземного мира, навстречу врагам
Вышел старый Илья на коне,
На могучем и верном Бурушке своем,
И готовится к грозной войне.
Он спокойно и твердо пред фронтом идет,
Веют стяги, несут знамена...
Он на бой, на победу дух предков ведет...

Светит траурно в небе луна.
И воздушною ратью в молчаньи немом,
Вслед за витязем мчатся полки.
А поля расстилаются в мраке ночном,
Так безбрежны и так широки.
Спит безмолвно покойно в тиши вражий стан
Лишь окликнет порой часовой,
Да взглянуть на коней встанет сонный улан...
Всюду царствует мир и покой.
Враг заснул, отдыхает на нашей земле,
Чтоб на утро поход продолжать,
И всю Русь покорить... Вдруг с полунощных стран,
И востока седого летят
Тени ночи, видения на легких конях,
Содрогается глухо земля,
Притаилися звери в притихших лесах
Да дрожат от ударов поля.
От ударов могучих воскресшей земли,
Отославшей на битву с врагом,
Тех, кто в прежних столетьях родную спасли...
Они мчатся в безмолвьи ночном.
Они мчатся, несутся на легких конях
По безбрежным родимым полям,
Их на битву ведет атаман удалой,
Мчатся духи полунощных стран.
И трепещет под ними проснувшийся лес...
Все проснулось. Лишь стан вражий спит.
Да от темного лона далеких небес
Похоронным напевом звучит:
«Ты зашла, ты пробилася, вражия рать,
В глубь священную русских степей.
И навеки останешься мертвой лежать,
Средь восставших родимых полей!»
Мчатся духи Руси на могучих врагов...
И когда вновь засветит заря,
Они сгинут, полягут средь русских лесов,
Что восстали навстречу врага.

Эти стихи я пишу поздно вечером, при лампадке, под звуки выстрелов бродящих по городу банд. Но лучше банды, чем немцы.

5-го марта 1918-го года немцы вошли в Золотоношу.

Я засела в своей комнате, и никуда со двора больше не выходила. Папа, чтобы не видеть немцев уходил на конюшню, на задний двор, куда угодно. Они, конечно, первым делом явились к нам, но, встретив прием более чем холодный, обратились к Марковским, которые их разместили у себя с удовольствием. Городская буржуазия почти целиком приняла немцев со вздохом облегчения. Очень уж тяжело пришлось от революции. Но я не могла смотреть на них, и знала, что лучше не выходить, чтобы не на-

рваться на историю. Власть в их руках! Но меня душила ненависть. Я действительно жгуче ненавидела их.

По уезду начались реквизиции. Мимо наших окон потянулись длинные обозы с зерном, гурты скота, табуны лошадей, подводы с оружием. Все это немцы отвозили на вокзал и отправляли в Германию. Смотреть на это разграбление Украины было прямо невыносимо. Я стояла у окна, не имея сил оторваться от позорного, ненавистного зрелища... Отчаяние терзало меня.

В это время по селам начала организовываться партия так называемых хлеборобов - собственников, состоявшая из зажиточных крестьян. Они собирались в городе на частных квартирах, и несколько раз приглашали отца на свои собрания. Меня вначале очень интересовала эта новость, но отец относился к ним скептически, Нас отталкивало от хлеборобов то, что они готовы были подчиниться кому угодно, лишь бы осталось неприкосновенным их экономическое положение, и, что они относились к немецкому нашествию с недопустимым безразличием, видимо рассматривая тяжкое национальное унижение, как зло меньшее, нежели социальный переворот. Для нас же потеря имущества или личных выгод не могла идти в счет рядом с ужасной перспективой немецкого ига.

Через месяц после вступления немцев, пронесся слух, что в Киеве будет перемена власти, что немцы свергают Раду и будут выбирать гетмана. Отец решил поехать в Киев, узнать в чем дело.

— Ты думаешь, папочка, что там будет что нибудь серьезное? — спросила я отца.

— Это зависит, — ответил он. — Роль гетмана может быть очень важна. Ты помнишь, что делали московские князья при татарском иге? Как они заслонили собой Русь от татар, и подготовили национальное возрождение. Теперь тоже необходимо оградить Украину от немецких насилий и создать прочную базу для будущего государственного строительства. Это трудный и сложный вопрос.

— А ты будешь в этом участвовать? Поступишь на службу?

— Посмотрим. Сейчас ничего сказать нельзя. В Киеве постараюсь выяснить.

— Но нельзя же так сидеть... — сказала я.

Отец покачал головой.

— Лучше подождать, чем работать с негодными людьми на неправильном пути. Лучше ничего не делать пока, чем делать глупости.

Из Киева отец вернулся подавленный. Событья разворачивались очень не утешительно. Выборы состоялись 28-го апреля в большом здании манежа или цирка. Отец на них даже выступил с речью, призывая создать столь необходимую в данную минуту национальную власть. Он думал, что выберут Кочубея, но избрали Скоропадского, который вдруг стал изобажать из себя самостийника, ясновельможного пана гетмана, и вполне покорился немцам. Последние, как скоро выяснилось, действительно были его единственной серьезной опорой.

Отец хорошо знал Скоропадского, а в особенности, Лизогуба, старого друга семьи моей матери, который стал премьер - мини-

стром. Они предложили отцу принять участье в их работе, но после первого же разговора, он ушел удрученный. Самое противное в их политике было то, что они воспринимали подчинение немцам, как вещь не только неизбежную, но и не столь уже трагичную. Расчитывали на немцев, чтобы разбить большевиков, на немцев — чтобы вернуть имения помещикам, на немцев — чтобы предотвратить дальнейшее развитие революционного процесса на Украине. Словом, для них немцы являлись не врагами, не чужеземными захватчиками, а чем то вроде покровителей, на которых они рады были опереться. Правительство Скоропадского предпочитало презрительно отмахиваться от всех поднятых революцией социальных и экономических проблем, считая самым удобным и простым заставить население забыть о них при помощи немецких шуцманов. Трудно было представить себе что нибудь более отвратительное и предательски анти - национальное, чем такая политика. Отец в таком безобразии участвовать отказался, и через десять дней после выборов вернулся в Золотоношу.

Как то раз, его пригласили на собрание в театр Маринича. Оно происходило очень бурно. В зале сидели с одной стороны демократические представители, сторонники Рады, а с другой — хлеборобы - собственники, очень довольные новой властью. Чуть не произошло побоище. Хлеборобы ругались и угрожали, депутаты от селян протестовали. Началась свалка у дверей, где молодой хлебороб стал избивать одного из депутатов. Тогда отец встал и пригласил всех закрыть собрание и покинуть зал. Молодежь стала кричать, но более благоразумные двинулись к дверям и все обошлось благополучно.

В Золотоношу приехал новый начальник уезда, староста Клименко, который явился к отцу с визитом. Я сидела в гостинной, когда он пришел, и мне он очень не понравился. Человек грубый и ограниченный, он начал хвастаться своей энергией в подавлении революции и наказании революционеров. Он много говорил о карательных экспедициях, и хвалился, что в нашем уезде схвачено и высечено немало бунтовщиков. Это мне было противно.

Отец вышел и я осталась одна с гостем.

— А вы думаете, что это следует делать? — спросила я.

— Что именно? — любезно улыбнулся староста.

— Да вот эти экспедиции. Неужели это может помочь?

Он засмеялся.

— Это, барышня, дело не девичье! Вам это, разумеется, не по душе. Но что же делать? С этими скотами иначе нельзя. Они распустились и действительно воображают, что им все позволено. Надо их приструнить, и тогда они перестанут буянить. Вы увидите — две-три карательных экспедиции, высечь по селам зачинщиков, ну там, повесить двух-трех мерзавцев, и все войдет в норму.

— А как же будет организована жизнь? Что сделают с землей? Как с рабочими будет? Оттого, что вы их высечете, им жить легче не станет, а я знаю, что живется им не легко. Как же теперь думают организовать лучшую жизнь?

Он с удивлением посмотрел на меня. Отец вернулся, а я отошла к окну. Мне было очень тяжело. Неужели нельзя придумать что нибудь хорошее, а не такую гадость! Как они могут делать такие вещи?

— Как у вас налаживаются отношения с немцами? — спросил отец, — удается ли их удерживать от насилий?

— О! Они очень милые! — воскликнул староста. — Полковник граф Гамильтон, пресимпатичный человек, и во всем мне помогает. Например, нам, знаете, никак не удавалось справиться с Ирклеевым. Это такие разбойники! Вы себе представить не можете. Оказывали нашему отряду вооруженное сопротивление. Я обратился к графу, и он немедленно выслал нам в помощь два орудия под соответствующим прикрытием.

Я видела, что отец так сердится, что скоро его прорвет.

— Вы сделали такую вещь? — сказал отец, возмущенно глядя на ничего не понимавшего старосту. — По моему обращаться за такой помощью к иностранцам прямо недопустимо стыдно!

— Ну, а что же было делать? — изумился староста. — Надо же их было образумить.

— Послушайте, — сказал отец. — На кого вы вообще хотите опираться? На немцев, или на своих — русских? Кажется, вопроса быть не может! Следовательно, надо было бы создавать в стране надежную силу, на которую можно было бы расчитывать. Кто эта сила — в этом весь вопрос. Но во всяком случае, не карательными же экспедициями можно создать ее. И не на одних же дворянских помещичьих кадрах вы собираетесь утверждать гетманскую власть. А за спиной у немцев сидеть ведь просто недостойно! Гнусно!

Клименко слушал не выражая никакого сочувствия.

— Да, да, — сказал он. — Конечно, мы опираемся на партию хлеборобов.

— Но ведь карательные экспедиции их могут только оттолкнуть!

— О! Да ведь мы записавшихся в партию никогда не трогаем.

Отец покачал головой.

— Еще бы! Но сколько в этой партии человек? Сколько вообще сейчас удовлетворенных своей судьбой хлеборобов? Вы сами говорите, что с Ирклеевым и Буромкой справиться невозможно, без вмешательства немцев. Как же можно допустить такое положение?

— Мы этого и не допустили! О! Мы с ними отлично действуем: там расстреляно двое вожаков, человек четыреста выпорото — и все успокоилось и идет прекрасно.

— М-да, мы, кажется, друг друга плохо понимаем... — сказал отец.

— Надеюсь, ваше превосходительство, — поторопился переменить неприятный разговор староста, — что вы почтите своим присутствием наш скромный был.

— Какой бал? — удивился отец.

— Наши дамы, знаете, устраивают, — улыбнулся Клименко. — В городском театре. Будет очень мило. Все здешнее общество будет. Граф Гамильтон обещал оркестр. Надеюсь, что и Анна Павлов-

на пожалует, — поклонился он в мою сторону, — теперь так мало случаев потанцевать.

— Нет, моя дочь пойти не сможет, — холодно ответил отец. — Да я, признаться, удивляюсь, как у вас хватает духа теперь танцевать. Немцы заняли пол - России, в Москве красный террор, Государь сидит в Тобольской тюрьме, а мы будем танцевать! Даже странно! Клименко обиделся.

— Как угодно, ваше превосходительство, я не понимаю... Что же тут дурного?.. Молодежь потанцует! Немецкие офицеры чрезвычайно любезны. Я не понимаю, почему мы должны на них дуться. Слава Богу, они совершенно не злоупотребляют своим положением.

— Нет, — отрезал отец. — Моя дочь не будет танцевать с врагами, которые сейчас вторглись в Россию. Это не ее место. О себе я и не говорю. Россия залита кровью, немцы в городе и грабят Украину. По селам высылают против своих же русских чужеземные войска! А я буду ходить на вечера и любезничать с врагами! Что вы? Что вы?

Клименко изменился в лице, холодно раскланялся и вышел. Я проводила его, ибо отец остался в гостинной.

— Веселиться с немцами — неприлично, — сказала я Клименко на прощание, — и там, где враги России, нас никогда не будет! Никогда!

Клименко вышел разъяренный.

В Золотоношу приехали двоюродные братья Михаил и Борис Васильевичи. Борис скоро уехал, а Миша поступил на гетманскую службу. Он в отсутствии Клименко бывал «тимчасово виконавчим обовязкові повітового старосты», то есть временно исполняющим обязанности старосты. Я очень обрадовалась их приезду, так как любила их, хотя они на меня не обращали никакого внимания.

Гораздо меньше понравился мне другой приезд.

Золотоношская усадьба, в которой мы жили принадлежала деду, но должна была перейти потом к тете Марковской, которая ей и распоряжалась. Она сдала одно крыло дома Абелям, очень богатым немцам, у которых в уезде было крупное имение и огромное хозяйство. Типичные кулаки, очень жадные и несимпатичные, Абели, живя третьим поколением в России, оставались немецкими подданными, и три сына их служили в германской армии. Теперь они явились в Золотоношу уже немецкими оеицерами победителями. Вот, им то тетя сдала часть дома.

Я буквально не выносила их. Особенно противен был мне старший из молодых Абелей - Генрих, человек грубый и жестокий, который, не стесняясь моим присутствием, с удовольствием рассказывал, как он по селам избивал «русских свиней». Все трое поступили в карательный отряд. Они ликовали, что после обозлившей их национализации земли, их усадьба возвратилась к ним, жестоко расправились с крестьянами, воспользовавшимися хлебом и скотом из имения, и злобно презирали русский народ. Мне они были глубоко отвратительны.

***

От старосты было получено предписание помещикам принять имения и немедленно начать там работы, ибо было горячее время для сельскохозяйственных работ. Большинство имений были разгромлены: инвентарь был растащен, скот частью убит, частью испорчен плохим присмотром, дома были разграблены. Начались жестокие взыскания при поддержке карательных отрядов.

— Ты поедешь в Прохоровку, папочка? — спросила я.

— Никуда я не поеду, — сердито ответил отец. — Как можно связываться с этими мерзавцами?! Они все губят! Все портят! Разве бы эта дурацкая власть удержалась без поддержки немцев? Их прогнали бы в два дня. Позор один! Несчастье!

— Но ведь это, говорят, обязательно?

— От немцев принимать свое родовое имение я не поеду! — отрезал отец. — Пусть, как хотят, сами разбираются. Но чтобы в борьбе между нашими мужиками и немцами я считался на стороне врагов — этого не будет. Не думал я, что когда нибудь придется сочувствовать революционерам, но лучше повстанцы, чем немецкое владычество.

В Золотоноше вести разносились замечательно быстро, и все друг про друга все знали. Прошел слух, что ген. Максимович осуждает политику старосты, имение принимать не поехал, и возмущается радушным приемом, оказанным городской буржуазией немцам.

Настал конец июня. Отец в деревню так и не поехал. Крестьяне сами распорядились с работами. Клименко был в негодовании.

Раз к нам забежала тетка, и сообщила, что по рассказам прислуги, староста ужасно ругал отца в своем управлении и кричал, что не задумается арестовать его, если он будет оказывать обструкцию гетманским приказам. Отец рассердился и, встретившись со старостой крупно поговорил с ним.

Видя, что отец в имение не едет, а кругом свирепствуют каратели, Прохоровские селяне послали к отцу делегацию узнать, на каких условиях он согласен арендовать им землю в дальнейшем, и не будет ли мстить за произведенные порубки, использование лугов для общественного скота и т. д. Они приехали под предводительством крестьянина Дудукало и бывшего нашего прикащика, который делал вид, что по «гроб жизни» предан нам. Это был хитрый, пронырливый человек, который и повел речь от лица приехавших.

Отец принял их на терассе, с которой через открытые ворота видна была широкая и пыльная улица.

— Так что, ваше превосходительство, — начал прикащик, — наши прохоровские ребята, не так буянили. А все они самые — келебердянские. Наши — ничего. Наши что? Мы — ваши, вы — наши! А вот келебердянские! И впрямь разбойники!

Юркий прикащик укоризненно качал головой.

— Что же они там сделали? — спросил отец.

— Дубы начисто повырубали. Двух кабанов зарезали. Ольху, которая срублена была и в саженях стояла, всю повывозили со двора. Потравили скотом все луга. Помилуйте, там 14 десятин вашего

луга! Все начисто потравили. Ни травинки нет! Вот злодеи! А прохоровские — нет. Они совестились!

— Хорошо, — сказал отец. — Так вы хотите взять землю в аренду. Отлично. Берите. Заплатите, как обычно велось, как Каневским платят, по 155 рублей за десятину. Что там еще? Да. Ольху, ту, что разобрали, пусть свезут обратно. Это все?

— Так что, ваше превосходительство, мы бы рады свести ольху. Почему же не свести? Мы бы свезли. Только наши ребята прохоровские, из цей ольхи уже себе хаты понастроили. Сбил их с толку этот Земельный Комитет. А селяне эти бедные. Как сказали им, что можно брать ольху, что Комитет ее дешево продает — обрадовались. Ну и воспользовались. Они даже в Комитет заплатили — деньги за ольху внесли. Теперь то комитета конечно нет. Ищи, свищи, где эти денежки. А они народ бедный!

— Ну, то, что пошло на постройку, свести, конечно, нельзя, — ответил отец, — а остальное свезите.

— А Келебердянские — они да! Они народ бедовый! — вмешался Дудукало. — Это все они — и рояль распилили, и портреты занавозили. Все они!

Но отец, не слушая, смотрел на дорогу, по которой медленно тянулся немецкий обоз. Сверкали сталью темные каски, плоские штыки играли на солнце, серые шинели мелькали в густом облаке пыли. Мерно топали кони.

— Вот! — крикнул отец. — Вот! Не захотели своих начальников! Кричали — свобода! Свобода! Вот она — свобода! Немцы теперь над вами начальники! Поудирали все с фронта, изменники! Повесить вас мало за такую измену! Теперь Русская земля в руках немцев.

Он схватил за рубашку озадаченного Дудукало и повернул его лицом к улице.

— Зачем вы теперь ко мне приехали! Я вас не просил! Захотели немцев вместо своих начальников! Вот придет к вам карательный отряд, — увидите, что значит немецкое владычество!

Крестьяне переглянулись, покачали головами и стали уходить.

Немцы прошли мимо дома, провозя целый обоз жита, сена, муки, различного военного снаряжения, оставшагося в военных складах. Все это направлялось в Германию щедрым потоком, с обескровленных полей порабощенной Украины.

В начале июля, по новому стилю, отец получил из повитового управления запрос, какие меры он принял по ликвидации ненормального положения дел в его прохоровском имении, которое отец так и не поехал принимать. Староста был взбешен, и по слухам, допрашивая одного из схваченных большевиков, опять сказал, что не побоится заарестовать всех, кто не выполнит его приказов, хотя бы даже самого генерала Максимовича. Мы решили, что он, вероятно, был пьян, ибо это за ним водилось.

Однако, отцу это надоело, и однажды он принес мне переписывать записку, написанную им в Волостную Прохоровскую Управу. Я всегда переписывала все его прошения и заявления, ибо почерк

у него был неразборчивый. Записка была составлена наобум, ибо отец не придавал ей никакого значения, но мне потом много пришлось из за нее помучиться.

Требованья, перечисленные в этой записке, были фантастичны, а суммы денег в ней обозначенные, просто ничему не соответствовали. Если бы отец действительно хотел их взыскать, то это было бы величайшей подлостью. Конечно, он об этом и не помышлял, а просто написал, чтобы отвязаться от старосты. Но и так вышло плохо. Он не учел впечатления, которое эта записка должна была произвести на запуганных карателями крестьян. Здорово мне потом досталось за эту записку, и, конечно, это было вполне справедливо. Посылать ее было очень нехорошо.

Прохоровское общество, уже лично сговорившееся с отцом, к счастью, на нее не обратило внимания. Как и было решено, они свезли во двор прохоровской усадьбы остатки срубленной ольхи, где она и осталась непикосновенной, ибо отец ничего из имения не брал, заплатили за арендованную землю — вот и все.

Но на Келебердянский сход она произвела удручающее впечатление. Келебердянцы слыли в уезде революционерами, бунтовщиками, и уже были привлечены к ответственности за какие то потравы ближайшими к ним помещиками Каневскими. Записка отца была составлена на основании слов прикащика и приезжавших прохоровских селян, которые говорили о порубке дубового леса, потраве 14 десятин луга, двух убитых кабанах и т. д.

Когда келебердянцы прочитали требование заплатить за все это непомерные суммы, они пришли в ужас. Мало того, что суммы были колоссальные — 10.000 за вырубленный лес, 1.200 за кабанов, 13.000 рублей за дубы. Возмутительнее всего было то, что келебердянцы вообще ничего не сделали. Дубов они не трогали, на 14 десятинах бывшего луга, занесенного днепровскими песками, было очень мало сена. Даже кабанов, кажется, не они зарезали. Так что несправедливость была прямо вопиющей. Но в то время часто практиковались такие поборы, и селяне подумали, что с них будут требовать уплату силой. Они прожили несколько дней в большой тревоге.

Через неделю представители келебердянской громады явились к отцу для переговоров. Конечно, он сразу же успокоил их, и объяснил, что записка была составлена просто так и, что к тому же он сам не знает, что делается в имении, ибо принимать его не хочет. Но келебердянские селяне не могли забыть тяжелых дней, проведенных под впечатлением возмутившей их записки и впоследствии мне за это сильно попало. К счастью и чекисты и крестьяне проявили в этом случае большое беспристрастие и снисходительность и правильно учли степень нашей вины. Иначе нам пришлось бы плохо.

Однажды утром я вышла во двор. Брат Миша, звеня шпорами, шел здороваться с дедушкой. Во дворе стояла подвода и в ней лежали какие то мешки. Рядом стоял гетманец. Молодые Абели выходили из дома, весело поздоровались с Мишей и, остановившись, разговорились с ним.

Речь шла о какой то экспедиции.

— Я привез сюда этот хлам, — сказал один из Абелей. — Вы решите, как с ним поступить. Сжечь или выбросить, или отправить куда нибудь.

— Сжечь, конечно, — решил Миша. — Это такая отрава, эти книжки — сжечь.

— Какие книжки вы будете жечь? — спросила я Мишу.

— Ах да, ведь ты любительница книг, — засмеялся Миша. — Нет, эти не для тебя. Это революционная литература — мерзость.

— Миша, милый, покажи!

— Зачем тебе, — удивился Миша. — Если хочешь — смотри. Но уверяю тебя — ничего интересного. Отобрали у мерзавца — революционера. Там лежат, в подводе!

Молодые люди разошлись, а я кинулась к подводе.

— Пожалуйста, покажите мне книжки, — попросила я солдата.

Он видел, что я только что целовалась и разговаривала с Мишей и не решился отказать. Из толстого мешка в арбу посыпалась революционная литература.

Среди прокламаций, местных газет и воззваний, лежали книги. Я быстро завладела одной, на которой прочла фамилию Ленин, потом еще двумя, и с сожалением, бросив остальное, убежала. К моей радости я узнала в одной из книг ту самую книжку Энгельса, которую я читала в советской библиотеке. Я спрятала ее подальше.

Но прочесть их мне в этот день не удалось. Случилось событие по истине сенсационное. Знавшая хорошо о моей лютой ненависти к немцам кухарка Нила прилетела сообщить мне по секрету новость. И, услышав ее, я в первый раз со времени вступления немцев, схватила шапку и ринулась на улицу, еле спросив у мамы позволения.

В город, по большой пыльной дороге, ведшей в село Великую Буромку, вступал немецкий отряд! Но в каком виде! Впрочем, когда я прибежала, то уже все было в порядке, и я увидела просто разсерженных, смущенных, озлобленных людей, на которых молча смотрела, не смеющая выразить своих чувств, толпа.

Дело в том, что буромчане, действительно, не поддавались. Несмотря на несколько карательных экспедиций, уже посетивших их, они оказали отчаянное сопротивление гетманскому отряду, приехавшему реквизировать для немцев скот и хлеб. Отряду пришлось отступить. Обратились к Гамильтону, который дал в подкрепление два орудия, несколько пулеметов и отряд солдат. Все это двинулось на Великую Буромку.

Немецкий отряд втянулся беспрепятственно в село, не оказавшее ни малейших признаков протеста, и расположился на площади. Начальник приказал созвать сход и прочитал приказ немецкого командования. Буромчане выслушали безмолвно и разошлись по домам.

Тогда немцы расположились на отдых. Тут же, под развесистыми акациями они поставили свои винтовки в козла, сбросили амуницию и разлеглись на травке. Но покой их длился не долго. В мгновение ока буромские мужики ринулись на них, отрезали от пулеметов и винтовок, разоружили и стали думать, что с ними делать. Подумав немного, они велели немцам снять штаны, сапоги и в таком

унизительном виде, отправили их обратно в город. Немцы шли, избегая встречных селений, дали знать по телефону. Но из Буромки уже крылатая весть о позоре карательного отряда долетеле до города и все кроме германофильской буржуазии буквально покатывались с хохоту. Не знаю был ли человек, который ликовал больше меня. Не думаю. В эту минуту у меня оказалась полная солидарность с революционерами.

Немцы выслали второй отряд, который также потерпел поражение. Тогда послали артилерию, которая не входя в село, издали обстреляла его и разрушила. Но буромчане имели в городе сторонников и точно знали, кто, зачем и с какими силами на них идет. Все жители накануне обстрела покинули село и перебрались в соседние деревни. Такие же эпизоды происходили в Еремеевке. Несмотря на все усилья гетманцев и немцев, власть в уезде держалась на волоске. Было ясно, что гетман один не продержался бы и дня.

К августу повстанцы зашевелились не только в Буромке, но и в более спокойном Глемязове и в Бубнове. Происходили необъяснимые перерывы в телефонном сообщении с городами вокруг, с Киевом и даже с ближайшими немецкими постами. Из немецкой комендатуры известья о предполагавшихся мероприятиях немедленно доходили до повстанцев, немецкие отряды обстреливались в деревнях... Украина волновалась.

***

Чудный августовский вечер. Мы сидим на террасе после обеда. В небе одна за другой зажигаются звезды, и медленно догорает вдали алая полоска заката. В городском саду играет немецкая музыка, звуки которой, долетая издали, странно мешаются с певучим кваканием лягушек в озере, замирающим щебетом птиц и трещанием сверчков.

Подали чай. Настала глубокая тишина жаркой украинской ночи. Чуть слышно доносился из центра города отдаленный шум голосов. Мы наслаждались покоем.

Вдруг затрещала пальба из винтовок, беспорядочно, отрывисто, совсем, совсем близко. Затарахтел, защелкал пулемет. Раздался какой то смутный гул, крик, опять выстрелы, шум...

По улице проскакал всадник. И опять все зловеще замерло. Мы не двинулись с места, ибо идти за справками ночью по городу во время пальбы, было бы более чем легкомысленно. Но не прошло и четверти часа, как в усадьбу, взволнованный, весь запыхавшийся от быстрого бега, влетел тринадцатилетний Борис Марковский.

— Повстанцы ворвались в город! — крикнул он. — Идут со стороны кладбища! Сейчас добрались до цейхгаузов и арсенала — в городе бой.

Но боя уже не было. Изредка раздавались редкие выстрелы. Пулемет уже замолк. Опять всюду царило спокойствие. Мы, однако, еще долго просидели, ожидая дальнейшего. Ночь прошла тревожно.

На утро удивленный город узнал, что в то время пока немцы и гетманцы гуляли по обыкновению в городском саду, при звуках

полковой музыки, совершенно неожиданно из степи, через кладбище, вышел целый отряд повстанцев, быстро пробрался к арсеналу, уложил на месте караульных, и в какие нибудь пятнадцать - двадцать минут вынес и роздал по рукам несколько тысяч винтовок, хранившихся там, и ящики с патронами. Операция почти была закончена, когда кто то поднял тревогу. Но уносившие винтовки и ящики повстанцы совершенно благополучно достигли кладбища, а оттуда степи, где стояли конные и повозки. Мы слышали стычку арьергарда повстанцев с наскоро сбежавшимися немцами. Покамест эти перестреливались, ящики и оружье беспепятственно были увезены по глемязовской дороге.

Конечно, все телефонные и телеграфные провода из города были заблаговременно перерезаны. Немцы не решились преследовать нападавших. Это было почти невероятное событие. На глазах большого немецкого отряда, занимавшего город, открыто и явно совершено было похищение значительного числа винтовок и патронов из самого немецкого арсенала! Скандал! Я была в диком восторге.

Убийство Эйхгорна в Киеве, командовавшего немецкой оккупационной армией еще боле ободрило повстанцев. Петлюровцы стали шалить повсюду. Поговаривали о сильной большевистской агитации на железных дорогах, на заводах и фабриках, и среди беднейшего сельского населения.

Отец очень пессимистически ожидал зимы, когда освободившиеся от полевых работ, революционеры, обычно в наших краях становились гораздо предприимчивее. У нас наблюдался замечательный периодический сезонный круг — поправения к весне, и полевения к осени.

Настала осень. Я начала ходить в гимназию, ибо, несмотря на волнения прошлой зимы, с медалью кончила седьмой класс. Но учиться пришлось не долго. Уже октябрь был очень тревожный, а в ноябре мы узнали удивительные новости. Говорили, что в Германии начинается революция и, что немецкие войска кое-где перешли на сторону большевиков. Кажется, Могилев был ими захвачен таким образом. По слухам, на западном, французском фронте было заключено перемирие и Германия была окончательно разбита и побеждена.

Это, разумеется, приводило меня в восторг. К сожалению, из России известия были тяжелые. Приехавшие из Москвы беженцы рассказывали невероятные ужасы о большевиках, о жестоком терроре, о массовых убийствах, а главное, о какой то ЧК, от которой у буржуев волосы становились дыбом. А между тем было ясно, что уход немцев означает немедленное падение Скоропадского, и мы были уверены, что украинские самостийники не выдержат напора московских большевиков. Большевики придут! Что они сделают? Неужели расстреляют нас?

Я понимала, что не надо думать о себе, когда дело идет об избавлении Родной Земли от ненавистных завоевателей, но все же, где то глубоко в душе копошилось нехорошее чувство страха. Мне очень не хотелось умирать.

Среди городской буржуазии началась паника. Многие выеха-

ли в Киев, другие прямо за границу. Однако все утверждали, что каторжане - большевики, по какому то странному недоразумению завладевшие кормилом власти, никак не продержатся дольше весны.

Уезд кишел повстанцами. Староста Клименко, однако, не унывал и развесил на столбах, произведший на меня отвратительное впечатление, приказ, обещая «отправить прямым рейсом на тот свет» всех, кто будет уличен в революционных актах.

15-28 ноября 1918 года. Жутко...

***

Тихий, серый осенний день. От гула орудий дрожит неподвижный воздух. В городе — мертвая тишина. Глухо и раскастисто охает тяжелая артилерия. С двух сторон города идет бой.

У Днепра, на Черкасском мосту, гетманские части еле сдерживают наступающих с правого берега повстанцев. О них рассказывают страшные вещи. Говорят, что в Умани, Черкассах и Каневе они перебили и замучили множество попавших им в руки офицеров и помещиков. Они грабят, расстреливают, издеваются. Говорят, что, если они ворвутся в Золотоношу, то нам не спастись — всех прикончат.

Положение осложняется тем, что из глубины уезда, прямо дорогами, идут другие повстанцы из Великой Буромки, Ирклеева, Еремеевки, Богушковской слободки. Весь уезд охвачен восстанием и двинулся на город. У гетманцев большие потери. Они бросили шесть пулеметов и несколько орудий у Глемязова, где находится телефонная центральная на уезд, которая уже в руках восставших. Добавляют, что немцы собираются уходить.

Многие не хотели верить, что немцы действительно уйдут и оставят город и жителей на расправу повстанцам. Но скоро это подтвердилось. Граф Гамильтон предупредил, что должен был уйти уже накануне и согласился подождать лишь для того, чтобы дать желающим возможность эвакуироваться. Немцы уйдут этой ночью!

Я хожу по саду в большом волнении. Чувства мои смешаны. С одной стороны — сбылась моя мечта. Немцы в России не удержались — они покидают Украину, где армия их, хотя физически и не погибла, но зато, говорят, совершенно разложилась. Вильгельм пал, как пали все полководцы, дерзнувшие вступить в глубь России. Он свержен и бежал... Вспоминаю свои стихи и улыбаюсь. Кто мог подумать, что выйдет так, когда немецкие войска вступали в марте в Золотоношу! Быстро сбылось предсказание «Теней Руси»!..

С другой стороны, нам наверное очень сильно достанется от повстанцев! Что они с нами сделают? Ох! Зачем они нас так ненавидят! Тяжело! Убьют или нет?

Но когда я вижу катящиеся к вокзалу немецкие повозки, фургоны, зарядные ящики и разный скарб, я не могу удержаться от торжествующего, радостного восклицания. Молодцы повстанцы! Выгнали немцев! Спасибо им!

Подхожу к воротам, чтобы с нескрываемым злорадством присутствовать при позорном отступлении врагов, и с удивлением вижу

за немецкой колонной несколько подвод с сундуками, ящиками и сидящую на них прислугу соседних помещиков.

— Куда вы, Феня? — кричу я.

— На вокзал! — отвечает она, придерживая рукой очипок. — Вещи отвозить! Паны с немцами уезжают. Скоро петлюровцы войдут!

Я рассердилась. Уезжать в фургонах отступающих немцев! Какой стыд! Ни за что! Лучше уж сдаться повстанцам! Пусть делают, хотят! Все таки свои!

Снова потянулись немецкие обозы...

Чуть не столкнувшись со мной, во двор поспешно входят серьозные, взволнованные, бледные председатель городской Управы — Градовский, Председатель Земской Управы — Пискун и главный инженер строющейся Каневской железной дороги — Шанько. Они желают сейчас же видеть отца по очень важному делу.

Отец выходит, поручает мне следить за тем, чтобы их не беспокоили, и вместе с гостями садится на терассе. Несмотря на ноябрь, погода сухая и теплая. Я остаюсь в саду, и до меня долетают отдельные фразы.

— Павел Васильевич, это необходимо... Иначе город погиб! Подумайте сами...

— Надо, чтобы из Киева немедленно отдали распоряжение насчет высылки подмоги... Вы не представляете себе, что делают эти мерзавцы! В Умани пытки, расстрелы, кошмар!..

— Скорее, скорее, — торопил Градовский. — Надо действовать немедленно. Фон Гамильтон отходит сегодня ночью. Тогда будет поздно... Староста Клименко очень энергичный человек и отлично распоряжается, но один без немцев, он не удержится... Это же гибель!

— Я говорил с графом, — сказал Шанько. — Может быть, он еще согласится повременить с отъездом до прихода подкрепления, если Киев действительно немедленно вышлет подмогу. Идем, Павел Васильевич! Это необходимо.

Они еще с полчаса рассуждали и спорили. Затем отец позвал меня, попросил принести его шапку и бекешу и ушел с ними в город.

Орудийная пальба все приближалась. Со стороны степи везли на повозках раненых.

Стемнело. Отец вернулся из города очень усталый и озабоченый. Из Киева на все просьбы Золотоношских властей ответили какими то неопределенными фразами. Город совершенно окружен. Черкасский мост взят. Немцы уходят ночью. На утро наверное петлюровцы будут здесь.

Часов в девять вечера, к нам забежал инженер Шанько.

— Ну как? Павел Васильевич, вы готовы? Собрались?

— Куда? — спросил отец.

— Как куда? Уезжать! Немцы отходят в 4 часа утра. Я распорядился, чтобы для вас и вашей семьи было оставлено место в вагоне. Но торопитесь! Скорее! Скорее!

— Спасибо. Я останусь тут, — ответил отец.

Шанько всплеснул руками.

— Что вы? Надо уезжать немедленно. Эти разбойники никого не пощадят. Собирайтесь скорее! Помилуйте! Чего же ждать?

— Ни я, ни отец мой не поедем с немцами, — ответил папа. — Спасибо, но мы этого не сделаем!

— Павел Васильевич, право же не время донкихотствовать! Простите. Я очень уважаю вас, но теперь надо прежде всего думать о спасении семьи. Эти разнузданные банды... эти зверства... разве вы не знаете, что они делают? Это же ужас! Вы здесь погибнете несомненно. Вы думаете, они вас пощадят? Да, наконец, вас видели сегодня еще на телеграфе. На вас донесут! Что вы?

— Нет, — решительно ответил отец. — Поезжайте, если хотите. А я под защитой немцев от наших крестьян уезжать не буду. Убьют, так убьют. Вы находите, что сейчас так интересно жить на свете?

— Если сами не хотите, так хоть отправьте семью, ваших дочерей! Подумайте, что им может грозить от этих мерзавцев. Мы с удовольствием возьмем их с собой. Власть большевиков больше нескольких недель или месяцев не продержится. Скоро вернемся! Но по крайней мере целы будем!

— Хочешь ехать? — обратился ко мне отец.

— С немцами? Нет. Лучше пусть повстанцы делают, что хотят.

Шанько посмотрел на отца с недоумением.

— Я вас не понимаю, Павел Васильевич. Лучше приличные и честные немцы, чем эти мерзавцы, грабители и разбойники. Они вас убьют! Неужели вы считаете недопустимым спасаться от бандитов, когда знаете, что они вас прикончат?

— Если бы можно было уехать иначе — я бы поехал, — сказал отец. — Но с немцами только что воевавшими с Россией, ограбившими Украину, чуть не захватившими наши земли, ехать нельзя. Будь что будет!

Шанько вышел пожимая плечами. Все городские буржуи, занимавшие сколько нибудь заметные посты или имевшие имения в уезде эвакуировались в ту же ночь. На утро отошел последний немецкий эшелон.

Всю ночь напролет мы просидели при свете лампады, прислушиваясь к шуму улицы. Но все было тихо.

Когда рассвело, отец оделся и пошел в Земскую Управу, куда по традиции являлись всегда вступавшие в город власти. Он говорил, что необходимо встретить петлюровцев, ибо тогда легче поговорить с ними и может быть удержать от зверств. Часам к 12-ти он вернулся. Все было тихо. В город еще никто не вошел. Наскоро позавтракав, отец опять ушел в Управу. Томительно тянулись часы ожиданья.

Вдруг, часам к трем дня, мимо наших окон, по мертвенно замершей улице, бешенным галопом, с улюлюканьем, свистом и криками, промчалось несколько извощиков. На них висело по десятку вооруженных до зубов людей. Город вдруг закипел. Толпы народа высыпали на улицу. Мы закрыли ставни, завесили окна и стали ждать в

смертельной тревоге. Страшно было за отца! Что они сделают? Прошло несколько часов. Толпа гудела за окном, запрудив все улицы. Смех, песни, крики, звуки гармоники, угрозы по адресу буржуев сливались в неясный гул. В наши ставни полетели камни под громкий хохот присутствующих.

Мы сидели молча, при тусклом свете маленькой лампадки. Загремели выстрелы. По улице с гиканием и воплями торжества протащили петлюровское орудие и выставили его на площади. Несколько грузовиков с пьяными повстанцами, стреляющими в воздух и распевающими революционные песни, полным ходом промчалось по всем улицам. Затем началась попойка в квартире Тоцкого, где остановились победители.

Мы дрожали за отца. Но часам к шести он вернулся и успокоил нас. Повстанцы, несмотря на возбуждение, естественное при взятии города, не производили слишком жестокого впечатления. Это были молодые хлопцы, упоенные победой. Они готовились на следующий же день выступать дальше, но зверствовать в городе не собирались. Командовавший ими начальник обещал, что Варфоломеевской ночи не будет, и вообще, что никого не будут притеснять без причины.

— Представьте себе, что Клименко, кажется, действительно всем рассказывал, что арестует меня, — заметил отец. — В Управу пришли освобожденные повстанцами из тюрем революционеры, и я там встретил Злобинца, знаешь того, известного... Он наверное будет опять у них комиссаром. Я сказал ему несколько слов, и вдруг он мне говорит, что Клименко ему сам сказал, что хочет меня арестовать. Правда удивительно!

Я пожала плечами.

— Неужели он тебе сам сказал?

— Сказал, — подтвердил папа.

— Ну что же. По теперешним временам, это даже выгодно! Хотя это, разумеется, вздор. Разве он мог тебя арестовать?

Отец засмеялся.

— Староста — нет. Ну, а эти могут, конечно.

— Могут, — вздохнула я.

Через несколько дней на столбах появились приказы от новой власти. Одни были подписаны комендантом города — Грудницким, другие комиссаром — Каздобиным. Последний был видным украинским деятелем, и имел репутацию порядочного человека, хотя и строгого.

Однажды, к моему большому удивлению, я встретила петлюровские власти в церкви. Они стояли посредине, очень живописные, даже красивые, в своих черных бурках. Рослые, энергичные, с суровыми, решительными лицами... Они не сняли оружья — так и вошли с шашками и револьверами. Сняли только папахи. Им, конечно, никто не посмел ничего сказать. Кажется, они праздновали свержение гетмана или взятие Киева.

После молебна, они вышли из собора, сели верхом и уехали.

В городе налаживалась революционная власть. Царил террор. Все знали, что по ночам идут расстрелы, что по уезду ловят быв-

ших хлеборобов и гетманцев, что в арестном доме ежедневно избивают арестованных, а многих просто приканчивает караул. Рано утром по городу везли на подводах сложенные как дрова трупы убитых, часто зверски обезображенные. Их хоронили около кочубеевского леса, еле прикрывая землей, чтобы не копать глубоко мерзлую землю. Из этих могил торчали окоченевшие, обезображенные члены. Руки с отрезанными пальцами... На столбах и у двери комендатуры, периодически висели прговоры революционного суда — почти все были смертные приговоры. Я не могла читать их. Охватывал ужас!

Но надо было жить! Мать продолжала давать уроки музыки и к ней ходили ученики. Это позволяло кое-как перебиваться. Отец с братом Василием ухаживали за скотом, пилили дрова. Вася нанимался к соседям возить зерно на мельницу, потому что это была хлопотливая операция.

Надо было самим не только засыпать муку, но и приводить в движение, часто останавливавшийся из за плохого бензина мотор. Тогда все присутствующие впрягались в него и тянули за ремень до тех пор, пока колесо не начинало крутиться. Кроме того, крестьяне часто отталкивали буржуев, заявляя наперекор очевидности, что их мука уже прошла, и приходилось покоряться. Поэтому все, кто мог, предпочитали поручить кому нибудь другому ездить на помол, а в особенности, богатые евреи. Они и нанимали брата, и платили третьесортной мукой и отрубями, необходимыми для кормежки нашей коровы.

Особенно томительно тянулись длинные зимние вечера. Окна плотно завешивались одеялами, ибо если с улицы замечали малейший свет, тотчас в ставни летели камни. Часто, из озорства, к нам стучали в окно и кричали угрозы буржуям, что, видимо, доставляло присутствующим большое удовольствие. Громкий смех, шутки, ругательства неслись с улицы. Это делалось почти каждый вечер, и надо сознаться, порядочно дергало взвинченные нервы. Но более всего нервировали меня выстрелы. Целый день, по городу шла беспорядочная стрельба из винтовок. Но к вечеру она приобретала другой, гораздо более жуткий характер. Мы знали, что у тюрем и в арестном доме идут расстрелы. Конечно, чаще всего они стреляют зря, для развлечения или устрашения. Но кто знает, может быть, именно в этот момент кого нибудь пристреливают! Тяжело!

**
*

В субботу утром 8-21-го декабря я проснулась позже обыкновенного, и долго оставалась лежать в кровати. Мне как то нездоровилось. Погода была хорошая, теплая, снег таял. Улицы запрудила жидкая грязь. Солнце ярко светило, и, несмотря на недостаток топлива, в доме было не очень холодно. Я вынула из под подушки книгу, и решила отдохнуть в кровати часов до одиннадцати. После сильного нервного напряжения иногда появляется потребность полежать спокойно несколько часов. А накануне мы попали на очень тяжелое зрелище.

Часов в 6 вечера, когда уже было совершенно темно, маленький брат, Кира Марковский, семилетний мальчуган, позвал меня смотреть странную телегу, которая остановилась рядом, у аптеки. Когда я подошла к ней, то чуть не упала. При свете фонаря, я увидела там три трупа, но какие? С выколотыми глазами, отрезанными ушами, полуголые, с какими те кусками окровавленной кожи, висящими на груди. Около телеги стоял петлюровец и прехладнокровно осушал бутылку водки через горлышко.

Не помня себя от ужаса, я схватила Киру на руки и убежала. Мне казалось, что петлюровец гонится за нами, и я еле домчалась до нашего сада.

Дома я никому ничего не сказала, но Кира, конечно, проболтался, и флигель Марковских был в панике. Но у нас ничего не узнали. Кире запретили ходить по улицам. А у меня мучительно сжималось сердце при одной мысли о страшном зрелище. Так хотелось не думать... Отдохнуть... Забыть...

Но какой тут может быть разговор об отдыхе? Меня мучит вопрос, каким образом мои любимые русские люди дошли до того, что у нас на улице можно встретить тот ужас, о котором я тщетно стараюсь не вспоминать. Меня грызет тоска при мысли, что может быть все таки правы тетя, староста Клименко и гетманские офицеры, которые старались втолковать мне, что наш народ — каторжники и мерзавцы.

Но поверить этому я не в состоянии. Как это может быть, чтобы русский народ был нехорошим, чтобы он состоял из злодеев. Они в нем есть, конечно, как во всяком человеческом обществе. Но, ведь, не все же. Не все! Этого не может быть! Большинство, наверное, хорошие!

**
*

Вытаскиваю из под подушки книжку Энгельса. Я уже давно ее не читала, почти год. Читать ее и чувствовать, что я изображаю из себя этот отвратительный буржуазный класс, мне так невыносимо, что я спрятала ее подальше, вглубь шкафа. Но теперь я ее вытаскиваю. Она все-таки кое-что объясняет. Пусть лучше будет виновата буржуазия, и я сама, лишь бы не оказалось, что неправ русский народ. Этого вынести я не смогу. А когда читаешь, что их так мучили, то становится понятно, что и они злятся. Они не так виноваты. Делается легче.

Читаю... и горько вздыхаю. Есть от чего. Сколько, однако, гадостей делается на свете! Ух!

Наконец, встаю. Папа с братом работают на скотном дворе. Мать дает уроки музыки. Мы с маленькой сестрой сидим в гостинной.

Вдруг во двор вошла группа вооруженных петлюровцев

— Смотри, идут петлюровцы, — крикнула мне тетка.

— Где? Где? — спросила я, и бросилась к дверям.

На пороге стоял Емец, бывший писарь воинского начальника, который раньше ежемесячно приносил матери отцовское жалование. За его спиной, переступая с ноги на ногу, отряхивали снег человек шесть солдат, перевязанных пулеметными лентами, вооружен-

ных винтовками, в серых папахах. Емец вошел в дом, кивнув остальным, чтобы они подождали.

— Я пришел вас арестовать, — заявил Емец вышедшему к нему отцу. — Вот ордер коменданта Грудницкого. Вы подчиняетесь?

— Конечно, — ответил отец. — Позволите мне проститься с семьей?

— Да. Только скорее.

Отец вышел с нами в соседнюю комнату, повесил себе на шею образ Спасителя, который никогда не покидал его во время войны, положил в карман Евангелие, благословил и поцеловал нас, и сказал нам просить совета у Каздобина.

Емец дожидался в столовой.

Через минут пять, отец вышел к нему, и, окруженный конвоем петлюровцев, покинул двор. Мы с матерью бросились за ним. Но Емец приказал нам уйти. Мы побежали по другой улице им наперерез, и, действительно, нагнали их опять у площади. Но Емец решительно махнул нам рукой. Отец вошел в ворота арестного дома.

Мы остановились ошеломленные. Что делать?

Раз ордер выдан Грудницким, то надо прежде всего постараться увидеть его и узнать в чем дело. Брата Васю отправили к Каздобину, на помощь которого, казалось, надеялся отец. А мы с матерью пошли в комендантуру.

Результаты наших попыток были самые неутешительные.

Комиссар города Каздобин грубо выгнал брата из дому, крича, что видеть его не желает. Вообще все люди, к которым мы обратились в тот день и которые, казалось, раньше к нам были расположены, теперь шарахались от нас, как от зачумленных и не хотели здороваться, не то, что помогать.

В комендатуре Грудницкий нас не принял. Целый час простояли мы на лестнице, среди поющих и ругающихся петлюровцев, пока адъютант Грудницкого, Красота, не посоветовал нам уйти, ибо толка все равно не будет. Комендант приказал всем, если Максимовичи придут с просьбами, «гнать их в шею».

Пришлось уйти.

В полном отчаянии мы очутились на городской площади, не зная совершенно куда направиться. Вдруг я заметила на противоположном тротуаре служащего «Постачайки», то есть комиссариата снабжения, который на днях выдал мне мыло. Он был старым революционером, и мог быть близок к новой власти. Через невылазную грязь, запрудившую площадь, по колено в жидкой каше, я кинулась к нему.

Он остановился и выслушал меня.

— Комендант Грудницкий, действительно, человек строгий и с ним не разговоришься, — заметил он. — Если бы дело шло о Каздобине, то я, пожалуй, мог бы спросить у него, почему он арестовал вашего отца. Но тут... Разве вот что! Пойдите к Белоусу. Он, хотя и не принадлежит к петлюровским властям, но влияние имеет большое. Если он с товарищами захочет, то узнает все. Он был раньше машинистом на паровозе... Попросите его. Он сейчас должен быть в Земской Управе. Они там заседают.

— А кто он? Большевик? — спросила я.

— Да, — улыбнулся он. — Пойдите к нему.

Мы отправились в готовую уже закрыться Управу, и встретили в темном корридоре человека, который спросил нас, что нам нужно.

— Михаила Павловича Белоуса, — ответили мы.

— А кто вы такие?

Мы назвались. Услышав нашу фамилию, он как то странно улыбнулся, и открыл дверь в соседний кабинет.

— Я — Белоус. Что вам угодно? Пожалуйте.

Мать начала рассказывать о случившемся.

— Как имя-отчество вашего мужа, — спросил Белоус.

— Павел Васильевич, — ответила мать.

— А Михайло Васильевич? Это кто? Ваш сын? Брат?

— Это племянник мужа.

— А! Он тоже арестован?

— Не знаю. Он уехал с гетманцами. Но я прошу вас за мужа. Ради Бога, помогите. Мы не знаем, что делать. Это ужасно. И никто не хочет нас принять!

— Сейчас справлюсь.

Белоус вызвал по телефону комендатуру, и стал разговаривать с Грудницким.

— Ты заарештував Максимовича? Якого? Михайлу?

— ...

— Добре. Побачимо. Если поймаешь Михайлу Васильевича — предупреди меня. А заще ты посадив генерала? За контр-революцию? Що вин зробив? Эге! Добре! Дьякую.

— Что делал ваш муж при гетмане? — спросил кладя трубку Белоус.

Мать начала рассказывать, и умоляла сказать, что теперь надо делать, к кому обратиться, и что может выйти из этого ареста. Белоус задал матери массу разных вопросов касательно действий отца в гетманский период. Ответы наши он слушал терпеливо, что после резких отказов других, вселило в нас некоторую надежду.

— Значит, вы говорите, что он у гетмана не служил? — спросил он наконец.

— Нет. Это же очень легко проверить, — говорила мать.

— Почему вы не уехали с гайдамаками?

— Куда?

— Все буржуи уехали. Почему вы остались? Не успели?

— Мы не хотели уезжать с немцами, которые враги России!

Белоус поднял брови.

— Остальные же все уехали!

— Мало ли что делается теперь. Все с ума посходили. Это же ужас, что делается! Нет. Ни муж, ни свекор мой не захотели ехать. Они все таки русские генералы.

Белоус нагнул голову, скрывая усмешку.

— Хорошо. А карательные экспедиции вы когда в последний раз послали в ваше имение. Где оно кстати? Я забыл.

— В Прохоровке. Никаких карательных экспедиций мы не посылали! Что за вздор! Кто вам это сказал? Это неправда!

— Ну-у! Наверное посылали! Весной, когда помещики ездили имения принимать!

— Что вы! Мой муж никуда не ездил! Там же немцы действовали! Как можно! Он никогда с немцами не сообщался.

— Но, ведь, имение то вам вернули?

— Нет, — возразила мать. — Это немцы возвращали. Нет, мы не взяли! Помилуйте! Свое собственное родовое имение и вдруг его будут возвращать немцы!

Белоус закусил губу.

— Странный у вас способ защиты... — пробормотал он усмехаясь.

— Что?

— Нет, ничего. Ваш муж воевал с немцами на фронте?

— Да. Был ранен и контужен пять раз.

— Ну, а контрибуции с селян вы брали? Там, за покосы? Порубки? А?

— Они заплатили за аренду земли. Это — да. А больше ничего. Нам даже ничего оттуда не привозили! У нас муки нет! Нет, мы не взыскивали за забраное. Муж сказал им, чтобы они свезли на двор ольхи. Кажется, они их свезли. Мы туда не ездили, и сюда нам ничего не привезли. Это же все немцы делали. Разве можно было идти заодно с немцами?

Долго продолжались расспросы Белоуса. Наконец, он встал.

— Так. Ну что же! Мы с товарищами справимся. Узнаем, что там. А вы получили разрешение видеться с арестованными?

— Нет. А куда надо за этим обратиться? Мы не знаем.

— Надо спросить коменданта.

— Нас туда не пускают. Комендант нас принимать не хочет.

Белоус посмотрел на нас.

— Ну, ничего. Это можно будет устроить, — сказал он.

— Куда его повели? — спросила с тоской мать. — Что с ним сделают? Это ужасно — ничего не знать! За что, такое мучение?

— Вы не знаете, куда его отвели? — спросил, насторожившись, Белоус.

— Его повели в арестный дом. Но мы не знаем, что было дальше.

— Приходите завтра, часам к девяти, — закончил разговор Белоус. — А мы к тому времени справимся.

— Спасибо, — сказала, тронутая его обращением, мать.

Мы вышли от него немного успокоенные.

— Он кто у них такой? — спросила мать.

— Не знаю. У них тут и большевики и петлюровцы. Трудно понять.

— Он петлюровец?

— Говорят — большевик. Не знаю.

— Ой!

***

На следующее утро мы явились в Земство ровно в десять часов. Белоуса не было, и его пришлось подождать целых два часа. Наконец он явился. На нем была защитного цвета куртка, разлета-

ющаяся свитка и баранья, украинская шапка. Увидя нас он остановился. Повидимому, он забыл о своем обещании.

— Ах, да! — сказал он. — Сейчас!

Он опять вызвал комендатуру и начал о чем то разговаривать с Грудницким. Наконец, он заговорил о нас.

— Что? Михайлу Максимовича не поймал?.. Так предупредишь! Добре, добре, дьякую. А генерала ты куда посадил? В арестный дом?.. Звычайно, вин контр-революционер, эге!

— ....

— А жинке его ты все таки пропуск дай для свидания. Это можно... Нет, что ты! Мы же не гайдамаки! Говорю — нет! Так дашь? Спасибо. Вона зараз прийде. А ты хлопцев того... Пусть не очень шкодят! Эта анархия ни к чему. Славне, велике дїло робим. Олесь, обрати внимание...

— Ну, вот, — обратился к нам Белоус. — Ваш муж сидит в арестном доме. Ступайте в комендатуру, там вам выдадут разрешение видеться с арестованным, и можете понести ему обед.

Как мы обрадовались! Горячо поблагодарив его, мы отправились в комендатуру.

Она помещалась в бывшей квартире Председателя Земской Управы, Тоцкого, в которой после революции расположился Совет Рабочих и Солдатских Депутатов. Эта изящная, светлая квартира была загажена невыразимо. Уже внешняя дверь, пошарпанная прикладами, выглядела жалко. Внутри же царил полный разгром. Стены на высоту человеческого роста, были запачканы, заплеваны, замуслены. На полу скопилась масса грязи, окурков, шелухи и разных отбросов. Снежно белый потолок с лепными фигурами, прелестное зеркало над камином, нежные обои, покрывающие верхнюю половину стен, представляли грустный контраст с отвратительной нижней половиной. На захарканных ступеньках лестницы, на полу во всех проходах, коридорах, залах, валялись вооруженные петлюровцы. Они смеялись, кричали, играли на гармонике, пели песни. Мы с трудом пробрались между ними и вошли в приемную коменданта.

Там сидел за столиком тот самый молодой блондин, с хромой ногой, которого я видела в соборе. Мы сказали, что пришли просить разрешения видеться с арестованным отцом. Он записал нашу фамилию, и исчез. Через полчаса он выдал нам пропуск.

С драгоценным пропуском в руках, захватив с собой пакеты с провизией, мы отправились в арестный дом на свидание.

Арестный дом находился рядом с Земской больницей, в сад которой выходили его окна. По длинной дорожке, утопая в грязи, мы подошли к страшному зданию. Нас остановил вооруженный петлюровец, с винтовкой на перевес, разгуливавший перед дверью. Он взглянул на наш пропуск, нахмурился, видимо не смог прочесть его, и крикнул в караулку:

— Эй, буржуи пришли, арестованного смотреть! Пущать, что ли?

— Пропуск есть? — ответил из дома пьяный голос.

— Кажуть, что е! А хто их знае!

Три петлюровца вышли из караулки и окинули нас внимательным взглядом. Один был пьян. Но двое других видимо были начальством.

— Де пропуск? — повелительно спросил один.

— Вот. — Мы протянули ему бумажку.

Он долго глубокомысленно крутил ее и потом крикнул в дверь.

— Товарищ Даниленко! Дивись!

Товарищ Даниленко вынырнул из облаков табачного дыма, сплошь застилавшего внутренность караулки, взглянул на пропуск, на нас, и кивнул головой.

— Хай входят! Там увидим!

Мы вошли в караулку. Там сидело на скамьях человек двадцать петлюровцев, с винтовками и пулеметными лентами. Грязь, вонь, духота были такие, что, казалось, нельзя там высидеть ни минуты. Но они преспокойно играли в карты, на засаленном столе, что то ели, пили чай, разогревая чайник на круглой железной печке, отапливавшей помещение, грызли семячки и тренькали на балалайке. Некоторые сидели обнявшись с женщинами, которые бросили на нас насмешливый взор.

Посыпались грубые площадные шутки.

— Можно мне будет увидеть мужа, — тихо попросила мать.

— Погодите. Мы подумаем... А что вы здесь принесли? Не бомбы?

— Какие бомбы, — вздохнула мать. — Поесть принесла. Вот котлеты, хлеб, яйца...

— Давайте сюда! Посмотрим буржуйскую еду! Жирно кормитесь!..

Мы передали им пакеты. Они с любопытством развернули их и стали рассматривать, переворачивая грязными руками тартинки.

— А это я знаю что! — сказала одна из баб. — Это сыр швейцарский.

Все засмеялись.

— Иш ты, сыр! А внутри ничего не спрятано? — вдруг забеспокоился старший караульный. — Смотри!

— Что там может быть? — удивилась мать.

— А кажуть, буржуй один револьвер в хлеб запек...

— Ну! — ужаснулись остальные.

В углу двое пьяных начали переругиваться. Мы все еще не знали, захотят ли они разрешить свидание.

— А можно будет увидеть мужа? — спросила мать.

— А ты жди. Когда позволим — увидишь. А не позволим — так уйдешь! — сказал полупьяный караульный с явно каторжной физиономией. Его веснущатое, широкоскулое лицо, изъеденное оспой, было бледно от пьянства. Желтые глаза придавали какой то странный вид и без того зверскому лицу. Он был страшен.

Мы замолчали.

За печкой дико завизжала женщина. Послышался громкий хохот и невозможные ругательства. Сидевшие на коленях у караульных женщины насмешливо смотрели на нас.

— А вы с Черкасской улицы? — спросила одна из них, красивая и еще очень молодая брюнетка, с бархатистыми карими глазами, и несколько неестественным румянцем на щеках.

— Да. Вы нас знаете? — спросила я.

Она закашляла и еще более покраснела.

— Я полола у вас летом. Не помните? Феклой звать.

— Кажется помню, — ответила я с некоторой надеждой, делая шаг к ней.

— А вони какие паны були? — спросил караульный, целуя ее. — Добрые, чи поганые?

— Уси буржуи поганы! — засмеялась баба.

— Правильно! Пили нашу кровь...

Большинство караульных были местные украинцы, но были среди них и москали. Один из последних грянул по балалайке и на залихватский мотив затянул:

Товарищи буржуи!
Отдай свои миллионы,
Теперь наша победа!
Теперь наши законы!
Повесим генералов,
Помещиков долой,
Погибель капиталу,
Пропал весь старый строй!

Через минуту в комнату за караульным вошел отец, страшно изменившийся, осунувшийся. Он не знал куда его ведут, ибо очень часто выводили на расстрел или избиения. Увидев нас он остановился. Мать бросилась ему на шею. Караульные этому не воспротивились.

Говорить при петлюровцах и женщинах было конечно немыслимо. Но мы хоть увидели, что он жив и цел! Ему позволили остаться с нами не более трех-четырех минут.

— Довольно! Годи! Вертай его до вязници! — приказал начальник.

Отец вышел, бросив на нас долгий, прощальный взгляд.

— Когда можно будет опять придти? — спросила мать.

— Увидеть его скоро нельзя будет, — ответил начальник караула. — А пищу приносите. Мы их не кормим. Хай им с дому носят! Чего буржуев кормить!

— А можно хоть подушку принести. Я не знаю, есть ли здесь?

— И так полежат! Вы что, думаете? Для них постели стелят! — он засмеялся. — На полу лежат — и ладно! Не могут спать без подушек? Ишь нежные какие!

Петлюровцы хохотали.

— Они там, как сельди в бочке! Ногой ступить некуда! Попили нашей крови. Теперь мы им покажем. Всем будет один путь — в земельный комитет!

Мы сразу даже не поняли жестокой шутки.

Со слегка кружащимися головами, вышли мы из караулки на свежий воздух. Вслед нам неслись пьяные песни, угрозы, смех...

На следующее утро, мать отправилась в тюрьму с продуктами, а я побежала к Белоусу.

Он принял меня довольно скоро. Я рассказала о посещении отца в арестном доме, и спросила, что нам делать дальше. Он посмотрел на меня и усмехнулся.

— Гм! Вы мне сначала расскажите кое-что.

Он опять начал задавать вопросы насчет действий отца при гетмане. Я отвечала подробно.

— А как у вас с селянами? — спросил он. — Какие отношения?

— Можно сказать — никаких. Мы там так редко бывали. Ведь жили мы в Ковно и в других городах, по месту службы отца, а в деревню приезжали лишь месяца на два — летом.

— Попросите у них приговора. Если приговор будет благоприятный, то легче будет защищаться на суде.

— Как на суде? — ахнула я.

А вы же как думали? — удивился он.

— Я думала, что отца отпустят. Ведь он ни в чем не виноват.

— Вы находите? — усмехнулся Белоус. — Увидим.

— Что же он сделал? — спросила я в отчаянии.

Он посмотрел на мое перепуганное лицо и смягчился.

— Может быть, ничего страшного и не будет, — сказал он ласково. — А приговор от селян вы попросите. Пригодится.

— Как же это сделать?

— И этого не знаете! — покачал головой Белоус. — Надо просить Волостную Земскую Управу о приговоре. Они знают как, и пришлют сюда ответ. А мы с товарищами, сами наведем справки в селе.

Это меня испугало.

— Я не знаю, что они скажут, — вздохнула я.

— Скажут правду, — ответил вставая большевик.

— Ну, спасибо, — сказала я. — Мы сделаем, как вы скажете.

— А вы мне так верите? — спросил он с чуть заметной усмешкой.

— Конечно. Спасибо вам. Никто нас не хочет слушать, а вы говорите, что надо делать, и пропуск нам дали, и отца мы благодаря вам увидели.

— Ну, хорошо, — сказал он, — так пошлите кого нибудь в Прохоровку. Это может быть полезно. До свидания.

Я вышла.

Дома мы занялись посылкой просьбы в Прохоровку о приговоре. На следующее утро мы пошли к Белоусу вдвоем с матерью просить возобновления пропуска в арестный дом. Он выслушал нас и кивнул головой.

— Это можно, — сказал он.

И снова позвонил в комендатуру, где обещали пропуск дать.

Мы поблагодарили его.

— Там очень страшно, — сказала я. — Вы знаете... там избивают арестованных. Неужели отец там долго будет сидеть? Я боюсь за него... Там расстрелы...

— Эх, барышня! Вы думаете, что только повстанцы избивают арестованных? — заметил Белоус.

— Это ужасно, что там делается, — сказала мать. — Я понимаю судить — но так мучить! За что?

Белоус сжал губы. Глаза его блеснули. Я с удивлением увидела, что он волнуется. Вдруг он резким жестом откинулся в кресле.

— Вы думаете, что революционный пролетариат так жесток и несправедлив к буржуям, — спросил он. — Хорошо. Я расскажу вам, что со мной было этим летом. Я жил под Драбовым. Ваш племянник, Михайло Васильевич, керовничий карательного отряда, приехал до нас со своими гайдамаками. Собрали сход, приказали селянам лечь на землю и выпороли полторасто человек. Я стал просить вашего племянника пощадить селян, из которых большинство было вовсе ни в чем не виновно, даже с их гайдамацкой точки зрения. Тогда он велел меня схватить, как зачинщика. Нас с товарищами отвезли в Драбово, и заперли в тюрьму, а потом гайдамаки вывели нас и избили шомполами и нагайками, так, что кожа висела клочьями. Я упал без чувств. Меня втащили опять в камеру и заперли. Через часа два, когда мы отошли, нас снова вывели и опять били — зверски, по уже израненной спине... Сломали мне ребро. Я двигаться не мог от адской боли. Ночью нас вывели опять — и опять били... Понимаете! Это был такой кошмар, что я умолял их пощадить. Это вынести было невозможно. Не слушали!.. Когда нас опять отнесли в камеру и положили на нары, я не мог удержать стоны. Просил пить — не дали. Заперли и ушли.

И вот под самое утро опять слышу идут. Если бы меня спросили, могу ли я двигаться, то я бы поклялся, что это совершенно невозможно. Но когда я их услышал, то откуда силы взялись! И я сам не понимаю как, встал и спрятался за лавкой, где лежали полумертвые товарищи. И лежал там и не стонал, пока они шарили, искали нас и опять забрали... Утром ваш племянник велел отвезти нас в больницу. У меня нашли два сломанных ребра. На животе ничком лежал полтора месяца с компрессами на спине и выписался из больницы только в октябре... Как вам это покажется!

Не знаю, легко ли себе представить впечатление, которое на меня произвели эти слова... Я сидела совершенно уничтоженная, не зная, что сказать. Мне хотелось одного — уйти скорее и никогда больше не приходить сюда. Белоус был единственным, кто отнесся к нам по человечески, принял участие, помог, давал советы. И вдруг его!.. Я не знала куда смотреть, так мне было больно и стыдно. Во всяком случае просить его о помощи было совершенно невозможно. Ведь Миша был моим братом...

Мать моя тяжело вздохнула и начала что то говорить. Я не разбирала ее слов. Меня после стыда и тоски охватило отчаяние. Что мы будем делать? Он один с нами разговаривал. Теперь и эта надежда исчезла. Но просить его теперь я не в состоянии. Не могу! Мне стало так страшно, так горько, что на глазах навернулись слезы.

Белоус это заметил.

— Вы тут не при чем, — сказал он, — но так как сейчас жа-

луются на грубость повстанцев, то я рассказал, как ваши, тоже не стеснялись с нами.

Я ничего не могла ответить. Мать моя сказала несколько фраз, и мы ушли. Белоус проводил нас до двери.

— До завтра, — сказал он нам на прощание.

— Я больше не буду ходить к нему! — заявила я, выходя из Управы. — Немыслимо просить его о помощи после такой истории. У меня язык не поворачивается.

Мать ничего не ответила.

Весь день я просидела в комнате, терзаясь отвратительной смесью стыда, тоски и страха. Конечно, чтение революционной литературы уже открыло мне глаза на возмутительные несправедливости, совершавшиеся при прежнем строе, но это все же были книжные рассказы. А здесь налицо был реальный факт.

Несмотря на теоретическое знание некоторых марксистских положений, я тем легче допускала виновность буржуазии, что себя с ней вовсе не связывала. Мне были в сто раз ближе и дороже интересы массы российского народа, чем выгоды каких то денежных тузов или помещиков, и я абсолютно ничего не имела против того, чтобы власть буржуазии была свергнута. Я знала, что революционеры причисляют нас к буржуазии и что теоретически они правы, но в глубине души считала это недоразумением. В особенности, за собой, личной виновности я не признавала. Что я сделала? В чем я виновата? Нет мне дела ни до какой буржуазии!

Но тут — другое дело! Я никак не могла сказать себе, что Миша не «наш», что мы с ним ничего общего не имеем. Я бы гордилась его подвигом, как гордилась заслугами отца и деда, и теперь меня терзал стыд.

Что же это выходит? При первом контакте с реальной действительностью, я вынуждена между своим братом и большевиком - поповстанцем стать на сторону последнего. Большевик-повстанец оказывается лучше наших. Мы в его руках, а он не только не мстит, но и помогает, дает советы, судит нас объективно и справедливо. Как же это так?

Ведь все говорят, что они звери! Большевики, казалось мне, могут оказаться сильнее. Это уже не раз приходилось констатировать. Они конечно правы в некоторых своих политико-экономических мероприятиях. Но, чтобы они оказались нравственно лучшими — этого я никак не ожидала!

Мне было только 17 лет, и после замкнутого, отрешенного от всяких контактов, детства, я во все глаза присматривалась к незнакомой, неведомой, мало-понятной, но такой захватывающе интересной реальной жизни. А тут еще революция, над причинами и будущим развитием которой я ломаю себе голову.

Что же получается?

Во первых — неправда, что большевики злодеи и мерзавцы. Иначе, такой хороший и умный человек, как Белоус, никак не был бы большевиком.

Во вторых, раз наши так скверно поступили с ним, значит, так же дурно поступали наверное и во многих дугих случаях. Лишнее

доказательство негодности, не только гетманской власти, но и среды, из которой она черпала свои кадры.

Это уже не книжные рассказы, а голая действительность. Я не хотела верить революционным авторам. А в первые же дни моей самостоятельной, взрослой жизни, они получают такое потрясающее подтверждение.

И я почему то оказываюсь представительницей классов, которые запятнали себя такими ужасными поступками. Это же невыносимо! Мне было безумно стыдно перед людьми, жалующимися на такую массу страданий и несправедливостей. Они правы — ответить им нечего.

Мне было тем более стыдно, что я отлично понимала, что Белоус мстить не будет. И вот приходится теперь ходить и просить о помощи этого измученного нашими человека! Я не могу! Сил моих на это нет... Но с другой стороны, отец в тюрьме, и там творятся ужасы. Ведь нельзя же бросить папу на произвол судьбы! Так как же быть?

Довольно эгоистично, я начинаю сердиться. Зачем меня поставили в такое положение? Почему я должна краснет, стыдиться, мучиться перед человеком, которому сама лично, ничего не сделала? Зачем меня воспитали в одном, цельном мировоззрении, которое казалось таким верным и исчерпывающим, а теперь, при первой стычке с действительностью, все оказывается совсем дугим? И приходится мучиться и стыдиться!

Ну, а революционеры? Они — правы? Часть из того, что они говорят безусловно подтверждается. Это несомненно. Но разве это все? К тому же среди них так много партий и течений! Кто из них прав?

И Украину отделяют! И с фронта бежали! И немцев пустили! И тоже грабят, мучают, убивают!

Нет сил во всем этом разобраться. Так началось мое знакомство с большевиками.

Удивительнее всего то, что это первое, столь сильное впечатление должно было впоследствии еще усилиться под влиянием целого ряда подобных же фактов. Ничто не могло сильнее повлиять на меня, чем такой очевидный контраст между поведением людей двух лагерей. Нравственное превосходство было слишком явно, и именно с неожиданной для меня стороны.

Надо было соображать и перестраиваться.

Сердито каталась я по постели, не зная на что решиться и горя от стыда и тоски. На следующий день я в Управу не пошла.

Мать отправилась, как и накануне вечером, относить отцу передачу, а я сидела все утро, тщетно силясь что нибудь придумать — но безуспешно.

Вдруг вернулась мать, в страшном волнении.

— Там что то случилось! — сказала она. — Папа успел шепнуть, что он сильно болен — жар, боится, что начинается тиф. Но главное, он сказал, что его необходимо сегодня же перевести оттуда куда нибудь. Иначе он пропал. Что делать?

Выбора не было — я отправилась к Белоусу. Я отлично чувст-

вовала, что он зла нам не сделает. Но меня все же пугал первый момент встречи. Как он примет? Что скажет? Заранее я решилась выслушать все, что ему вздумается сказать, и все же просить его. Ибо спасти отца было необходимо.

Он принял меня немедленно.

— Не знаю, захотите ли вы разговаривать со мной, после того, что было вчера. Но я все таки пришла к вам...

— Бросьте, — перебил меня Белоус. — Говорите, что случилось?

— Во первых, отец, кажется, захватил тиф: сильный жар, он болен. Но главное, он сказал, что погиб, если его сегодня же не вывести оттуда. Там что то произошло. Не знаю, что делать!

Белоус свистнул и взял трубку телефона.

— Олесь, что у тебя в арестном доме?

Я не могла слышать ответов, но лицо Белоуса было очень серьозно.

— Ну, хорошо! Это твое дело! Как знаешь! Только надо, чтобы ты немедленно перевел арестованного Максимовича в другое место.

— Зачем?.. Потому, что он болен... Что у него?.. Тиф. Да, тиф... Словом, ты это зробишь?

— Я тебя дуже прохаю, Олесь. Так будет лучше.

— ... Дурень!..

— ... Добре, добре! Побачимо!..

Он повесил трубку и прошелся по комнате что то обдумывая. Затем он снова взялся за телефон и вызвал Богунского:

— Антон, иди до мене, — сказал он.

Через несколько минут в кабинет вошел Антон Богунский, командир окремой бригады. Оба отошли к дальнему окну и долго оживленно разговаривали, от времени до времени взглядывая на меня. Наконец Богунский кивнул головой и вышел.

— Подождите немного. Сейчас выяснится, — сказал Белоус. Прошло часа два-три. Белоус принимал каких то людей, подписывал бумаги, звонил по телефону. Я молча сидела в уголке. Опять позвонил телефон.

— Эге! Дьякую, Антон. Бувай здоровенький!

— Идите в Земскую Больницу, к врачу Жебеневу. Он меня хорошо знает. Лечил летом после Драбовских историй. Он сейчас был в арестном доме и осмотрел вашего отца, у которого явно показался сыпняк.

Я ахнула.

— Слушайте меня, — продолжал он. — Жебенев вам даст свидетельство о болезни и о необходимости немедленно перевести арестованного в больницу. Мать ваша наверное была во время войны сестрой милосердия? Нет? Ну все равно. Она сейчас уже принята сестрой милосердия в Земскую Больницу. Вот удостоверение. И пусть она сегодня ночью дежурит в больнице. Поняли?

Я не совсем понимала, что происходит, но по лицу Белоуса видела, что положение серьозно и внимательно слушала его указания.

— Завтра прходите утром и расскажете как все обошлось. Не бойтесь. Все будет хорошо.

Как мне было благодарить его?

Я побежала домой и застала мать сильно взволнованной. У нее сидела тетка.

— Я уверяю тебя, что этому человеку доверять невозможно, — говорила испуганная тетка. — Он обманывает тебя, а затем подведет! Как можно обращаться к нему! Он ненавидит нас!

— Что же мне делать? — спросила мать.

— Надо просить других, не знаю кого, но только не Белоуса. Это наш злейший враг. А вы сами отдаетесь ему в руки и делаете, что он советует. Это же ужасно! Он погубит вас!

— Я всюду была, никто нас и выслушать не хочет.

— Ну, а он? Он нарочно вас обманывает! Посоветует сделать что нибудь, а потом подведет.

— Но ведь положение безвыходное. Только благодаря ему мы получили разрешение видеть Пашу. Мы совершенно не знаем, как действовать и куда обратиться. Невозможно обойтись без его помощи.

— Но ведь вы в его руках!

— Да, конечно.

Тетка всплеснула руками.

— Он вас предаст, вот увидите!

— Нет, не предаст, — сказала я решительно.

— Ты еще дитя, — сердито возразила тетка. — Как можно ему доверять. Я прямо испугалась, когда узнала, что вы к нему обратились! Это абсурд! Я пришла вас предупредить — а там, конечно, ваше дело. Поступайте, как знаете!

— Делать нечего, — сказала я. — Идти к нему для меня пытка. Но приходится просить его и надеяться, что он поможет.

— Хороша надежда! Надеяться на милость выпоротого Мишей большевика. Нет, знаете!..

— Я уверена, что он нам зла не сделает. Он очень хороший человек и, если бы не хотел помочь, то отказал бы прямо.

— Ну! Это... Нет! Вы действительно потеряли голову! Революционер, повстанец, большевик! А ты думаешь, что он какой то исключительный человек, и вместо того, чтобы отомстить, станет помогать вам! Бедная девочка!

Я начинала сердиться.

— Раз его арестовали и наказали, значит он, конечно, был виноват, — сказала тетка. — Это опасный тип, а вы ему доверяете!

— А я тебе скажу, что он хороший, хотя он и большевик и повстанец. А Миша сделал свинство, хотя он и мой брат! Чорт знает, что натворил!Ю твратительно!

— Миша боролся против этих разбойников, а в борьбе неизбежны жестокости.

— Как ты смеешь так говорить? — воскликнула я. — А что, если мне это скажет Белоус? Что я ему отвечу, если он заявит, что в борьбе необходима жестокость... к нам!

— А по твоему они не жестокие? Ты несправедлива к Мише. Он боролся...

— Хороша борьба! — крикнула я. — От стыда перед ними не знаешь куда деваться.

— Ну уж ты!.. — начала тетка, но я выбежала из комнаты.

Тетка ушла, разводя руками. Я подробно изложила матери полученные инструкции и мы побежали в больницу.

Старший врач уже получил распоряжение и тотчас же прошел в арестный дом, осмотрел отца и выдал свидетельство о болезни. С ним мы отправились в комендатуру просить ордера на перевод отца, но там опять вышла какая то задержка. Часы шли — ничего не выходило. Мы стояли в приемной коменданта, среди галдящих петлюровцев, вокруг ходили старшины. Адъютант Красота, к которому мы несколько раз обащались, пожимал плечами, говоря, что комендант занят... Я побежала к Белоусу.

Он выслушал меня, нахмурился, и вызвал Грудницкого.

— Олесь, ты сказився, чи що? Больных с тификом хочешь держать в арестном доме в общей камере? Тебе Антон казав, чем это пахнет! Хочешь пустить через конвойных тиф по бригаде? Ты думаешь, товарищи будут сидеть и дивиться! Не дури!

— ......

— А я тебе кажу, что у него тиф. Давай сейчас же приказ. Завтра общее собрание... Ты чего же от Антона хочешь?

Он повесил трубку.

— Идите. Ордер уже дан.

Через час отец лежал в больнице, в небольшой палате для арестованных. Тут же, подле кроватей, сидело человек шесть-семь караульных. Мать, в халате больничной сестры, ходила по коридору.

Накануне ночью случилось следующее. Напившись, по обыкновению, караульные стали выводить арестованных на расправу. Нескольких избили, одного тут же расстреляли. Потом опять выпили и решили вывести и расстрелять Максимовича. Открыв дверь набитой людьми камеры, где вместо полагавшихся шести, сидело двадцать человек, они не заметили, как переступили через лежавшего на полу у самых дверей отца. Они долго шарили по всем углам в темноте, ища его, но отупевшие от водки, не нашли и, наконец, удалились с ругательствами, говоря, что расстреляют в следующую ночь. Вместо отца они убили двух хлеборобов из соседней камеры.

На утро я отправилась к отцу в госпиталь с передачей. Мать всю ночь, в одежде сестры милосердия, ходила по коридору мимо палаты арестованных, угощала караульных, разговаривала с ними, стараясь отвлечь от злодейства. Некоторые были человечны и не преследовали больных, но другие зверски издевались, тормошили, не давали заснуть, и все предсказывали скорое отправление всех в «земельный комитет». Более всего угнетала полная беззащитность и бесправие арестованных. Никто не спросил бы даже караульных, за что они избили или убили их. Это случалось очень часто и палачи преспокойно оставались на своих местах, никто не делал им ни малейшего замечания, так что действительно жизнь арестованных всецело зависела от мимолетной пьяной фантазии любого петлюровца. Это было очень тяжело!

Когда я вошла в первый раз в госпиталь, и разыскала палату, где лежали арестованные, конвойные грубо остановили меня. Через

открытую дверь я видела отца, лежащего в углу, на койке, у окна.

— Эй, куда прешь? — крикнул караульный.

— Позвольте мне подойти к отцу, — попросила я, тревожно глядя на его красное от водки, злое лицо, с налитыми кровью, тяжело моргающими глазами.

— Нельзя!

— Что вам от того, что я отца поцелую? — тихо спросила я. Он посмотрел на меня и сжалился.

— Ну, ступай!

— Можно подойти? — не сразу поверила я.

— Иди.

— Спасибо.

Он, посвистывая и зевая, сел на чью то постель, а я подошла к отцу и быстро сказала несколько утешительных слов. Говорила, что все идет отлично, что наверное все скоро выяснится и его отпустят. Отец делал вид, что верит...

Прошло несколько дней. Белоус справился по телефону в Прохоровской волости насчет приговора селян по нашему делу, и получил положительный ответ. Приговор был хороший и подтвердил наши слова: отец ни с кого ничего не взыскал, в карательных экспедициях не участвовал. Жалоб ни от кого не было.

**
*

Настало утро 17-30-го декабря 1918 года.

Когда мы с матерью явились в Управу, Белоус нас принял сразу и, даже не слушая обычных рассказов, сказал:

«Вот что, идите сейчас к командиру 1-го полка бригады Богунского Котуху. Скоро будет суд, председательствовать на нем будет Котух, и надо, чтобы он вас увидел до суда. Это очень важно. Так как отец ваш бывший военный, то объясните Котуху, что не находя другой защиты, обращаетесь к нему, как к командиру полка...

— Что же говорить ему? — спросила я.

Белоус улыбнулся.

— То же, что вы мне рассказываете.

Первый полк бригады «имени» Богунского помещался посреди города, недалеко от собора, там, где раньше стояли немецкие части. А командир жил в хорошо известной нам, квартире уехавшей помещицы Мержвинской, большой приятельницы Марковских.

Во дворе, перед домом, стояли под дождем орудия, пулеметы, зарядные ящики, лежали под открытым небом, несмотря на слякоть, ящики с патронами. Двор кишел солдатами. В зимних кожухах, серых бараньих шапках, или просто в свитках, перевязанные пулеметными лентами, вооруженные до зубов, они разлеглись в крытой веранде, щелкали семячки, пели, смеялись, ругались. Ни о какой дисциплине не было и помину. Несколько грузовиков стояло во дворе и на них петлюровцы ездили по городу и по уезду, делать реквизиции. Невдалеке находился пункт для записи желающих поступить в армию.

Целыми днями туда, мимо наших окон, тянулись длинной вереницей желающие. Они шли быстро, весело, с котомками и кульками, и скоро возвращались, снабженные оружием и лентами, гордые, презрительные, готовые бить буржуев. Этот набор длился долго и, конечно, дал огромные массы войска.

Ничего похожего не давали наборы, ни гетмана, ни деникинцев.

Пройдя между валявшимися на крыльце петлюровцами, мы вошли в переднюю. Там сидели на столах, стульях, ящиках и просто на полу, полуодетые солдаты, с любопытством разглядывавшие нас. На столе, в большой клетке, сидел зеленый попугай с сильно пострадавшим хвостом; он отбивался злобно от дразнивших его петлюровцев. Они хохотали. Рядом стоял аквариум Мержвинской — ее гордость. Он был наполнен какой то дрянью. Редкие рыбки сдохли — кажется они их сжарили.

Вонь, грязь, шум!

Мы назвались и просили доложить о нас командиру. Приема пришлось дожидаться стоя довольно долго. Солдаты пели разные песни. Среди украинских напевов выделялось мучительно:

Товарищи буржуи!
Отдай свои миллионы,
Теперь наша победа,
Теперь наши законы!
Повесим генералов!..

Обстановка неутешительная. Что сейчас их победа и их законы — это, конечно, верно! Но к чему сия победа приведет! И нас? И их? И Россию? Кто о ней сейчас думает?

Котух принял нас в кабинете Мержвинской. Как в такие минуты, самые незначительные мелочи, вдруг неизвестно почему врезаются в память! Я помню отчетливо до сих пор, карниз этого кабинета. с маленькими аэропланами... Котух сидел за письменным столом и сразу же произвел на меня благоприятное впечатление.

Высокий, худощавый блондин, вид вовсе не зверский, и умный. Хитроватые серые глаза... Он принял нас слегка усмехаясь.

— Что вам угодно? — спросил он мать.

— Пришла просить вас за мужа. Так как он был военным, то...

— Понимаю, понимаю... Это все равно. Словом вы решились обратиться ко мне. Что скажете?

Мать начала обычное объяснение. Он слушал внимательно и с интересом.

— Так что вы ручаетесь, что он ни в чем при гетмане не участвовал? А кстати, почему вы не уехали? Чего вы здесь остались?

— Во первых мы не хотели бежать с немцами, которые злейшие враги России. Отец с ними боролся на фронте, они только что ограбили Украину! Как можно с ними иметь дело?

— Ах, из националистических соображений! Да, пожалуй! Только всетаки к стенке идти никому не хочется. Все же уехали!.. Гм!

— Нам и в голову не приходило, что нас будут преследовать! Что мы сделали! — воскликнула мать.

— Да! — нерешительно протянул петлюровец, задумчиво качая головой.

— Помилуйте, разве нам трудно было уехать, — продолжала мать. — Для нас приготовили место в вагоне. Спросите на вокзале...

— Мы уже спрашивали. Это верно, — кивнул Котух. — Вы на вокзал не поехали. И ваше место дали другим.

— Вот видите! Так помогите нам! — попросила мать. — Это же кошмар! За что нас так мучают? Ну да, конечно, мы были, как вы говорите — буржуи, помещики... Что же нам делать! Такая жизнь тогда была. Теперь все иначе... Неужели нас только за это будут казнить?

Котух усмехнулся.

— За такую, только умственную, контр-революцию, мы не расстреливаем. У меня самого старик отец ведет такие контр-революционные речи, что страх! Монархист он и очень верующий. Такие еще есть. Не в этом дело.

— Тогда отпустите моего мужа. Заступитесь за него перед Грудницким!

— Хоть бы я могла увидеть коменданта, — сказала я. — Что он за человек? Говорят, он любит, чтобы перед ним унижались, умоляли его. Что же, я готова на такую сцену, лишь бы спасти отца.

Котух покраснел и отрицательно покачал головой.

— Этого вовсе не надо. Ничего. Постараемся и так все устроить. Бувайте здоровеньки.

Он встал и проводил нас к дверям.

— Кланяйтесь от меня Белоусу, — сказал он вдруг.

— Что? — остановилась я в удивлении.

— Белоусу кланяйтесь! — засмеялся он, закрывая за нами дверь.

Мы ушли, недоумевая, чем это кончится.

Вечером я пошла к отцу в больницу, где мать опять встала на ночное дежурство. Не знаю, когда она спала. Меня пропустили к отцу, и я передала ему сверток с провизией. Атмосфера была гнетущая, невозможная. Караульные особенно возненавидели одного из арестованных больных, бывшего полицейского, водившего ищеек. Они жестоко издевались над ним, не позволяя ни минуты заснуть в течение долгих дней. Измученный человек умолял их оставить его в покое, плакал от нервного изнеможения, но возбуждал лишь смех и ругательства. Они не давали ему есть, все время сидели на его кровати, тормошили, угрожали, запугивали... Тяжело было глядеть на эту сцену.

Других они меньше мучили, но ночью дело часто на волоске висело от поголовного избиения. В особенности после бегства из тюрьмы одного из хлеборобов, конвой чуть не перестрелял всех заключенных. После долгих упрашиваний, он удовлетворился наконец расстрелом двух арестованных, которых тут же прикончили на дворе.

Утром 18-31-го декабря, во вторник, я долго безуспешно поджидала Белоуса в Управе. Он не пришел. Я вышла на улицу и ре-

шила уйти домой, ибо было уже около двух часов дня, как вдруг увидела бегущую по колено в грязи по площади двенадцатилетнюю сестру Машу. Она бежала с перекошенным от ужаса лицом, и чуть не упала рядом со мной.

— Папу повезли на суд! — крикнула она. — Вот его везут!

В это время с комендатурой, находившейся рядом с Земской Управой поравнялись дровни. Из саней вышел отец и упал в снег. Болезнь сильно ослабила его. Его под руки подняли два петлюровца и втащили в подъезд. Он оглянулся в мою сторону, хотя вряд ли видел нас. Я издали перекрестила его, и бросилась искать Белоуса. Теперь увидеть его и предупредить надо было во что бы то ни стало.

Но меня заботило и другое. Мы не имели ни малейшего представления о том, когда кончится суд. Иногда он у них длился долго. Иногда, напротив, все было решено заранее, и только читали приговор. Надо было следить за воротами комендатуры, чтобы увидеть куда они поведут отца.

Я знала, что осужденных на смерть они ведут за город в сторону леса, причем смертники сами несут лопаты и роют могилу. Такие партии я уже встречала поздно вечером. Они могли то же сделать с отцом. Я решила обязательно последовать за ними, в таком случае, и попытаться спасти отца в последнюю минуту до расстрела. Говорили, что это иногда удавалось!

Поэтому, убедившись, что Белоуса вблизи нет, я вышла на площадь и стала так, чтобы одновременно видны были и ворота комендатуры, и вход в Земство, куда во всякую минуту мог придти Белоус.

Перед комендатурой собралась толпа. Судили сразу 17 человек, и их родственники, так же как и мы, трепетно ждали решения их участи.

Навеки запомнилась мне картина этого вечера. Закат тихо догорал. Алый его отсвет кроваво багрянил снег. Небо было почти безоблачно.

Мы стояли на широкой базарной площади, перед двухэтажным зданием комендатуры. В толпе кто то плакал. Смертельно бледные жались друг к другу семьи арестованных. Вокруг глазели любопытные. Кое-кто из них, узнав в чем дело, сжалился, и сказал нам ободряющее слово. Разумеется, слова этих прохожих не могли иметь ни малейшего влияния на результат суда — и это все, конечно, понимали. Но как действовали в эти минуты судорожного напряжения всякие доброжелательные или, наоборот, жестокие замечания!

Большинство безразлично молчало. Изредка слышались насмешки и угрозы.

Мы постепенно пододвинулись к самым дверям комендатуры. Вдруг оттуда вышло шесть вооруженных петлюровцев и приказали толпе отойти назад. Люди медленно отхлынули. Я отходила последняя, не спуская глаз с ворот, ибо думала, что сейчас выведут осужденных. Но оттеснив нас к лавкам, на середину базара, солдаты вернулись в подъезд.

Я осталась стоять, как можно ближе к комендатуре. Белоуса все не было.

Трудно передать, что я тогда думала... Во первых, каюсь, я думала, что, если отца расстреляют, я обязательно убью Грудницкого. Револьверы и патроны у нас были. Я бы, это конечно, сделала. Теперь я считаю, что этого делать бы не следовало. Но это факт! Если бы отца расстреляли, я Грудницкого убила бы несомненно. Никогда в жизни я не была так близка к преступлению...

Затем, я думала, что скажу конвойным, если отца поведут на расстрел.

Затем... в голове витали обрывки мыслей... Нервы напряженные до крайности, до мельчайших подробностей воспринимали окружающее: выражение лиц, скучающих у подъезда петлюровцев, замечания глазеющей толпы, тихий блеск заката на окнах комендатуры, алый отсвет крыш, скрип саней и хлюпание сапог в лужах талого снега, ибо была оттепель.

Быстро темнело. Перед комендатурой зажегся фонарь. Караульные грозно велели всем разойтись, и толпа стала редеть.

— Ступай прочь! Черти проклятые! — кричали караульные. — Геть! Стрелять будем!

Мало по малу все разошлись. Мать с маленькой сестрой отошли в соседнюю улицу и сели у какой то лавки на порог. Я осталась на площади совершенно одна.

Мать послала за мной на площадь пришедшую узнать, что происходит, кухарку Нилу. Я сердито сказала ей, чтобы ко мне не подходили, ибо это привлекает внимание конвойных. Но минут через пять мать опять прислала за мной, умоляя уйти с площади.

Я рассердилась. Из улички ничего не было видно.

— Если вы будете тут шмыгать, то меня прогонят! Уходите и больше не являйтесь. Я знаю, что надо делать — не мешайте!

Она ушла. Я осталась стоять против освещенных окон комендатуры, не спуская глаз с дверей. Вдруг в дверях Земства мелькнула знакомая фигура Белоуса. Я бросилась туда.

Под руку с комиссаром постачайки Жмурко, он подымался по лестнице. Увидя мой взволнованный вид, он остановился.

— Что такое?

— Отца судят.

— Давно началось?

— Часа в два дня, а теперь девять!..

— Ага! Ну, хорошо, что предупредили. Я и не знал. Олесь обещал сказать, и надул! — засмеялся он. — Це дочка генарала Максимовича, — представил он меня Жмурко.

Жмурко поздоровался со мной очень любезно.

— Вот, — обратился ко мне Белоус. — Товарищ большой любитель астрономии...

Я несколько удивленно взглянула на Жмурко, бывшего раньше не то фельдшером, не то агрономом.

— Да, я люблю астрономию, — улыбнулся он. — Сейчас начал книжку, хорошую, того, як его... Фламмариона. Занятно. Надзвычайно гарно! Вы ее читали?

— Как же, — ответила я, хотя в данную минуту астрономия

меня мало интересовала. — Дед мой очень любит астрономию, и у нас много книг по этому вопросу. Я бы вам могла их показать...

— Добре, спасибо.

Я опять поблагодарила Белоуса, выскочила из Земства и осторожно стала приближаться по площади к дверям комендатуры.

— Кто там! — окликнул меня караульный, щелкая затвором.

— Это я! — ответила я, за неимением лучшей формулы.

— Нечего здесь шататься! Ступайте вон!

— Позвольте мне здесь остаться! Я же вам не мешаю! Отца моего сейчас судят. Надо посмотреть, куда его поведут.

— После восьми часов по городу ходить воспрещено!

— Я не хожу, а стою!

Он засмеялся и оставил меня в покое.

Прошло еще часа два — время приближалось к одиннадцати. Вдруг — ворота комендатуры открылись и оттуда вышла толпа людей с лопатами, окруженная конвоем... Смертники!

Там ли отец?

Но подойти к ним мне не удалось. Стоявший в дверях комендатуры караульный подошел ко мне и категорически приказал уйти направо, на тротуар. Если бы я знала, что там отец, то конечно, это бы меня не остановило. Но после свидания с Белоусом я так надеялась на благополучный исход, что решила покориться.

— Ступайте в больницу, — шепнул мне караульный. — Его, наверное, поведут туда.

Я не поверила, что он сказал правду, но куда было деваться?

В нашу сторону двинулись какие то сани, мать, вскрикнув, побежала за ними. Я отправилась в больницу. Там отец уже лежал в кровати с сильнейшим сердечным припадком и врачи делали ему уколы.

Он жив!

— Приговорен к высылке из пределов республики... — успел шепнуть отец, падая в обморок. Хотя ему тогда было лишь 48 лет, но война, контузии, ранения, газы, революция, тюрьма и суд сделали из него старика. Несколько лет спустя, он умер от сердечного переутомления.

Обрадованная, успокоенная, я ушла домой спать. Добрый доктор Жебенев проводил меня. Спасены!

После ночи непробудного, сладкого сна, я утром побежала благодарить Белоуса. Это, конечно, было более, чем естественно, но опоздай я тогда, и отложи это изъявление благодарности хотя на день!!!..

Белоус принял меня очень весело. Он праздновал Новый Год по новому революционному стилю.

— Ну что же! Поздравляю. Оправдали, — сказал он.

— Разве это значит оправдание? — спросила я. — Мы думали, что это такое наказание.

Белоус насторожился.

— Какое наказание?

— Да, этот приговор, выслать за пределы республики, в административном порядке.

— Как? Как? К высылке... в административном порядке? Да что он, смеется? — привскочил Белоус.

— Это слава Богу! — улыбнулась я. — Пусть вышлют! Это очень мягкий приговор.

Белоус посмотрел на меня.

— Так вы обрадовались?

— Ну конечно... Мы так, так вам благодарны. Надеюсь, что вы сами это понимаете, потому что словами объяснить все равно нельзя.

Белоус нервно ерзал на стуле.

— Да, ну хорошо! Ступайте теперь! Приходите потом... завтра! До свидания...

В самом радужном настроении я отправилась домой, наслаждаясь яркой, солнечной погодой, и не вполне понимая, почему Белоусу так не нравится, что нас вышлют из республики. Это казалось мне отличным приговором. Что же они могли лучшего придумать для политических врагов? Даже мило!

Я не подозревала, что этот приговор лишь отсрочивал расстрел на несколько дней, ибо отдавал отца в руки административной власти, то есть коменданта Грудницкого. А тот «высылал» осужденных разве до первого пролета, а там расстреливал «при попытке к бегству», способ расправы достаточно классический в то время.

Все остальные судившиеся с отцом, кроме одного совершенно невинного крестьянина, были приговорены к смерти и расстреляны в ту же ночь. Их я и видела, идущими на смерть. Отец их всех благословил иконой Спасителя, висевшей у него на груди, и простился с ними, пока караульные собирали лопаты и одевались.

Вернувшись домой, я прилегла отдохнуть, ибо волнения прошлых дней и физическая усталость после вчерашнего давали себя знать. Вдруг прилетела маленькая сестра, крича, что папа сейчас возвращается домой.

— Как домой? Разве комендант позволит?

— Его Белоус взял на поруки! Он поручился, что мы не будем стараться бежать! Конечно, не будем!

— Господи, какое счастье, и какой чудный человек этот Белоус! — вздохнула я и бросилась готовить комнату, для приема больного отца. Его с матерью совершенно отделили, ибо сыпной тиф свирепствовал в городе, и все страшно боялись заразы. Мать самоотверженно осталась с ним одна в двух комнатах, хотя он страшно бредил, кричал и метался.

*
**

Прошло несколько дней. Все ночи мы поочередно дежурили у дверей запертого на заразной половине отца, на случай, если бы матери понадобился доктор или другая помощь, ибо, несмотря на страшный бред больного, мать оставалась с ним совершенно одна. Отцу становилось все хуже, и за этими домашними заботами, я несколько потеряла из виду городские события. А следить было бы за чем!

Во первых петлюровцев повсюду на Украине сменяли большевики. Грудницкий стал уже не комендантом, а Головой Ревкому, который состоял из пяти лиц: Грудницкого, Богунского, Лебедя, Бондаря и Гайдамаки.

Во вторых, против Ревкома Грудницкого с Правобережья наступали какие то батьки. Иные говорили, что они анархисты, и ходят с черными знаменами, другие называли их махновцами. Во всяком случае, они наступали с боем, оттеснили нашу «бригаду имени Богунского», и ревком ретировался из города. Ушли все — и войска и власти. Белоус тоже уехал.

В город вступили какие то банды и расположились недалеко от вокзала. Отдельные отряды шлялись по улицам, налагали контрибуцию, производили обыски и реквизиции. Грабеж шел порядочный. К тому же они овладели винным складом и перепились. Звучала беспорядочная стрельба.

На столбах развесили приказ № 1. Каждая власть обязательно вывешивала тогда приказ № 1, хотя часто уже второго издать не успевала за краткостью своего существования. Этих приказов № 1 от разных властей на всех столбах собралось немало, и они грязные, полинялые, висели рваными клочьями.

Обыкновенно в них предписывалось сдать оружие, не выходить после 7 или 8 часов вечера, уплатить контрибуцию и угрожалось расстрелом непокорным.

Мы повесили на дверях надпись, что в доме тифозные больные и к нам они не очень лезли, удовольствовавшись кое-какой «контрибуцией». Отцу стало так плохо, что было необходимо в помощь матери, хотя бы на ночь вызвать сестру или фельдшера. Сестер совсем не было, а те, кто был, не согласились идти к таким буржуям. Фельдшеров тоже было очень мало, ибо они, так же как и агрономы, делали в то время бешенную карьеру и командовали отрядами.

Наконец мне посоветовали ехать в заразные бараки у вокзала, где должен быть медицинский персонал. Наняв извощика, я отправилась туда со служившей в аптеке девицей, которая и дала мне этот совет.

Бараки стояли верстах в трех от города. Было часов девять вечера — в январе — темная ночь. Огней конечно никто не зажигал, и мы подвигались медленно, утопая в снежных сугробах, при слабом отсвете звездного неба. Барак служащих и врачей находился в полуверсте от остальных. По указанию аптекарской девицы, мы направились прямо туда, и, выйдя из саней, вошли в совершенно темный корридор.

— Вы не бойтесь, — сказала девушка. — Здесь в глубине дверь. Я сейчас найду. Здесь квартира старшего врача. Вы с ним поговорите. Он посоветует.

Ощупью мы двинулись вглубь корридора, натолкнулись на какие то палки, которые с грохотом полетели на землю. С обеих сторон открылись двери, и перед нами предстала страшная картина. Обе палаты, и направо и налево, были полны солдатами из батьковской банды. В ужасной грязи, копоти и вони, они валялись прямо

на полу. Многие были пьяны. Грубые песни, ругань и крики, смешанные с звуками гармоники, неслись оттуда. Все, конечно, были вооружены с ног до головы винтовками, револьверами, повязаны пулеметными лентами... На коленях у солдат, в самых невозможных позах сидели полуодетые женщины. Они горланили песни, хохотали, визжали. Шел пьяный кутеж...

— А! Еще девочки приехали! — крикнули разбойники, увидя нас. — Это не вредно! Иди до мене, серденько!

Несколько солдат встало и направилось к нам. Бедная аптекарша вскрикнула, и всей силой уцепилась за меня. Я страшно испугалась, и в отчаянии обернулась к стоявшему у двери солдату, казавшемуся менее пьяным.

— Мы ошиблись! Мы не туда попали! Я ехала за доктором. Отец болен сыпняком. Я думала, здесь доктора...

— Иди до мене, — кричал пьяный, спотыкаясь и хватаясь за стену.

— Помогите нам! — попросила я, немея от ужаса.

— Я тебя поцелую... — кричал пьяный, стараясь схватить аптекаршу.

— Идите за мной, — решительно приказал стоявший рядом с нами солдат.

— Ты чего! Я ее сам возьму...

Среди пьяных раздался ропот протеста. Но солдат оттолкнул их и вывел нас из барака, плотно затворив за собой дверь.

— Не бойтесь! Я проведу вас, — сказал он нам.

Пол версты вел он нас до далеких бараков, куда банда выселила накануне и больных и персонал. Во всю дорогу он не прибавил ни слова. Дойдя до барака, он повернулся и ушел.

— Спасибо вам! — крикнула я ему от всего сердца.

К сожалению, так и не знаю его имени.

**
*

Скоро настали новые хлопоты. По городу размещались красные курсанты. Их почему то очень боялись, считая самыми страшными из большевиков. Но я уже начинала несколько орьентироваться в обстановке и, не доверяя окружающим, отправилась на площадь перед Земством, присмотреться к курсантам. Они произвели на меня недурное впечатление: молодые деревенские и рабочие парни, вовсе не злые на вид, одетые в обыкновенные кожухи или шинели, с револьверами, но без винтовок. Я решила, что с ними отлично можно будет иметь дело, и что будет очень недурно, если их вселят к нам. До того, к нам никого не вселяли, ибо в городе пустовали многочисленные квартиры, уехавших с немцами буржуев. По моему, присутствие в доме кого нибудь из нынешних хозяев города могло нас защитить от грабителей, которые в то время шлялись по улицам, в особенности по ночам. А с постоянным жильцом всегда можно наладить сносные отношения.

Но тетка, жившая с дедушкой, просто нервно не выносила присутствия большевиков, и очень боялась непрошенных постояльцев. Я же решила принять и устроить их, как можно лучше, и по возможности, подружиться с ними.

Меня всегда выводила из терпения глупая повадка буржуев спорить с большевиками по поводу реквизируевых комнат, мебели и тому подобных пустяков. Мне это казалось унизительным.

Реально участвовать в революционной борьбе я не могла по очень простой причине. Для того, чтобы бороться, надо точно знать за что и против чего. А я отлично сознавала, что не понимаю создавшегося положения и не имею ни малейшего понятия о том, что нужно сделать для того, чтобы прекратить разрушительный процесс революции и вывести страну на дорогу созидательного творчества. Мало того, все окружающие меня тоже этого не знали и ничего объяснить мне не могли. К старому возврата не было, и такого возврата я не желала, ибо считала, что правительство империи последнего времени видно никуда не годилось, раз, обладая государственной властью, неисчерпаемыми богатствами, научными знаниями, военной силой, словом всем, оно позволило себя смести и не сумело предотвратить такого взрыва. Значит, сила его была кажущаяся, и оно в действительности не имело опоры в своем собственном народе! Куда же оно годится после этого?

Ни одна из известных мне партий не привлекала меня. Петлюровцы, гетманцы, кадеты, эсэры, меньшевики, демократы, Керенский, Корнилов, донские самостийники! Все хороши! Все ни куда не годятся! Толковее всех — большевики, среди которых есть такие люди, как Белоус, но они расстреливают, и ненавидят нас, и считают нас своими врагами... А я не представляю себе, что надо делать! Как же можно в таких условиях думать об участии в борьбе.

Что же остается? Сидеть в этом котле, стараться выжить подольше и присматриваться к обстановке, набираться сведений. Я решила сойтись поближе с большевиками и разобраться самой, что это за люди и что они способны сделать. Обычно их судят совершенно превратно — это я уже заметила. Все вокруг меня чувствовали к ним ненависть и страх. Можно сказать, что все буржуи большевиков боялись и ненавидели, но в зависимости от характеров, у одних преобладало одно, а у других — другое.

У меня же отсутствовало главное — то есть ненависть. Непобедимое, никакими преследованиями неискоренимое чувство симпатии и любви к этим своим, кровным, российским людям было конечно основной причиной того, что большевиков я не очень боялась. Ибо есть большая психологическая правда в положении, что любовь изгоняет страх. Боялась я лишь в минуты реальной опасности, ибо умирать мне вовсе не хотелось. Но это бывало сравнительно редко. А обыкновенно, когда они просто приходили с обысками, реквизициями и тому подобными требованиями, мне вовсе не бывало ни обидно, ин страшно. Я только хотела добиться от этих своих родных людей, чтобы они не были такими злыми и сердитыми. По-

этому я миролюбиво старалась их успокоить и удовлетворить, и очень радовалась, когда они переставали злиться.

Мне было жаль, что раньше жизнь их была тяжелой, что они грубые и необразованные. Мне хотелось им помочь. Я бы с удовольствием отдала все свои силы на служение этим людям, к чему и стремилась с детства. Я любила с ними разговаривать. Мне очень хотелось понять их мысли, их стремления, их нужды и потребности. Меня сильно огорчала их вражда, эта классовая борьба, о которой столько пишут в большевистских прокламациях. К тому времени я уже настолько ознакомилась с их газетами, чтобы понимать, почему большевики считают неизбежной такую кровавую борьбу, и, как мне ни было неприятно, но приходилось сознаться, что самый факт гражданской войны эту точку зрения подтверждает, ибо буржуазия добровольно своей власти не уступает. Но все это были отвлеченные умствования. А мне было больно, что наши люди меня ненавидят, и я от этого плакала по ночам.

Вины за собой перед ними я не признавала, но на репрессии не сердилась, считая их в создавшихся условиях естественными. Что же делать. Раньше я пользовалась выгодами, которые мне давало положение моих родителей. Ясно, что теперь я несу и связанные с этим неприятности.

Вечерело, когда у двери раздался стук, и перепуганная тетка крикнула мне, что в дом опять рвутся какие то разбойники.

Бегу отворять двери — ничего! Это два курсанта с ордером на реквизицию помещения. Бегло оглядываю их: кажется люди приличные. Один из них рабочий парень, рыжеватый блондин, покрытый веснушками, с здоровенными кулаками. Он тащит огромный куль. Войдя в комнату, он внимательно оглядывается, словно обшаривает ее глазами. У пояса у него револьвер, но винтовки нет. В общем вид не злой, а только какой то настороженный, недоверчивый, хмурый.

Второй — чернявый, с карими глазами, развязный, самоуверенный, повидимому, любящий командовать. Он тоже оглядывается внимательно и вызывающе.

— Пожалуйте, — приветливо говорю я. — Входите и располагайтесь. Дом большой. Разместитесь отлично. А я рада, что вы у нас остановитесь. Теперь по вечерам бывает страшно. А с вами будет хорошо.

Рыжеватый парень хмуро смотрит на меня и покашливает. Брюнет быстро проходит по комнатам. Их осталось не много. Крыло, которое летом занимали Абели теперь занято железнодорожным комиссаром, Григорьевым. Две дальние комнаты совершенно изолированы. Там папа в тифу, и при нем мать. Далеко на отлете, дверь даже трудно сразу найти, притаились за замками дедушка и тетя. Остались: гостинная и столовая.

— Гм! — фыркнул черненький, — куда же тут лечь?

— Мой совет, — сказала я решительно, — берите столовую. Вам будет удобнее, потому что из гостинной другого хода как через столовую нет. А вам же надо выходить когда угодно. А мы ся-

дем в гостинную. Ведь вы позволите проходить через вашу комнату.

Курсант почесал затылок.

— Чего там! — сказал веснущатый парень, сбрасывая на пол свой тюк. — Добре! Годи по городу блукать! Тут, так тут.

Он скинул шинель и внес в комнату, оставшуюся в передней корзиночку.

— Вы увидите, я вам устрою отличное помещение, — сказала я. — Вы кто? Курсанты? А на каких же это курсах вы учитесь?

Брюнет недоверчиво взглянул на меня.

— Мы агитаторы.

— А! Это интересно. Ну так располагайтесь. Только одно. Будьте милы, помогите мне перетащить сюда ваши кровати. Я одна не могу.

— Хорошо, — с готовностью ответил рыжий. — А где они?

— Здесь.

Мы вошли в гостинную, и я быстро скинула белье со своей и сестриной кровати.

— Вот эти будут ваши.

С визгом и грохотом они потащили кровати и расставили их по моему совету в столовой у окна. Потом они помогли мне повернуть огромный дубовый шкаф, и у них оказалась как бы отдельная спальная. Туда же перенесли из гостинной письменный стол, стулья и два кресла. Стало очень уютно.

Они сначала не понимали, что выйдет, но потом им понравилось и, хотя они ничего мне не сказали, но стали смотреть на меня менее враждебно.

— А теперь — обедать. Вы, верно, голодны.

Я сбегала на кухню и поставила на стол борщ и горшок с кашей, нашу постоянную в то время еду, и села обедать вместе с ними. Из конюшни пришел брат Вася, но видя меня с большевиками, ушел есть на кухню. Сестра обедала у тетки Марковской, во флигиле.

Курсанты поели с большим удовольствием и мало по малу завязался разговор. Они рассказывали интересные вещи.

Только что они вернулись с фронта, но мне так и не удалось точно установить с кем они дрались — не то с казаками, не то с петлюровцами. Понять было трудно. Их части пошли дальше, на Бахмут, а они через несколько недель должны были вернуться в бой. Они еще были пропитаны фронтом и войной, и разговоры у них были суровые. Здесь они должны были слушать какие то курсы, которые будут происходить в нашей женской гимназии. А затем опять в бой.

Брюнет, по фамилии Соломко, был киевлянин, рабочий, и очень сознательный. Он вынул и разместил на полке кучу книг, на корешках которых мелькали фамилии: Ленин, Бухарин, Плеханов и еще какие то. Был и Маркс. Он бережно разбирал их, а также целый ряд брошюрок, прокламаций и афиш. Соломко заметил мой взгляд на книги.

— Не смейте трогать этих книг, — сказал он мне очень внушительно. — Если хоть одна пропадет — увидите, что будет!

— Не пропадут, — успокоила я его, — куда им деваться?

Но тут же решила, что в свободную минуту основательно прочту их.

— Это очень ценные книги, — строго глядя на меня, сказал курсант. — Некоторые из за границы. Смотрите, если что случится, света не взвидите!

Я усмехнулась.

— Не беспокойтесь. Куда же они могут пропасть? Ведь сюда кроме нас никто входить не будет.

— Я вас предупредил, — возразил большевик. — Не советую дотрагиваться.

«Ну, тронуть то я их трону!» —подумала я.

— Неужели вы так много книг должны прочесть? — спросила я курсанта. Он самодовольно улыбнулся.

— А как же!

«Вот такого то постояльца мне и надо!» — рѣшила я. «Это мне самое нужное! Интересно, что они там пишут?»

Соломко был парень видимо любивший производить эфект, начальствовать и учить. И я подумала, что выказывая соответствующее преклонение перед его талантами, его можно будет приручить. Поругается и затихнет... и будет ведать моим марксистским образованием. Мне нужно было, наконец, узнать, что собираются делать эти большевики, тем более, что дело, видимо, шло к тому, чтобы они свою программу надолго всем навязали. Народ энергичный!

После обеда Соломко куда то ушел. Остался один рыжий хлопец Сидорчук. Он ушел за шкаф и принялся чинить какую то одежду.

— Что вы там делаете? — спросила я. — Не нужно ли вам чего нибудь?

— Чиню... а у вас нет ли толстых черных ниток? Эти черезчур тонкие.

Я взглянула на его работу.

— Вы находите, что они тонкие? — удивилась я. — Это канаты какие то! Дайте сюда вашу куртку — вам зачинят! Будет гораздо лучше. Это мужчины всегда плохо делают.

Я безапеляционно выхватила у курсанта свитку и понесла в кухню, к Ниле. Она по моей просьбе согласилась зачинить хлопцу одежду. Через полчаса свитка была в порядке. Хлопец обрадовался и я почувствовала, что его недоверчивое озлобление несколько стихает.

Тетя Женя, жившая с дедушкой и никогда не выходившая, когда в доме сидели большевики, пришла в ужас, узнав, что столовую заняли курсанты и что мы трое — пятнадцатилетний брат, двенадцатилетняя сестра и я — будем спать в гостинной, отрезанные от всех большевиками, ибо другого выхода, как в столовую из гостинной не было.

— Это невозможно! Надо просить немедленно, чтобы их убрали!

— Зачем? — возразила я. — Они очень милые, и теперь менее страшны будут грабящие по городу преступники.

— Какие они могут быть милые? — рассердилась тетка. — Напьются как нибудь и прикончат вас. Это же большевики, бандиты!

— Чего ты их так боишься, — заметила я. — Эти, кажется, вполне приличные. Ведь повсюду уплотняют, и нас конечно в первую очередь. Все равно кого нибудь поставят. А я тебя уверяю, эти два хлопца к нам будут отлично относиться.

Тетя пошла взглянуть на наше устройство и ахнула.

— Они отобрали у вас кровати? Вот мерзавцы!

— Нет, это не они, а я сама им дала. Они бы этого, пожалуй, не потребовали. Но я не могу выносить этих унизительных торгов с ними о всякой ложке, плошке и квадратном аршине в помещении.

— Куда же ты сама с Машей ляжешь?

— На солому. Они мне ее сюда втащат.

— Удивляюсь, как ты подлаживаешься к большевикам. Именно от тебя я ожидала большей стойкости.

— Стойкости в чем? В защите своих матрацов. Нет. Я в этом стойкости проявлять не буду, — рассердилась я.

Тетка пожала плечами.

— Они бандиты, каторжане, разбойники — и грабят нас. Но навстречу этому грабежу я идти не согласна.

— Это не грабеж, — ответила я. — Это естественная вещь. Всегда во всем мире войска требовали, чтобы их размещали хорошо. И даже у своих, не то что у врагов. А ведь мы считаемся их врагами.

— Ты сравниваешь этих бандитов с армией, — прервала меня тетя. — Не ожидала! Ты бы еще назвала их офицерами.

— Они не офицеры, — засмеялась я. — Но они — войско. Это факт. И факт, о котором они обязательно напомнят, если их к тому вынудят. А я предпочитаю, чтобы они не напоминали.

— Ты их так боишься?

— Странно, — возмутилась я. — То ты удивляешься, что я решаюсь жить в комнате, отрезанная ими от остального мира. То ты находишь, что я их слишком боюсь.

— Вот именно. Я и не понимаю, — подтвердила тетя.

— А по твоему, тетя Женя, что надо сделать?

— Аня, ты еще дитя, — серьезно сказала тетка. — Это очень опасно, чтобы они здесь так жили, и надо будет сделать все возможное, чтобы их отсюда увели. Невозможно оставлять вас на их произвол. И совершенно нечего уступать этим разбойникам что бы то ни было без крайней необходимости. Это злодеи, звери, мерзавцы. От них надо подальше!

— Куда же я от них спрячусь? — пожала я плечами. — Уйти от них можно было только с немцами, и мы все предпочли остаться. Что же делать? В России происходит что то совершенно изумительное. Надо не шарахаться от действительности, а поближе познакомиться с ней. Поэтому избегать большевиков я вовсе не буду...

— Ты бы еще начала читать их литературу, которая здесь поганит нам этажерку, — презрительно бросила возмущенная тетя.

Я не сказала, что уже давно ее читаю. Незачем было злить старуху.

— Нам обязательно сюда кого нибудь вселят, — возразила я. — Ведь по всему городу расквартировывают красноармейцев. Не их — так дугих! Всякого, кого бы сюда ни посадили, по моему надо обставлять, как можно лучше, чтобы они поняли, что мы им вовсе не враги. А отказывать приличным и скромным людям для того, чтобы потом какие нибудь нахалы все забрали силой — это глупо. Какие с ними могут быть торги? Они все имеют возможность взять.

— Ну! Не ожидала! Ты считаешь, что они имеют право нас обирать?

— Что есть право? Я просто говорю, что они могут нас отсюда выгнать. Это верно. И предлог им тоже нетрудно найти. Мы самые в городе видные контр-революционеры.

— Нет, Аня; нет. Эти звери не имеют никакого права нас обкрадывать. А, если они это делают, то только потому, что они бандиты и разбойники.

— Я не хочу, чтобы им было плохо и, чтобы они нас ненавидели! — возразила я. — Я не хочу, чтобы они считали нас врагами!

— Ты думаешь, что они оценят твои заботы? Глупая девочка! Эти звери признают только силу!

— Силу! Но ведь она за ними! Зачем ты хочешь делать вид, что мы можем им отказывать. Что из споров с ними может выйти? Либо они из добродушья ничего не скажут, и тогда наша роль глупая, а их выйграшная, ибо они не злоупотребили своей властью. Либо наши дурацкие протесты им покажутся не к месту, и они просто прикажут нам уйти, и возьмут, что захотят. Тоже глупая роль — сначала хорохориться, а затем сдаться. Нет, я на это не пойду!

Тете очень не понравилась моя теория, но ей надоело спорить со мной и она ушла. Я заметила, что она все же не предложила нам переехать в ее собственную комнату.

Курсанты, по моей просьбе, втащили два больших куля соломы для нас с сестрой в гостинную и несколько удивились, что я отдала им наши кровати.

— Напрасно, барышня, мы бы сами легли на солому. Нам привычно, — сказал Сидорчук.

— Нет! Вы должны хорошо отдыхать, — возразила я.

Попробовали закрыть двери гостинной, которые вообще всегда стояли настеж, с тех пор как существовал дом. Ключа не было и задвижки не хотели вылезть из гнезд. Провозившись с четверть часа, мы бросили ее так.

Поздно вечером, тетя вызвала меня и взволнованно спросила, хорошо ли мы заперлись. На мой ответ, что ключа нет, она рассердилась.

— Что ты делаешь? Как можно? Что же будет?

— Ничего не будет. Неужели тебе кажется, что им хочется нас убить? Да, если бы и захотелось, то могут всегда это сделать и днем, но они этого вовсе не желают.

— Аня, поверь мне. Нельзя тебе оставаться на ночь рядом с комнатой курсантов с незакрытой дверью. Вася и Маша — дети. А ты — одна!..

— Так что же?

Я не понимала, чего она боится, а она не знала, что мне сказать.

— Они могут пристать к тебе...

— Зачем? Чего?.. Вздор!

— Они могут оскорбить тебя как девушку. Если бы твоя мать была здесь, она бы этого не допустила ни за что.

— Только, пожалуйста, маму в это нечего путать. Ей достаточно сидеть одной с папой, который бредит в тифу. Незачем ее пугать по пустякам! Они ничего не хотят делать. Я уверена.

— Аня, это страшная опасность!

— Чего ты боишься? Ах да, чтобы они за мной не стали ухаживать? Не беспокойся. Они об этом и не думают, и я сумела бы не допустить...

— Ты дура! — крикнула тетя. — Какое ухаживание! Разве это люди нашего круга? Поиздеваются над тобою... убьют. Вот что будет! Нет, спать рядом с пьяными курсантами! Господи!

— Они не пьяные, и не убьют ничуть, — решительно сказала я. — И вообще все будет отлично. Спокойной ночи.

Я не особенно доверяла советам тетки, которая очень прытко разговаривала со мной, но когда приходилось встречать большевиков, немедленно скрывалась, предоставляя мне их ублажать. Поэтому, пожав плечами, я отправилась в постель, будучи вполне уверена, что курсанты ни о каком убийстве и зверстве не помышляют. Это была правда. И эта и все остальные ночи прошли в полном покое.

На утро четыре конных красноармейца въехали во двор реквизировать обстановку для командира окремой бригады, Антона Богунского, жившего со своей женой Таисией Александровной недалеко от собора, напротив матроской сотни. Я повела их по комнатам. Они выбрали несколько предметов, и потащили их на подводы. Тетя прибежала возмущенная.

— Что они делают? — взволнованно спросила она. — Надо же остановить этот грабеж. Беги скорее в штаб просить, чтобы реквизицию отменили.

— Никуда я не пойду, — ответила я. — С меня хватит возиться с жильцами и встречать обыски. Мебель я защищать не буду. Есть вещи поважнее.

— Но ведь это возмутительное насилие! Как ты можешь так относиться к этому? Смотри — мерзавцы увозят твой письменный столик и мой шкаф. Ведь жаль! — судорожно шептала бедная тетя.

Я махнула рукой и только затворяла за уходящими двери, ибо морозный воздух мигом охладил и без того плохо протопленную комнату.

— Тогда я пойду, — заявила тетя. — Пойду просить заступничества Белоуса. — Она схватила шубу и быстро направилась на двор.

Я подскочила как ужаленная.

— Не смей! — крикнула я. — Ты не смеешь идти к нему за этим! Как тебе не стыдно! Это позор — гадость!..

— Ты готова раздать большевикам все наши вещи! — сердито и огорченно сказала тетка. — Я этого допустить не могу. Уж и без

того сидят здесь курсанты, бродят чуть ни каждый день с обысками, издеваются...

— Не ты слушаешь их речи, а я. Ты сидишь в своей комнате, а обыски встречаю я. Так незачем тебе теперь вмешиваться.

— Ах! Смотри, они потащили диван! И кресла тоже! Да есть ли еще у них ордер? Ведь ты и ордера никогда не спрашиваешь.

— Совершенно не интересно на такой глупый вопрос получить в физиономию дуло маузера!..

— Неужели они это делают?

— А как же! — вздохнула я. — Сиди себе, тетя, и оставь меня разбираться с ними.

— Я все таки пойду... Так нельзя.

— Иди к кому хочешь, но не к Белоусу! Слышишь! Иначе я тоже пойду, и будет скандал!

Я говорила так угрожающе, что тетка испугалась. Она все таки предпочитала, чтобы с красными разговаривала я, и защищала вход в комнату, где она сидела с дедушкой. Поэтому быстро накинув шубу, она пошла в штаб Богунского.

Ее, разумеется, не приняли, ибо она сразу же стала объяснять, что хочет просить об отмене ордера на реквизицию мебели для командира бригады. Это вызвало хохот сидевших в дверях Богунского солдат.

— Ишь буржуи!.. жаль им своих манаток!.. кровопийцы, каты... Грабь награбленное!..

Тетя вернулась удрученная, но эта неудача доказала ей, что лучше предоставить мне разбираться с большевиками.

С курсантами у меня действительно наладились отличные отношения. Сидорчук был едва грамотный, но страстно желал учиться. Он сразу же понял, что со мной может обо всем говорить спокойно, и что я нисколько, даже внутренне не улыбнусь курьезным вещам, которые он говорил по незнанию. И он скоро стал расспрашивать меня не стесняясь. Он очень любил слушать рассказы про различные явления природы и смотреть картинки в моем детском «природоведении».

Раз он явился взволнованный.

— Вот книга—так книга! — сказал он. — Вы читали? Называется «Роман, часть вторая»?

— Там, наверное, было и другое название, — заметила я. — Сверху или на предыдущей странице. Это не может быть названием книги.

— Нет, нет, так книжку звать: «Роман часть вторая», товарищ говорил.

— Не думаю, — ответила я. — Это наверное означает, что книжка эта — «роман», то есть выдуманный рассказ. А «часть вторая» означает, что есть еще первая часть, которую надо прочитать сначала.

Он очень огорчился.

— Так что вы не знаете, что это за книга и мне ее достать не можете? Вот беда! Хо-орошая книжка! Я думал сам такую достать.

Товарищ ушел и забрал. А я значит названия то не знаю... Беда!

— А про что там написано? Может быть я узнаю, по рассказу...

Но он так сбивчиво рассказывал какую то историю, что я ничего не поняла. Чтобы утешить его, я показала ему наши книги. Его заинтересовали детские опыты из физики и начальные сведения по космографии. Мы часто и хорошо об этом с ним разговаривали. Его очень занял дедушкин микроскоп и инфузории, которыя плясали в капле воды. С микроскопом он возился каждый день целых две недели.

Возвращаясь со своих курсов, он обедал со мной и с Соломкой и немедленно направлялся к микроскопу.

— Давайте каплю смотреть! — говорил он. Его потрясло открытие невидимого мира малых существ, о котором он, конечно, не подозревал. А когда я объясняла ему звездную карту и телескоп, он долго качал головой в задумчивости.

— Одна труба наверх, а другая труба вниз, — сказал он. — Чорт знает какая хитрая штука! И там не видно глазом, и здесь не видно глазом, а в трубы видно. Замечательно!

Он спрашивал массу подробностей и добился того, что сам смог набирать каплю на стеклышко, правильно наводить микроскоп и в восторге показывал свои способности Соломко. Для того, чтобы инфузорий в капле было больше, мы набирали специально грязную воду в особом блюдечке.

— А ведь черти, эти буржуи, от нас это все скрывали! — сказал он мне однажды со злостью. — Если бы не настала наша пролетарская власть, во всю жизнь бы этого не узнал! Подлецы!

— Может быть и узнали бы, книжек ведь и раньше много продавалось, — заметила я.

— Ха! Никогда бы не узнал! Кем я был? Мастеровым. Работал бы весь день, как проклятый, а по воскресениям бы пьянствовал! Нет барышня! Дай Бог здоровья советской власти! Человека из меня сделала.

Я только вздохнула, ибо спорить было трудно.

Соломко был культурнее, гораздо более сведущ, и много говорил о классовой борьбе. Я давно уже зарилась на его марксистские книжки, но читать не успевала, ибо была целый день занята в хвостах и очень часто повторявшимися обысками. Наконец, обыски наскучили даже курсантам.

— Чего вы? Опять? Вчора хтось ходив, сегодня, тай завтра будуть! Годи! Здесь нечого нема! — заявил авторитетно Соломко.

Обыскивавшие затоптались в дверях, видя курсантов.

— Морока! — сказал Сидорчук. — Покою нема! Идить бо!

Они пошептавшись ушли. Я искренне поблагодарила курсантов. С тех пор обыски стали реже.

Соломко потел над первым томом Маркса. Не знаю, входило ли это в курс его учения, или он сам считал необходимым с ним познакомиться, только он его читал, с большими затруднениями. Видя, что ему очень трудно, я вскользь заметила, что внутри книги есть более легкие места и что, пожалуй, следовало бы начать с них. Соломко заинтересовался.

— А вы почем знаете?

— Читала.

— Ну! — недоверчиво протянул он.

— Читала и советую начинать с середины тома. Дайте, я вам покажу

Я разыскала главу о рабочем дне, где рассказ становится простым и понятным, и мы быстро прочли ее. Курсант обрадовался. Затем, по моему совету, мы перешли к главам, трактующим о развитии мануфактуры, о машинизации и ее влиянии на судьбу рабочих. Потом, опять перескочили, и перешли к трем последним главам. Всякий, кто знает, о чем там идет речь, поймет, почему мне читать их с курсантом в 19-м году было чрезвычайно неприятно. Просто невыносимо тяжело! Но я взяла себя в руки, ибо предпочитала не прятаться от действительности.

Соломко читал без комментариев, но было довольно ясно, что он думает. Я была с ним согласна: возражать было нечего и мне было тем более мучительно противно. Вот дурацкое положение! Почему я считаюсь представительницей такой отвратительной мерзости!

Скоро Соломко приручился и позволил мне читать всю его литературу с тем, чтобы я ее ему потом рассказывала. В этой роли репетитора большевистских агитаторов я таки основательно познакомилась с целым рядом марксистских брошюрок и книжек. Мне очень хотелось пополнить свое политическое образование, а случай был действительно удобный. Курсанты долгое время были мною вполне довольны.

По всей вероятности, однако, они кому нибудь рассказали о наших чтениях, или призывы к классовой бдительности повлияли на них. Однажды оба явились совершенно изменившимися.

— Ну что? Будем читать? — спросила я после обеда.

— Нет, — сухо ответил Соломко. — Я занят.

— А смотреть микроскоп будем?

— Сам разберусь! — бросил Сидорчук.

Я отошла в угол, и стала читать книжку Ленина о крестьянском вопросе, которую мы начали накануне. Курсанты вынули газеты и погрузились в них.

— По настоящему, всех буржуев надо к стенке, — вдруг решительно сказал Соломко.

— Ну уж! Всех! — возразила я примиряюще.

— Да, всех. Покамест останется хоть один контр-революционер, пролетарская революция в опасности.

— Меня главное интересует, что из нее получится, — сказала я, пробуя переменить разговор.

— Получится диктатура пролетариата, а панов к стенке.

— Много убитых будет, — возразила я. — Разве нельзя как нибудь без этого?

— Нельзя. Подлецы буржуи! Нечего щадить такую сволочь!

— А мне так жалко, когда людей убивают, — вздохнула я. — Не хорошо. Жалко!

— А зачем они идут против пролетарской власти?

— Потому, наверное, что не понимают, что происходит. Вы думаете, я понимаю? Честное слово, не понимаю. И не знаю, что будет. А когда посмотришь на эти убийства, эту войну, этот беспорядок — ужас берет! Страшно! Вот и думаешь, что из этой пролетарской власти Бог знает, что получается... Ну, и бывает, что. . . А если бы вы показывали что нибудь хорошее, так было бы менее страшно, и людям бы больше нравилось.

— Значит вы не согласны на власть пролетариата! — блеснул глазами Соломко.

— Я бы хотела, чтобы всем было хорошо. А как это сделать, не знаю. При капитализме было плохо. Вы сами читали, что они делали. А теперь мне страшно! Война! Убивают! Ужас! А как это прекратить? Бог его знает.

— Когда пролетариат победит — будет хорошо.

— Дай Бог!

Два дня они занимались сами, а я, прочтя книжку Ленина по крестьянскому вопросу, сделала с нее конспект, очень ясный и удобный и выжидала.

— Где книжка «Аграрная»? — спросил довольно нелюбезно Соломко.

— Здесь, — ответила я, указывая на полку, куда уже ее поставила.

— Ага! Надоело читать!

— Что?

— Надоело читать, как буржуазию свегают!

— Нет не надоело. Я еще в тысячу раз больше прочту по этому вопросу.

— А эту зачем бросили?

Его тон меня злил, но я сдерживалась.

— Я ее уже прочла.

— Врете.

Я смолчала.

Он принялся читать ее. Вначале шло хорошо и он только злобно фыркал, читая какой маленькой частью земли владели миллионы крестьян тогда, как почти такой же точно массой владело несколько десятков тысяч помещиков. Но как я и ожидала, лишь только дело дошло до споров Ленина с другими теченями в партии, дело затормозилось. Он не умел выбирать из книги главного, и потонул в рассуждениях о разных фракциях и веяниях.

Я сидела рядом, читая Анти-Дюринг, и искоса взглядывала на него. Он начинал советь.

— Если бы вы не были сегодня такой сердитый, то я бы показала вам одну вещь, — сказала я.

— Что? — буркнул он.

— Я вам сказала, что прочла вашу книжку. И это правда. Я очень быстро читаю, и это не удивительно. Много потрачено было усилий, чтобы от меня этого добиться. И средств и времени — всего... Так вот я и сделала конспект этой книжки. Прочтите его, и будете знать основное. А потом легче станет. В таких книгах не надо

вчитываться на первый раз в каждое слово, иначе затемняется общая мысль. Сначала надо выделить главное. Не в Мартынове дело, а в выводах Ленина, на них и надо обращать все внимание на первый раз. Это дается привычкой. А при последующих чтениях запомнится и остальное.

Я протянула ему конспект. Он взял и заинтересовался. Но вдруг подозрение охватило его.

— А вы не наврали?

— Нет, конечно! — удивилась я.

— Я проверю.

— Проверяйте.

Он попробовал проверить, но не смог.

— Я понесу это товарищам, — хмуро сказал он. — И если что не так, увидите, что будет!

— Вот беда! — всплеснула я руками. — Да знают ли еще ваши товарищи эту книгу! Может они сами не понимают ее! Оставьте мне конспект, если не хотите им пользоваться.

— Нет. Я его понесу. Вы разводите агитацию.

— А вы спрашиваете, почему люди боятся вашей власти! Это же несчастье! Я вам помогаю, а вы меня мучаете! За что вы на меня сердитесь? Что я сделала?

— Не знаю, что вы тут написали, — сказал он уже мягче. — Пусть товарищи посмотрят.

Я очень испугалась. Почем я знаю, кто у них лектор. Может быть тоже полуграмотный — ничего не поймет! Будет подозревать и сердиться! Еще выйдут неприятности. Но делать было нечего. Меня раздражала эта недоверчивость. Но откуда ему быть другим! Надо продолжать возиться — увидим, что получится. Лишь бы лектор оказался понимающим!

Но на следующий вечер Соломко явился удовлетворенный. Он показал лектору конспект, который произвел хорошее впечатление, и курсант опять стал благоволить ко мне.

Не знаю откуда Соломко доставал эти книги, но у него их было очень много. Просто удивительно, какое количество брошюрок и книг мы с ним тогда прочли. Не говоря уже о Ленине, у него было очень много произведений Маркса и Энгельса. Откуда они взялись в Золотоноше — не знаю.

Анти-Дюринга курсант буквально не мог читать, и только благодаря моему конспекту, получил среди товарищей славу очень начитанного пропагандиста.. Помню забавное чтение «Герра Фогта». Долго бился над ним курсант, но так как там речь постоянно переходит с одного вопроса на другой, и все совершенно для него новые, то он, наконец, тяжко вздохнул и вышел на холодный воздух проветриться. Он безнадежно путался в спорах Маркса о «швефельбанде». Мой конспект Фогта на шести страницах его немного утешил, но он страдал, ибо было ясно, что массы вещей я в тот конспект не поместила.

— Не надо! — говорила я. — Вам на первый раз нечего думать о том, что Маркс говорил о Венгрии, о Кошуте, о президенте швей-

царской республики! Пока достаточно запомнить, что он сказал о революции, о событиях в России и о развитии революционного движения по Европе. Остальное пока запоминать нечего. Потом!

Он не знал, верить ли мне или нет, но так как сам все равно бы не справился, то все таки читал мои конспекты. Кажется, его успохами были довольны на курсах, и это его распологало ко мне. Потом мне сказали, что мне вовсе не полагалось делать такие вещи, и что мне могло бы сильно попасть, если бы власти узнали, что я учу курсантов. Я очень удивилась, ибо в гимназии всегда так помогала соученицам, и за это меня хвалили. Зачем бы большевики стали сердиться? Наоборот. Ведь я действительно очень быстро разбираюсь в любой книге — не даром дедушка и папа со мной так возились. А курсантам трудно — они не привыкли. Вот и надо помочь!

Не помню, какие еще книжки мы тогда прочли. На меня произвела большое впечатление отличная книга Ленина «Империализм, как последняя стадия капитализма». Она мне очень понравилась.

Из наших никто не знал, что я делаю, ибо с курсантами меня всегда оставляли одну. Я это предпочитала, ибо тетка говорила большевикам глупости, и потом приходилось сглаживать ее ошибки. Родным было не до того, чтобы следить за моим чтением!

Курсанты сидели тихо, и нас не обижали. Обыски почти прекратились, а если и происходили, то Сидорчук заступался и все шло благополучно.

Я несколько раз заглянула в комиссариат социального обеспечения, где со времени взятья власти большевиками, Белоус был комиссаром. Мне очень хотелось поближе познакомиться с ним. Он был очень умным человеком, и я ему верила. Поэтому мне хотелось, чтобы он мне объяснил происходившие непонятные вещи. Но это плохо удавалось.

Белоус принимал меня хорошо, и, когда у него было время, разговаривал немного, но близко познакомиться с ним оказалось невозможным. Во первых, он был очень занят. У него постоянно сидели селяне, за которых он хлопотал в разных учреждениях. И я заставала его чаще всего кричащим в телефон, чтобы не задерживали выдачу каких то продуктов или денег в разные волости, комбеды и семьям красноармейцев. Кроме того, он ведал судом над малолетними, и это тоже отнимало много времени.

Но главное — он не хотел ближе знакомиться с нами, и я поняла, что это потому, что мы буржуи. Это меня, наконец, рассердило. Что же это за жизнь такая? Ходить, как зачумленная! Что я сделала? Почему ко мне так относятся? Я их люблю, а они меня презирают! За что?

Однако, долго сердиться я не могла. Вспоминалась драбовская история, и становилось стыдно за минутное раздражение. Однако, какая глупая вещь, что я за все это должна нести ответственность! Отвращение!

Отец понемногу поправился и, наконец, в один счастливый день, он встал и переехал к нам. Его тифозные комнаты были продезинфецированы и их тотчас же заняла мастерская по исправлению

красноармейских винтовок. Там работал один очень славный 19-ти лѣтний парень — Вася, мастеровой с оружейного завода. Он учил нас с сестрой какому то особенному воровскому языку, в котором как то странно переставляются буквы слов и вставляются лишние слоги. Нам это нравилось, но родители приходили в ужас. Этот Вася был хорошим человеком и никогда нам неприятностей не причинял. Борис Марковский стал помогать ему чинить эти винтовки. Боже, как это делалось!

Мальчишки просто спиливали побитые или поломанные винтовочные дула, наклеивали на глаз посреди оставшегося обрубка мушку из олова, и пускали в ход. Так они «исправили» много сотен винтовок. Не представляю себе, как могли из них потом стрелять. Но они считались готовыми.

Мы немного отдохнули. Все шло хорошо, и жизнь начала налаживаться, как случилось новое важное событие. В Золотоноше появилась «Черезвычайная комиссия по боротьби с контр-революцией, саботажем та злочинством».

***

Первое знакомство мое с Чека произошло так.

Был февраль 1919 года. Я шла куда то по главной улице города, когда внимание мое привлекла новая надпись на большом здании, рядом с мостом. Она меня так заинтересовала, что я даже сошла с тротуара на улицу, чтобы разглядеть ее. На доске стояло аккуратно написанное красными буквами: **Черезвычайная комиссия по борьбе с контр-революцией, саботажем и спекуляцией.**

Люди, приезжавшие из России во время гетмана, рассказывали много страшных вещей про эти Чрезвычайки, про зверскую жестокость чекистов, про массовые расстрелы. У меня похолодело в груди. Так вот она уже в нашем городе, эта ужасная Чека.

— Гей! — услышала я крик, и тут же получила сильный удар в затылок и свалилась на снег, как раз против дверей Чека. Зазевавшись на Чрезвычайную Комиссию, я не заметила ехавших сзади саней, получила оглоблей по голове, но к счастью этим все и ограничилось, и я встала, потирая гудевший затылок.

Скоро, однако, с Чекой пришлось познакомиться поближе.

От тетки из Киева получилось письмо. Она просила мою мать приехать, так как бабушка умирала. Нам сказали, что из города уезжать нельзя без разрешения Черезвычайной комиссии, и мы с матерью отправились за этим разрешением.

При входе в ЧК мы были поражены, так она отличалась от прочих революционных комиссариатов. Ни грязи, ни шума, ни беспорядка. Всюду прибрано, полная тишина, никаких живописных фигуш ни на лестнице, ни в корридорах.

Помещение светлое, чисто выметенное. Наверху лестницы, на площадке, длинная скамейка для просителей. Как я помню эту скамейку. Немало на ней пришлось посидеть!

Дальше — столик, и за ним «безработный» пишет прошения и записывает имена вошедших. Меня долго удивляло, что этот перегруженный делом человек назывался «безработным». Кажется, он не был служащим в ЧК, а безработным с биржи труда, расположенной напротив.

Внизу, под лестницей — караулка. Но я лишь гораздо позже узнала о ее существовании. Ни крика, ни пьяных песней оттуда не долетало, как это обычно бывало в революционных комендатурах, тюрьмах и арестных домах. Все было чинно.

Стены лестницы, коридоров и площадки были выкрашены в кроваво-красный цвет, кистью местного учителя рисования Рындина. Прямо, большие двери вели в зал суда Революционного Трибунала. Там виднелись ряды стульев и скамей, большой стол, покрытый красным сукном и отделенный барьером от зала, скамья подсудимых и три кресла для судей.

Налево от залы помещалась Следственная Комиссия: несколько комнат со столиками, секретарями, печатающими машинистками, а в глубине — кабинет председателя комиссии, следователя по особо важным делам Кохановского.

На скамейке, у лестницы сидело несколько просителей. Мы с матерью обратились к «безработному» с вопросом, где можно получить разрешение на выезд из города. Он махнул на двери следственной комиссии и мы отправились туда.

В канцелярии комиссии сидел какой то пожилой человек и две машинистки. Посреди комнаты, полусидя на столе, одетый в военную тужурку и галифе, с красной повязкой на рукаве, юноша лет двадцати, разговаривал со стоявшим перед ним бледным и взволнованным человеком. Это и был Кохановский. Они говорили тихо — слов нельзя было расслышать. Допрашиваемый видимо сильно беспокоился. Он тяжело дышал, руки его дрожали. Потом уже я узнала, что это был обвиненный в контр-революции хлебороб.

Мы подошли к одной из машинисток и спросили, куда надо обращаться за пропусками. Она встала очень вежливо, порылась в каких то бумагах.

— Как ваша фамилия?

Мы назвались.

— Хорошо. Сейчас. Подождите.

Она подала матери стул.

Прошло несколько минут. Порывшись в шкафу, она вытащила какую то рыжую папку и подошла к следователю.

— Товарищ Кохановский! Вот тут пришли... — дальше мы не расслышали ее шопота.

Следователь обернулся, отпустил хлебороба, который вышел в сопровождении дожидавшегося у дверей конвойного, и обратился к нам. Взглянув на папку, он задумался, и, подойдя к вошедшему в комнату молодому брюнету, стал с ним тихо разговаривать.

— А вы что? В Киев к племяннику едете? — спросил нас брюнет довольно резко.

— К какому племяннику? Я хотела бы ехать к больной матери — вот письмо от сестры, — ответила мать.

Брюнет даже не взглянул на письмо, и пожал плечами.

— Надо спросить Сиппельгаса, — сказал он.

В это время в комнату вошел коренастый, очень светлый блондин, с водянисто-голубыми, холодными глазами, в военной форме, с красной повязкой и бантом, похожий с виду на финна или латыша.

— Александр Янович. Вот я хотел спросить вас...

Следователь и Сиппельгас отошли в сторону и зашептались, взглядывая то на нас, то на рыжую папку.

Финн глянул на нас, на папку, и подошел к матери.

— Вы одна хотите ехать?

— Да.

— Что же? Поезжайте. Это до вас не касается. Дело к тому же еще находится в следствии... — Он внимательно рассматривал нас.

— Какое дело? — ахнула мать.

— Дело вашего мужа. Его придется арестовать, — обратился он к Копановскому. — Отдайте распоряжение, товарищ

— Господи, я никуда не поеду! Что это? Ведь мужа уже судили в декабре и отпустили! Неужели опять!

— Он обвиняется в контр-революции, — сказал чекист, глядя в папку.

— Ради Бога, — взмолилась мать. — Не арестовывайте его. Он сильно болен, только что перенес сыпняк. Он умрет, если его поднять с постели! Ведь мы все равно бежать никуда не можем.

— Как же можно оставить на свободе человека, обвиняемого в контр-революции? — резонно заметил чекист.

— Но ведь его до сих пор не арестовывали. Неужели только потому, что я пришла... — говорила с ужасом мать. — Оставьте его дома. Все врачи вам скажут, что он не может вынести тюрьму.

— Тогда поместим его в тюремной больнице.

Мы были в отчаянии.

— Отец все равно сейчас не может отвечать на допросы, ни давать показаний, — вмешалась я. — Сжальтесь над ним. Мы будем ходить сюда хоть каждый день, чтобы вы видели, что мы никуда не бежим. Да и бежать некуда. А если вам нужны какие-нибудь сведения, то допрашивайте меня. Я все знаю. Я переписывала все бумаги, которые писал отец. Я на все могу ответить.

В сущности у меня не было никакой надежды смягчить чекиста, ибо его намерение было вполне логично, но к своей радости я вдруг заметила, что он начал колебаться.

— Вы можете отвечать по этому делу? — спросил он.

— Конечно.

— Как же вы можете знать, что делал ваш отец, — недоверчиво усмехнулся он.

— Отлично знаю. У него почерк плохой, и все бумаги, которые он писал за последние годы, переписаны мною. Как же мне не знать?

Сиппельгас задумался.

— Хорошо, — решил он наконец. — С арестом пока подождем. А раз вы в курсе, то пожалуйте сюда. Поговорим.

Он отпустил мать домой, и повел меня через зал суда, в кабинет. Зал этот производил очень сильное впечатление. Стены были багрово-красные и расписаные революционными сюжетами. За судейским столом находилась дверь, налево от которой вся стена была занята громадной картиной дымящихся, черно-фиолетовых заводов, на фоне огненного зарева. На переднем плане, вооруженные рабочие, потрясая молотами, несли красные знамена, с надписью:

«Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем!» и
«Мир хижинам — война дворцам!»

Направо от дверей — ярко красное поле, и на нем лиловый пахарь, размахивающий серпом, и надпись:

«Земля — трудящимся!»

Над дверьми лаконическое: «Смерть врагам пролетарской революции!» А под этим череп и две скрещенных берцовых кости. Но особенно неприятна мне была левая стена зала, где во всю вышину была изображена огромная смерть с косой. Она витала над всем этим залом и сильно дергала нервы.

Вслед за Председателем Черезвычайной Комиссии я вошла в большой кабинет. Он присел боком на письменный стол и молча стал меня разглядывать. Стоя перед ним, я окинула взглядом комнату. Она была обставлена прилично, без всяких удивительных сочетаний, так часто наблюдавшихся в прочих комиссариатах, где дорогие кресла стояли рядом с зарядными ящиками, а сломанные люстры и хрустальные вазы служили для развешивания грязных красноармейских портянок. Всюду — чистота и порядок. На стене портреты Ленина и Урицкого.

Сиппельгас долго рассматривал меня. У него была такая система. Некоторых это нервировало. Мне, наоборот, позволяло успокоиться. Я чувствовала себя, как на экзамене. А за всю свою жизнь, я не разу на экзаменах не проваливалась! Я стояла молча, ожидая, что он скажет.

— Сколько вам лет? — спросил он.

— Семнадцать.

— Так вы хорошо знаете, что делал ваш отец во время гетманской власти?

— Отлично знаю. Я всегда помогала отцу и могу ответить на все вопросы.

— Да? Ну, хорошо. Расскажите вкратце жизнь вашего отца в прошлом, а потом займемся настоящим.

Я перечислила довольно точно этапы отцовской службы до революции, и остановилась. Он слушал не прерывая, играя преспапье.

— А что он делал после революции?

— Вернулся сюда, так как служба в армии кончилась.

— Когда?

— В декабре 17-го года.

— А здесь, что он делал?

— Работал. Ведь у нас все реквизировали: и деньги в банке, и землю. Вот и приходится работать. Теперь отец болен и работает один брат — возит дрова из лесу, и за это получает муку, возит на мельницу зерно для тех, кто сам не может, и за это ему платят отрубями. Это и отец делал, пока не заболел.

Сиппельгас нагнулся над столом и стал листать лежавшие там бумаги.

— В декабре 17-го года ваш отец вывез хлеб и скот из деревни и продал? — спросил чекист.

— Это вовсе не отец сделал, — воскликнула я. — Это — я. Я одна. Ни отца, ни матери тогда в городе уже около полугода как не было, и все дела вела я сама. Да, я это сделала.

— Как вы смели? — строго спросил чекист, делая пометку на бумаге.

— Знаете! — ответила я. — Я тогда, действительно, не знала, да и сейчас не знаю, чего не следует делать, а что делать нужно. Иногда бывает, что опасно, но нужно. Вот я и думала, что это сделать необходимо: у нас денег ни копейки, а я считала, что мы можем взять немного хлеба в последний раз.

Сиппельгас нахмурился.

— Вы не имели права. Все имения уже тогда были национализированы. Куда вы его дели, этот хлеб и скот?

— Продала в Земскую управу.

— Как они согласились? — удивился чекист.

Я промолчала.

— Кто его купил?

— Агроном Хачатурьянц.

— Он здесь?

— Нет. Уехал из города в марте прошлого года.

— У вас есть расписка, доказательство какое нибудь?

— Есть Как же. Принесу вам.

— Как вы вывезли хлеб из села? Ночью?

— Нет. Днем.

— Как же вас отпустили? Ведь видел кто нибудь.

— Все видели.

Я не добавила, что подводы привезли пленные.

— Странно.

Он опять что то записал.

— Ну, а потом? — спросил чекист.

— Потом — ничего. Приехал отец, и мы уже больше ничего из деревни не продавали. Земельный комитет присылал только изредка нам немного продуктов.

— А при гетмане?

— Вот тут уж, мы действительно ничего не сделали. Вы же знаете, как многие помещики посылали в деревни карательные отряды, строго взыскивали за разграбленное... Вы можете справиться где угодно. Ни одной экспедиции из за нашего имения не было. Все проходили через наше село не останавливаясь. Там никого не наказали. А вы понимаете, что отцу это легче было сделать, чем кому бы то ни было!

— Почему он этого не сделал?

— Потому, что это свинство!

Чекист усмехнулся с холодным презрением.

— Вы хотите сказать, что уже тогда признавали распоряжения революционной власти.

Я удивленно взглянула на него.

— Как я могу это сказать! Я до сих пор не понимаю, что из этих распоряжений выйдет! Вовсе нет! Но и отец и мы все считали свинством посылать немецкий отряд, или отряд действующий под прикрытием немцев, для наказания наших русских крестьян. Мало ли что они делают! Все равно — они свои.

— Ах, вот что! Из националистического шовинизма! Да... Так карательных отрядов вы не посылали?

— Нет. Никогда.

— К сожалению, точно известно, что керовничим карательного отряда был именно Максимович. Ваш отец.

— Нет, — ответила я. — Такую вещь очень легко проверить. Я отлично знаю, кто был керовничим.

— Кто?

— Это верно, что он носил нашу фамилию. И это очень жаль, потому что карательные отряды — гадость. Его здесь нет. Он уехал с гетманцами. Это мой двоюродный брат — Михаил Васильевич.

— Хороша семейка! — возмутился чекист. — Что за банда контр-революционная! Дед, отец — генералы! Брат — керовничий карательного отряда. Чорт!

Я промолчала.

— Ну, допустим, что ваш отец не был керовничим. Все равно он явный контр-революционер... Черносотенец!

— Он монархист, — тихо ответила я. — Вы это сами знаете. Скрывать тут нечего. Но когда говорят, что мы участвовали в карательных отрядах, то я не могу этого слышать, потому что это было бы очень скверно. И это неправда.

— Из националистических соображений?

— Конечно.

Он пожал плечами:

— Как вы не понимаете, что такой ваш шовинизм лишний раз доказывает вашу контр-революционность.

— По крайней мере этому вы можете верить. Карательных отрядов мы не посылали.

Председатель ЧК усмехнулся.

— Зато вы делали, при помощи угроз, поборы с селян. Есть свидетельские показания.

— Нет.

— Да.

— Нет. Все отцовские бумаги и заявления переписаны мной. Он этого не сделал, хотя делать это тогда можно было.

— Сделал.

— Отец за весь гетманский период написал одно единственное заявление в Прохоровскую Волостную Управу, после того, как к нам

приехал староста Клименко и отец его едва принял. Клименко очень обиделся и начал говорить, что генерал Максимович своей критикой подрывает авторитет старосты и вредит престижу гетманских мероприятий. Он запросил отца, что делается в его имении, которое отец принимать из рук немецких солдат не поехал, и почему он не принял мер к возвращению разграбленного имущества. Отец этого не сделал потому, что для этого пришлось бы обращаться к немцам. Тогда отец написал в Волостную Управу наскоро составленную записку, которую я лично переписала. Вы ее можете найти. Она написана мною, и подписана отцом. В ней отец говорил, чтобы свезли, как он уже требовал, срубленные в 17-м году ольхи, и оценил в какую то сумму, сейчас не помню во сколько, остальные причиненные имению убытки. Но никаких реальных мер для взыскания этих сумм предпринято не было. И их не внесли вовсе. Никаких денег мы не получили. Часть ольх свезли на двор. Остальные пошли на постройки селян. И за них мы тоже ничего не взяли. Вот и все.

Чекист слушал меня не прерывая.

— К сожалению, ваши показания совершенно расходятся с заявлениями селянской громады, которая прямо утверждает, что ваш отец производил несправедливые поборы под угрозой гайдамацких нагаек.

Я видела, что он читал эту фразу в лежащих перед ним на столе бумагах и побледнела. Кто это мог сказать? Это ложь, но разве сейчас трудно оговорить нас просто по злобе, из мести... Ведь чекисты поверят им, а не мне!

— Это неправда, — сказала я. — Это ложь! Кто это сказал?

Чекист усмехнулся.

— Под этим заявлением стоит около сотни подписей.

— Что-о? — У меня похолодело в груди от ужаса. — Это неправда, — повторила я, чувствуя, что мои слова не имеют никакого смысла. Что будет значить мое отрицание рядом с показанием сотни селян!

— Помилуйте, — сказала я, стараясь собраться с мыслями. — Отца судили уже в декабре. Его отпустили только потому, что приговор Прохоровской громады был благоприятный. Как же это так!

Чекист смотрел на меня, вертя в руках линейку, с уничтожающим презрением.

— Вы сами сказали, что отправили летом в Волостную Управу записку с требованием. Это верно, чорт возьми, вы ее послали! Так что же? Вы считаете, что это не вымогательство?

— Да ведь это была не настоящая записка, а только так! — воскликнула я. — Ведь мы ничего не взыскали и, когда они пришли из Келеберды, то отец сразу же сказал, что это просто вздор.

— Ну, знаете, — сказал чекист, — если вы так будете отвечать! Что это значит — не настоящая записка? Записка послана была, и все это подтверждают, а вы говорите какие то глупости.

— Это не глупости, — сказала я в отчаянии. — Что мне вам ответить? Да, записка была послана, но когда келебердянские селяне пришли спросить надо ли платить и жаловались, что она неспра-

ведливая, то отец сказал, что она не имеет значения. Ведь они же это знают! Спросите келебердянских селян. Неужели они не скажут правды! Они же знают!

Сиппельгас вздохнул.

— Эх, барышня! Ведь именно келебердянские селяне заявляют, что ваш отец вымогал деньги под угрозой гайдамаков. Ну-с, что же вы скажете?

Я еле держалась на ногах. Неужели они будут на нас говорить ложь? Тогда, конечно, все погибло!

— Уверяю вас, что я вам сказала правду. Да, записка была послана. Но когда они пришли, отец ее отменил, и ничего не взял, ничего! Неужели никто не захочет это подтвердить? Ведь это правда!

Чекист внимательно смотрел на меня, и что то записал на бумажке. Потом взглянул на часы и задумался.

— Ну, что же! Идите домой, и приходите завтра, — сказал он.

Я вышла от него с кружащейся от усталости и тоски головой.

«Что это за история? Кто на нас налгал? Это же ложь! Что же они губят нас? Зачем они это сказали?»

Известье, что около сотни селян нас оговорили перед Революционным Трибуналом, произвело на меня ужасное впечатление. Дома я об этом не могла говорить. Отец был болен и его надо было беречь. Про чекистов ходили страшные слухи, и на их беспристрастье был плохой расчет. Наверное рады будут всякому предлогу, чтобы погубить нас. Что делать, если крестьяне не захотят подтвердить мои слова. Ведь поверят им, а не нам!

Я промучилась всю ночь, а на утро опять отправилась в ЧК. Пришлось подождать довольно долго, пока меня не вызвали. Допрашивал на этот раз Кохановский. Он указал мне на стул, чему я очень обрадовалась, ибо стоять перед Сиппельгасом было очень тяжело.

— Ваш отец вымогал с крестьян огромные суммы, — сказал он.

— Это неправда, — тихо ответила я. — Уверяю вас, что это неправда.

— Как же неправда? — усмехнулся он. — Лучше сознайтесь и расскажите, как было дело.

— Уверяю вас, что мы этих сумм не получили.

— Это очень возможно, — заметил чекист. — Суммы такие большие, что их вряд ли можно было взыскать с бедного села.

— Да, мы их не требовали вовсе!

— Как же не требовали, когда вот лежит записка!

— Да, она была написана. Это правда! Но когда они пришли...

— Вы это уже несколько раз сказали. Но ведь это одни слова! Записка то налицо, а отменили ее как? На словах, что ли? Документа никакого нет!

— Да, на словах.

— Кому же из крестьян ваш отец это сказал? Назовите фамилию.

— Я не знаю, — пробормотала я.

— Послушайте, — возмутился следователь. — Вот лежит за-

писка, написанная вашим отцом с непомерным требованием к крестьянам. Вот показание селянской громады, подтверждающей, что с нее вымогали деньги с угрозами. А вы мне на это возражаете, что ваш отец это требование отменил, но документов, доказывающих это, нет и даже назвать людей, которым ваш отец сказал, что отменяет это требование вы не можете! Что же это такое? Кажется дело ясно!

Не трудно представить себе весь ужас моего положения. Что я могла сказать? Я чувствовала, что дело идет к катастрофе.

— Я не знаю, как зовут этих селян, но ведь они сами знают, что я говорю правду. Спросите их еще, — еле слышно проговорила я. — Я правду сказала. Что же мне делать — это правда.

— Значит, вы говорите, что, хотя записка была послана, но фактически деньги не взысканы? Так?

— Да.

— Почему же вы послали такую записку?

— Потому что к нам все время приставал староста, возмущавшийся тем, что отец не сочувствует гетманской политике.

— Почему же он ей не сочувствовал? — удивился чекист.

— Потому, что гетман опирался на немцев.

— Ну, и что же?

— Ну, и это гадко. Немцы враги России.

— Гм! А записка же тут причем?

— Отец написал эту записку, потому что староста требовал, чтобы отец привел имение в порядок...

Я услыхала шорох за стулом и обернулась. За мной стоял Сиппельгас. Я встала.

— Продолжайте, продолжайте, — сказал он, присаживаясь боком на стол. Я была немножко сбита его появлением и стала припоминать, что говорила.

— Да, так отец действительно был в очень дурных отношениях с гетманской властью, и староста даже хотел его арестовать...

— Что! — резко прервал меня Сиппельгас.

— Да!

— Староста хотел арестовать вашего отца?

— Да, это верно. Уверяю вас, что он это говорил.

Чекисты переглянулись, и Сиппельгас нахмурился.

— Вы отдаете себе отчет в том, что вы сказали вздор, или нет? — спросил он. — Как староста Клименко мог арестовать вашего отца!

— Уверяю вас, что это правда, — сказала я, начиная приходить в отчаяние. — Конечно, он этого не сделал и сделать, пожалуй, не мог. Я говорю это, чтобы показать, насколько велико было наше расхождение с гетманской политикой.

Чекист начинал сердиться.

— Врать на допросах я вам не позволю, — сказал он веско. — Вы, чорт знает, что выдумываете! Что это за нахальство! Докажите, что вы сказали правду, или будет плохо. Вы не играться сюда пришли.

— Да что с ней возиться, — вздохнул следователь. — Вызвать его самого. Пусть отвечает!

Я испугалась. Неужели они арестуют отца! Как я им докажу, что сказала правду! Господи, зачем я это сказала? Это правда, но как ее доказать. А они сердятся!

Вдруг я вспомнила разговор с отцом в день вступления повстанцев. Доказательство есть, но захочет ли этот человек выручать нас?

— Есть один человек, который мог бы это подтвердить, — прошептала я.

— Кто? Староста Клименко? — сощурил глаза следователь.

— Нет. Он большевик. Ему бы вы поверили. Но захочет ли он...

Чекисты удивленно взглянули на меня.

— Комиссар Освиты Злобинец. Он это знает. Но захочет ли он подтвердить, путаться в наше дело. Зачем ему помогать нам? —

Следователь записал что то на бумажке.

— Отчего? — сказал он. — Если это правда, он подтвердит.

Я в этом далеко не была уверена. Все в городе от нас отвернулись, даже самые старые друзья, а большевистскому комиссару менее, чем кому либо интересно было нас оправдывать. Отмахнется, скажет, что ничего не помнит, и дело с концом. А чекисты рассердятся.

Сейчас передо мной лежит отцовское дело, которое досталось нам потому, что один из следователей, не успевший бежать с большевиками, принес его отцу, прося спасти его от вступавших в город деникинцев. И я знаю теперь, как они поступили, чтобы выяснить истину. Привожу эти документы, ибо по ним проще всего составить себе впечатление о Золотоношской ЧК. Надо сознаться, что большего беспристрастия и справедливости и со стороны следователей и со стороны свидетелей трудно желать в каком бы то ни было суде.

Началось дело по следующему поводу. Когда в декабре мать просила Прохоровскую Волостную Управу прислать селянский приговор об отце, то к моменту суда, в Золотоношу прибыл лишь приговор самого Прохоровского общества. Он был положительный и это спасло отца.

Приговоры остальных сел Прохоровской волости были пересланы лишь позже, 8 лютого (февраля) 1919 г.. 15 лютого, Грудницкий, тогда уже Голова Ревкому направил их к Комиссару Судовых Справ Сиппельгасу, который передал их в Следственную Комиссию.

Вот эти документы:

В Прохоровскую Волостную Земскую Управу, от И. М. Максимович, г. Золотоноша, Черкасская ул. дом № 3, ПРОШЕНИЕ.

В виду того, что муж мой, П. В. М. арестован 21-8 декабря, имею честь просить Прохоровскую Волостную Земскую Управу о созыве схода для выяснения приговора о том, что П. В. М. совершенно не причастен к незаконным действиям и вымогательствам у крестьян, совершавшимся во время гетманского правления, а наоборот всегда принимал участие в крестьянских нуждах. Когда земля была отдана весной П. В. М., то он, зная крестьянские нужды предложил ее безземельным крестьянам, ничего ни от кого не взыски-

вал, а наоборот, когда во все остальные села были посланы экспедиции с пулеметами, в село Прохоровку никто не явился с противозаконными требованиями и вымогательствами. Никаких недоразумений с крестьянами у П. В. М. не было. Было достигнуто полное полюбовное соглашение, о чем имеется приговор, засвидетельствованный Прох. Вол. Зем. Упр. от 18 июля 1918 г. (подпись).

В ответ на эту просьбу Бубновская Громада дала следующий приговор:

ПРОТОКОЛ БУБНОВСКОГО ГРОМАДЯНСКОГО ЗИБРАНИЯ, 29 грудня 1818 р.

На зибрани було нами слухано письмо жинки П. В. М., который теперь заарештований. Вона звертается до громадян прохоровской волости щоб вони запевнили в тим, що вин був прихильник, а не ворог демократии.

Коли мы побалакали миж собою, то вынесли таку постанову:

Чи П. В. М. е дийсно прихильник, чи ворог демократии, нам селянам с. Бубнова зовсим не звистно, позаяк мы с ним Максимовичем не мали ниякого дила. Алеж з промов миж громадою мы довидались, що якись М. з с. Прохоровки був керовничим карательного отряду Золотоношского повиту и цей отряд вчинив нам дуже велике зло: выпоров нагаями нас селян 126 чоловек занищо. Чи цей самый М. був керовничим, чи другий — це виднише нашому уряду!

(Подписи около сотни человек.)

Еще более опасен был приговор Келебердянцев. Они не забыли тяжелых дней, проведенных под впечатлением отцовской записки, перечли последнюю и возмутились. Надо сознаться, что возмущение их довольно понятно.

Вот эта записка, приложенная к делу:

Из заявления П. М. в волость:

Чтобы мне возвратили взятое у меня жито, пшеницу, овес, коноплянное зерно, семена вики и остальное все, что разобрали Лукьянец, Вовкострел, Лисик и Рудь, для всей волости. Если этого не сделают, то мне нечем будет кормить лошадей и тогда я их не смогу дать для полевых работ. Кроме того, пусть мне заплатят деньги за потравленные луга в Келеберде и на леваде, куда вся волость гоняла пасти свой скот. Цена за десятину 155 руб. как взяли луга у Каневского в Келеберде. Затем пусть поправят заборы, которые растащили. Затем пусть уплатят деньги за срубленные 700 дубов, одну десятину ольх, и срубленных 200 ольх, 6 ольх, 6 берез. Относительно арб и повозки, а также сбруи, я уже вам говорил.

С подлинным верно Председатель Управы. 22 июня 1918 г.

22 июня - 5 июля 1918 года.

В Прохоровскую Волостную Управу Генерала П. В. М. Заявление.

Ко мне обращаются крестьяне с просьбой помочь им в уборке урожая моим инвентарем, который был захвачен крестьянами 8 декабря 17 года и оставался в их пользовании до 5 мая 18 года. На моих лошадях и повозках ездила вся волость, мой лес рубила вся волость, на сенокосы выгоняли скот со всей Прохоровки и Келебер-

ды, мой хлеб растащили жители Прохоровки под руководством Рудя, убили двух свиней, уничтожили баню, заборы, покрали вещи из дома, из коморы и погребов. Я несколько раз передавал приходившим ко мне уполномоченным, что я предлагаю волости немедленно мне все возвратить, испорченное восстановить на следующих условиях:

свести и сдать мне весь забранный хлеб,

за убитых двух кабанов заплатить мне 1200 рублей.

За вырубленную десятину ольхового леса уплатить 10.000 шублей или возвратить мне.

За вырубленные 96 дубов в Ковалевке и 40 дубов в Келеберде, всего 136 дубов уплатить по 100 руб. за дуб.

Уплатить за пользование моими лошадьми и скотом,

восстановить весь испорченный инвентарь.

Предполагая, что наша волость сама все исполнит по закону, я до сих пор ни с какими жалобами на крестьян не обращался. Прошу Волостную управу уведомить меня желает ли волость сама исполнить все по закону, или же мне следует подать жалобу к местным и военно-административным властям.

Настоящую копию заявления Генерала П. В. М. Прохоровская волостная земская управа препровождает Келебердянскому старосте, предлагая не позже 29 сего июня старого стиля созвать сельский сход жителей села Келеберды, на котором предложить к обсуждению условия, предложенные в этом заявлении ген. П. В. М.. В письменной форме, не позже 30 сего июня доставить со стороны общества условия, которые они принимают по пунктам заявления П. В. М.

Не только суммы, потребованные в записке были велики, но они была тем более несправедлива, что деревья, например, вообще не были вырублены, а на лугу, за который требовали 6.000 руб. не росло, из за песку, более одного воза сена.

Неудивительно, что приговор Келебердянцев был весьма для нас грозный:

Протокол № 2 Келебердянской Сельской Громады зибраня.

Зибраня открыто головою в 12 годин дня.

Была писарем прочитана копия прохання жинки Генерала Павла Васильевича Максимовича, присланная прохоровской волостью, об освобождении его из под ареста. И другая была прочитана копия его заявления, присланного еще в правление гетмана 22 июня. Он в своей заяве як видно требовал с нас крестьян всяку превеличену грошову сумму в корысть свою. А через то, поговорившe мы меж собой постановили, що вин, Павло Васильевич Максимович, вымогал с нас громодян неповинные уплатки под угрозой гайдамацких нагаек и прохаем, чтобы вин отвечал перед полевым Революционным судом, що ниже подписавшись подтвержлаем. Зибране закрыто в 3 часа вечера.

Под протоколом — 134 подписи.

Ясно, что чекисты начали дело и, честное слово, они имели нравственное право немедленно арестовать отца, несмотря на все мои просьбы.

— Так вы продолжаете утверждать, что денег с селян не требовали, и, что гетманский староста хотел вашего отца арестовать? — пожимая плечами, спросил чекист.

— Да. Уверяю вас — это так. Это правда!

— Увидим, — процедил Сиппельгас. — Можете идти.

В тот же день у нас был обыск. Пришло, однако, лишь три человека, а не целая орава, как обыкновенно. У них был мандат от Сиппельгаса. Они рылись повсюду, нашли два царских портрета и порвали их, и, провозившись с час, обернулись к отцу, лежавшему в постели.

— Вставайте-ка! Идем на принудительные работы!

— Господи, ведь он встать с кровати не может! — взмолилась я. — Я сама с вами пойду. Вот что!

Мы вышли. Шла я между двумя вооруженными красноармейцами, как арестованная, и прохожие взглядывали на нас с недоумением. Они повели меня в бригаду Богунского.

— Что мне надо будет делать? — спросила я конвойного.

Он, видимо, пожалел меня и ответил уклончиво:

— Там дадут что нибудь! На машинке печатать умеете?

— Умею.

— Ну вот, что нибудь такое и дадут. Вы не бойтесь.

— Я вовсе не боюсь, — ответила я. — Чего же тут страшного.

Но когда мы вышли на двор, где помещалась бригада, то страшно все таки стало.

По широкому двору, пользуясь солнечной весенней погодой, бродило около сотни красноармейцев и матросов. Другие сидели на бревнах, ящиках и орудийных передках. В глубине, около громадной кучи гнилого навоза стояла группа людей, большей частью женщин из городских буржуев.

— Вот со двора Максимовича привели, — сказали приведшие меня конвойные. — Куда ее деть?

— А! С генеральского? На навоз ее!

— Пусть лучше на машинке печатает, — сказал миролюбиво один из конвойных. — Ще молоденька!

— Чего? Зачем? — возмутился матрос. — Нехай порается с другими!

— Звычайно! Хай працюе! Живо выучим буржуйское отродье. А не захочет слушаться — так иначе можно.

Он угрожающе помахал нагайкой.

— Буржуи проклятые!.. катовали народ!.. знущались над нами бисовы дiти!.. смерть буржуям! — неслось из толпы солдат.

Опустив голову, с тяжелым чувством беспомощности, шла я через враждебно настроенную толпу. Ужасно неприятно быть окруженной таким множеством рассерженных людей!

— Зачем они так злы на меня? — думала я тоскливо.

Меня подвели к куче навоза. Красноармеец с нагайкой сел рядом на бревне.

— Ну, побачимо, как ты будешь работать, — насмешливо сказал он. — Бери вилы и складывай навоз на подводу.

Стоявшие вокруг меня буржуи со страхом смотрели на караул.

— Я не умею этого делать, — тихо сказала, стоявшая рядом со мной молодая женщина. — Я не могу. Сил нет!

— Выучим, — засмеялся солдат с нагайкой. — А не захочешь, так вздую.

— Молчите! — сказала я ей. — Разве вы не видите, что нельзя...

— А вы будете работать? — спросила она шопотом.

— Конечно! И вы тоже! Берегитесь!

— Берите вилы! — скомандовал красноармеец.

Я хотела взять маленькие вилы, но он не позволил.

— Чего ты хватаешь? Это не вилы! Вот!

Он протянул мне тяжелые с толщенной ручкой вилы и сел рядом, хлопая себя нагайкой по сапогам.

— Ну! Живо!

Я неловко повернула вилы и, к ужасу почувствовала, что еле подымаю их. Что же будет, когда я нагребу навоз? Набирая очень маленькие кучки, я с трудом бросала их на подводу. Прошло несколько минут. Руки у меня налились свинцом. Надо было остановиться, хотя на минуту. Что он скажет?

Я оглянулась. Красноармеец курил папироску, играл нагайкой и смотрел на меня с добродушной насмешкой. Я опустила вилы и оперлась на них.

— Чего же ты стала? — засмеялся он. — Три минуты поработала и уже стала? — но смех этот был не злой. Я немножко успокоилась.

— Позвольте мне остановиться на секунду, — попросила я. — Я сейчас же опять буду.

Он выплюнул окурок и стал крутить новую цигарку. Отдышавшись, я продолжала работать. Дело шло плохо. Хуже чем у всех. Я работала неловко, медленно, роняла навоз по дороге, подавала на подводу какие то желкие кучки. Руки горели, плечи ныли, рот пересох ,страшно хотелось пить. Красноармейцы собрались вокруг нас в круг. Их было много. Несколько сот человек. Но собственно за нами наблюдало человек десять, старшим из которых был человек с нагайкой. Работало десятка три городских буржуев: домовладельцев, купцов, земельных собственников

Работая, я продолжала искоса наблюдать за красноармейцами. Страх, охвативший меня при входе, прошел. Я старалась оценить положение и оно показалось мне гораздо менее угрожающим. Настроение караула было насмешливо-добродушное. Они галдели, перебрасывались шутками, даже ругались, но опасности по моему не было. Просто — шумели от нечего делать! А старший, с нагайкой, несмотря на резкие слова, мне вовсе не показался злым. Конечно, дурить с ними нельзя — влетит. Но так, зря, они ничего не сделают.

Мне показалось даже интересным участвовать в знаменитых принудительных работах в бригаде, о которых по городу рассказывали ужасы. Репутация этих работ была очень страшная. Обыкновенно буржуев посылали на какие то огороды или мыть полы по учреждениям. И там обычно все сходило благополучно. Но в бри-

гаде работать считалось тяжелым, потому что от скуки праздные солдаты привязывались к буржуям, издевались и бывали случаи избиений.

Через несколько минут я опять остановилась.

— Эге! Ты гарно працуешь! — засмеялись красноармейцы. — Три хвилины робишь, полчаса стоишь. Ты думаешь — так можно?

Я смотрела на них, кусая пересохшие губы.

— Мне самой противно, что я так скверно работаю, — ответила я. — Досада берет. А руки не идут. Глупо даже!

— А ее бы нагайкой! — посоветовал один из толпы. — Сразу пойдет дело!

«Ой, скверно!» — подумала я, оглядываясь на окружающих солдат. Они смеялись.

— Ну, начинай опять, — приказал начальник с нагайкой. Я продолжала нагружать навоз, но работала плохо. Вилы как то переворачивались, навоз рассыпался, руки не подымались, несмотря на все мои усилия.

— Я тебе говорю, — услышала я за собой насмешливый голос. — Хвати ее нагайкой раза два, или прикладом легонько. Работать станет не в пример лучше! Что это за праця!

Красноармейцы хохотали.

— Вот я тебе покажу, как надо работать, — сказал, вставая, один из них и взял у меня из руки вилы. Я облегченно вздохнула, радуясь передышке. Он ловко набрал на вилы огромный куль навоза и положил на подводу, не уронив ни соломинки.

— Вот как надо. А то ты больше сыпешь под воз, чем кладешь на воз.

Затем он набрал на вилы такой же ком и всунул их мне в руки.

— Ну, теперь клади.

Я попыталась поднять вилы, но к своему ужасу почувствовала, что не в состоянии их даже повернуть.

— Позвольте мне разгрузить их немного, так я не подыму, — попросила я.

— Та що ж це буде? Когда ты кончишь? По соломинке на воз будешь складывать! Долго с тобой возиться — отхлестать тебя, сразу станешь работать! — смеялись солдаты.

Я растеряно смотрела на них. Опять становилось страшно.

— Пусть кладет, как хочет, — разрешил начальник усмехаясь. — А мы побачимо буржуйскую працю.

Я сняла с вил три четверти навоза и стала работать по прежнему. Но через несколько минут я так устала, что перед глазами заходили цветные круги и я еле держалась на ногах. Предстояло просить разрешения сесть. Перспектива очень неприятная. Я неловко подняла еще кучку навоза, вилы перевернулись и все попадало вниз. До подводы еле достиг маленький комочек.

— Ну, что же это она делает? — возмутился красноармеец, советовавший употребить нагайку. — Смеется, что ли?

Я далеко не смеялась.

— Позвольте мне сесть, — попросила я, чувствуя, что больше

стоять не в состоянии. — Я только на минуту. Пожалуйста!

«Неужели откажут — что тогда?» — мелькнуло у меня в голове.

— Ну, хорошо. Садись здесь, рядом со мной, — сказал начальник. Красноармейцы подвинулись и освободили место на бревне между начальником и тем, кто предлагал меня высечь. Соседство с последним было неприятно, но я так устала...

— Иш ты, как работаешь! — усмехаясь сказал начальник. — Еще часу нет, как пришла, а уже язык вытянула. А тебе лет 17-18, не маленькая. А вот меня отдали в мастерскую, когда мне было девять лет, и хозяин колотил, когда я плохо работал. А пораться приходилось целый день.

Я тяжело вздохнула. Он сказал правду и возразить было нечего. Это было самое слабое место в моих дискуссиях с большевиками.

— Неужели вы такой маленький начали работать? — вздохнула я

— Да. Рано. У нас семья большая.

— Если барышню нагайкой хорошенько поучить, то и будет работать как следует, — сказал мой сосед справа.

— Не думаю, — ответила я. — Я и сейчас была бы рада работать лучше. Нет сноровки. Это ничего — я привыкну.

Я встала и опять принялась за вилы.

— Черти, ироды, антихристы! — послышался бабий крик в противоположном углу навозной кучи. — Издеваетесь над нами! Зачем вы заставляете меня таскать этот навоз! Выпустили на наше горе каторжан из тюрем! Вот и мучат нас проклятые. Звери! Разбойники! За что вы меня терзаете?

«Вот несчастье», — подумала я, — «глупая баба! Чего она орет!»

Караульные заволновались и начальник угрожающе поднялся с места.

— Молчи, буржуйка, свиная харя! Кишки повыпустим! Сейчас наша влада! Молчи и работай!

— Я не буду молчать! Я не буду работать, — вопила женщина. Да вам моя работа и не нужна вовсе. Вы просто притащили меня сюда, чтобы издеваться надо мной. Звери! Подлецы!

Из толпы красноармейцев послышались угрозы.

— Ах, ты не хочешь! — крикнул начальник. — Это мы увидим! Сейчас же бери вилы!

Женщина, повидимому купчиха, с ужасом и ненавистью глядела на него. Хотя она явно боялась, но ярость была еще сильнее, и собственные крики монтировали ее.

— Звери, душегубы, каины! — кричала она вся трясясь.

«Это же несчастье!», охнула я. «Она их выведет из терпения.

И, действительно, начальник конвоя поднял нагайку и сильно ударил бабу прямо по лицу. Она громко вскрикнула и заголосила. Караул приходил в бешенство.

— Молчи, стерва, — крикнул красноармеец, но баба продолжала отчаянно выть. Удары посыпались на нее.

— За что бабу бьете? — дрожащим от возмущения голосом, вступился за нее один из работавших.

— А ты, что? Тоже захотел? — подскочил к нему солдат и ударил по голове тяжелой ручкой маузера. Тот охнул и свалился на навоз. Одна из женщин истерически взвизгнула и тотчас получила по спине прикладом. Остальные, работавшие замерли от ужаса, не смея дохнуть.

Я обернулась к своим соседям.

— Не смейте никто разговаривать с ними, — решительно, хотя и тихо, сказала я. — Не смейте! Я одна буду говорить! Слышите!

Во мне всегда коренилось убеждение, что безопаснее всего разговаривать с большевиками именно мне.

Работавшие рядом шесть буржуев, бледные от ужаса, кивнули головой. Окончив экзекуцию, весь красный, потный, с горящими глазами, размахивая нагайкой и маузером, начальник подходил к нам. Мы начали работать. Он сел на бревно. Все незаметно отстранились, пропуская меня. Я сделала шаг вперед, и очутилась с ним рядом.

Злобы или ненависти к нему у меня не было никакой. Вообще я никогда не сердилась на насмешки, брань или угрозы красноармейцев. Конечно, мне было очень жаль избитых людей, но нельзя же валять дурака с озлобленными солдатами, не считаясь совершенно с обстановкой.

— Я вас выучу, сволочей! — бормотал он. — Мало им еще пустили кровь! Смеют разговаривать! Варфоломеевскую ночь им надо! Вот что!

Слухи о Варфоломеевской ночи, которую для простоты, у нас иногда звали Еремеевской, давно носились в городе.

— А ты чего стала? — накинулся он на меня, когда я приостановилась. — Нагайки захотела?

Сделала я это нарочно. Берегла силы. Надо было соображать, как действовать. Кроме того, это был лучший способ отвлечь на себя их внимание. За себя я в такие минуты не боялась. Мне казалось, что я рискую менее всех, если сама буду с ними разговаривать. Лишь бы остальные молчали и не злили их.

— Я сейчас, — ответила я тихо. — Позвольте мне передохнуть.

— Ты будешь работать, или нет? — сказал он грозно.

— Конечно, буду.

— Так работай!

Я немедленно повиновалась. Помогали взвинченные нервы. Но через несколько минут я снова вынуждена была остановиться.

— Вы позволите отдохнуть? — спросила я.

Он смотрел на меня тяжелым, свинцовым взлядом.

— Если вы прикажете, то я должна буду продолжать. Но я очень, очень устала. Позвольте мне отдохнуть, — попросила я.

Остальные продолжали копаться в навозе, бросая на нас косые взгляды. Конвойный сплюнул, но ничего не сказал.

Я опустила вилы, воткнула их в навоз и, обогнув начальника,

села рядом с ним, как в прошлый раз. Он глянул на меня чуть-чуть удивленно.

— Я очень плохо работаю, — вздохнула я. — И мне это противно. Но надеюсь, что скоро выучусь. Сколько времени надо, чтобы хорошо привыкнуть?

Он сплюнул опять, закурил папиросу и спрятал маузер. Тяжелый взгляд его внимательно остановился на мне.

— Ты не больно болтай, — сказал он хмуро. — Лучше ступай работать.

— Сейчас, — ответила я вставая. — Спасибо. Теперь я отдохнула.

Снова началась возня с навозом. Но очень скоро я опять остановилась.

— Знаете что, — сказала я. — Позвольте мне взять те маленькие вилы. Эти очень большие и тяжелые. С теми маленькими легче.

— Бери.

Рядом со мной работал молодой человек. Он явно выбивался из сил, так как кроме меня, еще никто не отдыхал. Три женщины за ним тяжело дышали, дрожащими от напряжения руками еле передвигая вилы.

Я поняла, что они скоро остановятся и испугалась. Надо было избежать конфликта.

— Простите меня, — обратилась я к начальнику. — Вот мы все очень устали. Позвольте нам всем присесть отдохнуть.

— Ты все время сидишь, — буркнул он.

— Я — да. Но они ведь работали не отдыхая. Им вы позволите?

— Чорт с вами — садитесь!

Все с облегчением бросили вилы и в изнеможении опустились на землю. Я продолжала работать.

— А вы чего не сели? — спросил через минуту один из красноармейцев.

— Да ведь сказали, что я все время сижу, — улыбнулась я.

— Садитесь.

Я села рядом со средних лет женщиной, довольно крупной домовладелицей города. Она уставилась в землю гневным, скорбным, неподвижным, тоскующим взглядом.

Красноармейцы отошли в сторонку.

— Диаволы, черти! — еле слышно шептала моя соседка. — Ох, мерзавцы проклятые!

— Да ну! — примиряюще ответила я. — Зачем вы так волнуетесь? Все будет хорошо. Наверное скоро отпустят.

— Отпустят! Какое право эти каторжане имеют отпускать нас. Что они нам — господа!

— Да бросьте, чего вы сами себя мучите? Волноваться незачем!

— Я не могу вынести этого издевательства! — чуть слышно, с горящими глазами шептала она. — Как вы можете с ними разговаривать? Я бы умерла — не попросила бы их.

Я пожала плечами: — Успокойтесь, ради Бога!

— Унижаться перед этими скотами! — злобно бормотала она.

— Какое тут может быть унижение? — улыбнулась я. — В чем оно? Где оно? Я его не вижу вовсе!

— Это не унижение, что нас, интеллигентных людей, пригнали сюда на эту издевательскую работу?

— Нет. Не унижение. Этот навоз все равно кто нибудь уберет. Не мы, так другие. Убирать его не унизительно.

— Будто вы не понимаете, — еле сдерживая накипевшее негодование, шептала она. — Разве я не готова дома делать все, что угодно, для детей, для мужа! Здесь их намерение издевательское, их цель единственная — унизить нас!

— Как же они нас могут унизить, помилуйте? — успокаивала я бедную женщину. — Уберем навоз и пойдем домой. Вот и все!

— Однако, вы... толстокожая! — рассердилась она. — Не ожидала! Неужели в вас страх заглушает всякое чувство собственного достоинства?

Я только покачала головой:

— Зачем из этого делать драму? Ну что тут такого? Подумаешь, какое несчастье — убирать навоз!

— Нет! У вас какое то непротивленчество. Я на это не способна! — злобно шептала она.

— Вовсе не непротивленчество! А просто здравый смысл!

— Склониться перед их нагайками?

— Как с вами трудно! — вздохнула я. — Зачем вы сами себя растравляете? Лучше присмотритесь, какие это интересные люди.

— Кто-о! О-о! Что вы говорите?

— Дело говорю!

В это время начальник подошел к нам. Я встала.

— Надо опять? — спросила я со вздохом.

Он смотрел на нас презрительно, но не злобно.

— Еще не отошли? — спросил он усмехаясь.

— Нет. Если можно еще подождать, пожалуйста... — попросила я.

— Ой вы, горе-работники! — засмеялся он отходя прочь.

— Как вы можете его просить, мерзавца? — стиснув зубы шепнула женщина.

— А вы разве не устали?

— Да, но я бы лучше умерла, чем унижаться перед ним.

— Умирать по пустякам — глупо. А просить чего бы то ни было у своих же кровных русских людей мне никогда не стыдно. Сейчас они уж слишком расходились в этой бойне. Угорели, как в чаду ходят! Ну и могут избить или убить бессмысленно. С этим надо считаться и стараться их успокоить, а не показывать какой то глупый гонор!

Показывать страх перед каторжанами — недостойная слабость!

— Какая тут слабость, Господи! Свой собственный, родной, опьяневший от войны, человек злится, а я не должна попытаться его успокоить?! Попрошу его тихонько — он и перестанет! Какое тут унижение?

— Я ненавижу их, этих скотов!

— Ах! Вот что! Да! Тогда, конечно, трудно. А я их даже очень люблю.

— Не говорите таких вещей, — возмутилась она. — Это преступно! Что вы — большевичка?

— Нет, конечно. Но они наши — свои, русские. Ну, довольно. Они опять идут, надо работать!

Все встали. Тут только я заметила, как сильно устала. Я еле поднялась с места.

Красноармейцам прискучило смотреть на нас и они понемногу расходились.

— Ступай домой, — вдруг сказал мне солдат с нагайкой.

— Зачем? — удивилась я.

— Говорю — ступай. Хватит с тебя. Когда надо будет — пришлем за вами. А так — сиди дома.

— А завтра, когда надо приходить? Мне сказали, что надо ходить каждый день.

— Когда надо будет — приведут. Мы сами пришлем, товарищи зайдут. А так можете не приходить.

— Спасибо, — очень искренне сказала я. — Я действительно измоталась.

— Идем со мной, — усмехнулся красноармеец. — Я вас проведу, чтобы никто не остановил.

Он действительно проводил меня со двора, и через площадь, и отпустил уже на главной улице.

— Ступайте.

— Спасибо.

Я отправилась домой, шатаясь от утомления, но очень довольная этим эпизодом. Разговоры с большевиками давали результаты очень положительные. Интересные люди... Отчего только они так много расстреливают?



В это время в управлении городом и уездом произошли значительные перемены. Собрался совет рабочих и солдатских депутатов, и вместо Ревкома избрали Исполком. Тут чуть не закончилась трагически блестящая карьера Александра Григорьевича Грудницкого. Его на выборах провалили, он долго защищался, говорил, ругался, наконец, стал угрожать и вызвал караул. Но Богунский вызвал сотню из бригады. Дело чуть не кончилось кровопролитьем, и Грудницкий вынужден был бежать.

За спиной своих петлюровцев, ибо он в сущности был петлюровцем, он выскочил из зала заседания, явился к какому то буржую, который, узнав страшного Голову Ревкома, не посмел и пикнуть, когда тот отобрал у него лошадь и седло, и ускакал в Переяслав.

Городом стал править Исполком, в который вошел Богунский и целый ряд комиссаров, которых мы знали почти всех: комиссар юстиции — Сиппельгас, военный комиссар — Андрейко, комиссар снабжения — Жмурко, комиссар почт и телеграфа — Сидоренко,

железнодорожный комиссар — Григорьев. Белоус был комиссаром социального обеспечения, а комиссаром освиты — Злобинец.

***

Несколько дней просидела я в передней ЧК на площадке, в ожидании допроса и наблюдала за жизнью учреждения. Рядом, и в зале суда, на скамьях, сидели просители. Родственники арестованных тихо плакали. По залам прохаживался Сиппельгас и члены коллегии Лев Подкаминский и Карлинский. Шмыгали чекисты в военных мундирах, с красными повязками на рукаве. Вводили и уводили арестованных.

Но все было тихо и чинно. Сиппельгас умел держать в порядке учреждение. Было 7 марта н. с. 1919 года, когда я утром по обыкновеиню явилась в ЧК и вошла в зал суда. Никого не было, и я машинально разглядывала стены. Ужасно неприятная картина смерти налево! Зачем они ее посадили сюда! Страшно смотреть. Под ней стояла надпись, повидимому, из какой нибудь речи: «Всякая попытка контр-революции будет нами беспощадно раздавлена».

Эта картина меня и пугала и притягивала. Я не могла от нее оторваться.

— Рассматриваете живопись? — раздался за моей спиной голос.

Я обернулась. Передо мной стоял Председатель Трибунала.

— Ваше дело сегодня передается из Следственной Комиссии в Трибунал. На днях будет суд.

Я побледнела.

— Но вы не арестуете отца? Даю вам слово, мы никуда не будем бежать!

— Однако! Мы же не можем судить его заочно.

— Возьмите меня. Я буду отвечать за него.

— Вы хотите отвечать на суде вместо вашего отца?

— Да! Пожалуйста! Умоляю вас.

— Оригинально.

— Ну, чего вам стоит! — взмолилась я. — Я отлично буду отвечать!

Он подумал и, наконец, кивнул.

— Хорошо! Будь по вашему! Это несколько необычно, — но все равно. Пишите прошение.

Я села тут же и написала бумагу Председателю Трибунала, прося в виду тяжкой болезни моего отца, «в случае необходимости дать показание по его делу, вызывать меня, вместо моего отца».

На этом странном произведении Сиппельгас написал свою резолюцию: «Согласен. Сиппельгас».

Он взял эту бумажку и, пожимая плечами, прошел в следственную комиссию. Я последовала за ним.

— Вот, — сказал он следователю по особо важным делам Кохановскому. — По делу Максимовича давать показания будет не он, а эта. Вы уже передали дело в Трибунал?

Через три дня, по приказу чекистов, к нам явились два врача Земской больницы, осмотреть отца. Они составили следующее свидетельство, которое и приложили к делу:

Врач Золотоношской Земской Больницы.

Февраля, 28-го дня (ст. ст.) 1919. Свидетельство.

Дано сие в том, что гражданин г. Золотоноши П. В. М. перенес недавно тяжелую форму сыпного тифа, причем несколько дней жизнь его была в сильной опасности. Тиф осложнился кровоизлиянием в легкие, а также перерождением сердечной мышцы, сопровождавшимся сильным расширением сердца, возбуждением, слабым и неровным пульсом. В виду состояния своего сердца, а также общей слабости, должен находиться еще продолжительное время в постели, не подвергаясь никаким волнениям, так как даже незначительное физическое напряжение или душевное потрясение может повести к параличу сердца. (Подписи двух врачей).

С тех пор отца совершенно оставили в покое и на допросы в ЧК ходила я одна. Я нашла очень великодушным со стороны Революционного Трибунала позволить и отцу и мне жить дома. Впоследствии я спросила одного из чекистов, как это вышло. Он ответил, что просто меня пощадили, пожалели. Я, конечно, была им за это очень благодарна, ибо, несмотря на относительный порядок, заведенный Сиппельгасом, в тюрьмах и арестных домах все же было кошмарно. Произвольных расстрелов и избиений было меньше, чем при петлюровском хаосе — в этом отношении у большевиков было гораздо больше порядка. Но все же там была страшная грязь, вши, тиф. А в женских камерах, где сидели наряду с политическими и проститутки, происходили иногда возмутительные сцены.

Прошло несколько дней, следователь задавал мне кое-какие вопросы, но не возвращался совершенно к келебердянскому приговору. Это меня беспокоило. Что там происходит? Но спросить я не смела.

Вечером, к нам вдруг явился чекист и вызвал нашу кухарку — Нилу. Она отправилась за ним — оказалось, что ее вызывали для дачи показаний. Я спросила ее, что она сказала. Она рассмеялась, видя мое беспокойство, и ответила, что ее показание вреда нам не сделает.

— Но все таки — что же вы говорили? — не отставала я Тетка уверяла, что прислуге верить нельзя, потому что она теперь вся распропагандирована. К тому же Нила буржуев не любила, ибо у нее было двое детей от бывшего ее хозяина, с которыми тот бросил ее. В ЧК она, разумеется, могла говорить, что хотела. А стоит ей пожелать отомстить...

Сейчас ее показание лежит передо мною в деле:

ПРОТОКОЛ.

1919 року березня 12 дня. Я, Урядовец Слідчої Комісії при Золотоношіскім Революційнім Трібуналі робив допит по ділу бувшого ґенерала П. В. М. у свідчика мешканки. сЛиплявого, Прохорівської волості Неоніли Феоктістовни Нероди, яка показала:

Я Нерода, як движимого, так недвижимого майна не маю. Служу в цього М. почти год — прислугою і добре знаю, що **цей Максимович Васильківский в карательних отрядах участі не приймав і бід-**

них людей не бив, таяк він все время находився безотлучно дома в Золотоноші. Що же торкается того, шо селяне кажуть що якийсь М. В. приймав участь в карательных отрядах — то це, як мені відомо, приймали мабуть участь в ціх карательных отрядах его племінники — офицеры. Не раз мені приходилось бувать в с. Липлявом і Прохоровці, де всігда чула, що люди казали, що **М. В. дуже добрий и гарний чоловік** і крім того балакали всі, що **він контребуції не взискував, людей не бив,** а тількі і того, що селянам прийшлось свисти вільху, і то це селяне зробили по наказу Прохорівскої Волости. Зприводу того що балакают, що М. В. дружив з німцяме, то на це прямо скажу, що **це брехня,** таяк **він з німцяме ніколи не зустічався. До его в дом ніколи не заходили,** як це бувало з другими богатирями м. Золотоноші. І не раз я чула іхні домашні разговори, так з іх видно було, що цей **М. В. даже презирав німців.** Крім того всего добавлю, що я ще недавно познакомилась з одним козаком, він саміі з Переяславского повіту і служе тут в Золотоноші в казаках, фамилії его не знаю, хіба може взнаю як другий раз его побачу. Так він, цей козак, служив в тому полку, в якому був теперь обвиняемий М. В. командіром полку. Та він мені казав, що **він був дуже гарний командір і к солдатам относився дуже добре.** Більше сказать нічого не могу. (неграмотна))

Рядом с этим показанием в деле лежит опрос какой то Рахили Самойловны Либовны. Я понятья не имею, кто это такая. Может быть какая нибудь соседка. Или чекисты обратились к еврейке потому, что мы были монархистами и они думали, что отец мог быть активным иудофобом. Не знаю, конечно. Вот что она показала:

1919 року, березня 12 дня.

Я мешканка м. Переяслава, живу все время тут, в Золотоноші була раз в Прохорівці, там де его есть имение. То добре **знаю цього М. В., як дуже доброго чоловіка,** и не раз чула від селян, котрі не раз приходили к М. В., що вони казали: **«Максимович Васильковский дуже, дуже добрий чоловік», «до всіх бідних людей відносився даже черезчур гарно»,** сказать більше нічого не маю, в чім і підписуюсь.

(Рахиль Самойловна Либовна.).

Допит робив Урядовець (подпись).

Когда я перечитываю эти показания, то естественно преисполняюсь недоверия к принятым в эмиграции рассказам об ужасах ЧК. Всякий следователь всегда может, записывая наедине показание свидетеля, даже не искажая его, придать ему тот или другой оттенок. А когда речь идет о малограмотных или неграмотных крестьянах и Революционном Трибунале в период террора 1919 года, то ясно, что следователь мог писать почти все, что хотел. Во всяком случае ему очень легко было повлиять на любого свидетеля в невыгодную для обвиненного буржуя сторону. Вышеприведенные показания ясно доказывают, что никакого давления на свидетелей не было. Даже в таком опасном деле, как дело обвиненного в контрреволюции генерала и помещика, они не побоялись заступиться за него, и чекист беспристрастно записал их показания. Что последние

могли быть записаны в несколько менее для нас благоприятной форме, даже, если были высказаны именно так, ясно всякому.

На следующее утро, Сиппельгас вызвал меня в кабинет, отодвинул стул и положил на стол передо мной кипу бумаги.

— Садитесь и пишите ваше показание, — приказал он. Я принялась за дело.

Несколько часов сряду писала я это «прошение», как я назвала его, и осталась им довольной. Не знаю, представляют ли себе, как трудно писать в трибунале, окруженной чекистами, слушая рядом допрос других обвиняемых, и в атмосфере терроризованных подсудимых, ибо, несмотря на то, что за мое долгое сидение в ЧК, я не видала там никаких ужасов, панику она нагоняла страшную. Все ее ужасно боялись, гораздо больше, чем судов Грудницкого, где, однако, бывало больше жертв. Не знаю, почему это было. Но это факт.

И я была очень довольна, что мое «прошение» было написано прилично: прямо набело, как и полагалось, без помарок, каллиграфически четко, твердой рукой. Глупостей в нем не было.

Часы шли. Я писала медленно, но не останавливаясь. Чекисты ходили по кабинету, вводили и выводили арестованных. Подкаминский о чем то разговаривал с Сиппельгасом и сердился. В соседней зале кто то плакал.

Наконец, Сиппельгас подошел к моему столу и взял в руки уже написанные листы.

— Почему вы это называете прошением? — улыбнулся он.

— А как это называется? Я не знаю. До сих пор, я писала только прошения. Как надо?..

— Все равно. Не важно. Ну что? Скоро кончите?

— Еще немножко.

— Пишите.

Он быстро прочел готовые листы и, стоя за моим стулом, стал через мое плечо дочитывать остальное. Это мне было неприятно, но я заставила себя продолжать и, закончив, встала и подала ему лист.

— Вы устали? — спросил чекист, глядя на мою совершенно осовевшую физиономию, — а я хотел еще кое что у вас спросить...

«Вот несчастье!» подумала я. «Что я ему буду плести!»

Чекист пожал плечами и взглянул на часы.

— Ну хорошо, ступайте теперь. Приходите завтра в десять.

Дома я сразу повалилась в постель, еле проглотила обед, который мать принесла мне в кровать, и заснула, как камень. Вообще, во все время революции я спала, как убитая, только просыпалась очень рано, и тогда, обдумывая программу следующего дня, иногда плакала от тоски. Меня мучил келебердянский приговор.

Чекисты, повидимому, все таки обратили внимание на мое категорическое утверждение, что мы ничего селянам не сделали, и стали наводить справки по селам, а также послали запрос комиссару Освиты, на которого я ссылалась. Как видно из отцовского дела, в Прохоровку был отправлен агент ЧК № 5 Литой, который опросил селян и предложил сходу составить новый приговор на Максимовича.

Вот этот приговор:

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ ПРОХОРОВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ ГРОМАДЫ

18 березня 1919, № 14.

Собрание открыто Головою Громады Ф. Ф. Костюк, при Секретарю Негреенко, при 44 участниках собрания.

Выслушали предложение прибывшего на собрание Члена Трибунала о выяснении нами причин злоупотреблений, возникших со стороны П. В. М. по взятии контрибуции с населения с. Прохоровки, как то, за срубленный лес у него и за землю, данную для населения к пользованию согласно постановления Земельного Повитового и Волостного Комитетов. Против цего нам известно, что по настойчивым требованиям М. срубленные жителями ольхи для построек за деньги, которые и поступили на приход комитета от разных лиц, были привезены обратно во двор М. и деньги не возвращены населению. Он же М. требовал с громады с. Прохоровки за спаши какие то, что их и не было. Но деньги не внесены, лишь произведена быстрая доплата за землю, и деньги были внесены лицами взявшими пашиту землю. И как по сведениям по его (будто бы) настроению выезжал в Прохоровку карательный отряд. Но ничего не угрожал отряд, а лишь требовал непосильной для населения себе пищи, курей, яиц и про. За неисполнение сего ночью сами насильно требовали и брали. О чем уже нами и был составлен протокол на Максимовича о передаче о нем дела по подсудности, согласно протокола волостного собрания с его мнением. В чем сей протокол и утверждаем:

(Подписи). Агент ЧК Литой.

Этот протокол не понравился Литому, который препроводил его в Трибунал вместе со своим заключением, в котором жаловался на то, что селяне оказались слишком мягки.

Агент № 5. В Чрезвычайную Комиссию.

22 Марта 1919 г. Рапорт.

Представляя при сем протокол с. Прохоровки на проживающего в настоящее время в г. Золотоноше гражд. П. В. М[е] докладываю: что, в виду того, что в частных разговорах с крестьянами, от которых я узнал, что Максимович при гетманщине жестоко обращался с ними, брал контрибуции, вызывал карательные отряды, выступал с речами против народа пролетариата в Киеве при выборах гетмана, а также разгонял народных представителей, собравшихся в театре Маринича, предложил им составить протокол, котрый и будет представлен в трибунал, на что они согласились. Но те лица, которые о том заявляли, ушли со схода, говоря: а чорт там с ним; не дай Бог ихняя возьмет верх, тогда неизвестно куда придется утекать. Присовокупляю, что местным писарем, писавшим протокол, после прочтения его было вставлено по своей инициативе слово «будто бы», в чем он не мог мне объясниться. Агент ЧК Литой.

Чрезвычайная Комиссия 27 марта направила рапорт агента и протокол собрания в Следственную Комиссию.

Тогда чекисты решили вызывать свидетелей просто к себе в Золотоношу, чтобы, разговаривая с ними лично, добиться правды. Это, конечно, было самое справедливое решение. Дальше в деле лежат записанные рукою чекистов показания различных крестьян,

вызванных ими из Прохоровки, Бубнова и Келеберды. Вот эти показания:

ПРОТОКОЛ. 1919 года, Апреля 3-го дня. В Следственную Комиссию при Золотоношском Революционном Трибунале явился жит. села Бубнова Савва Иванович Прус, в собственниках не был.

По делу П. В. М. показал, что он лично Павла М. не знает и о его действиях во время гетманщины тоже не знает, но знает какого то М. родом из Прохоровки, который был начальником карательного отряда. (подпись)

Жители того же села Тимченко, Григорий Тимофеевич и Руденко, Иван Иванов показания Пруса подтверждают и больше ничего знают. (подписи)

ПРОТОКОЛ. 1919 года, апреля 4-го дня.

Я, урядовец Следственной комиссии, сего кисла опрашивал свидетелей по делу П. В. М., обвиняемого в контр-революции.

Житель с. Келеберды Красовский Тимофей Емельянович, 38-ми лет от роду, православного, под судом не был, при гетманской власти жил дома, земли и собственности не имеет, показал:

М. я никогда не видел, и не знаю, что он за человек. Я знаю только его имение — землю. В прошлом году в июне или июле, не помню числа, от М. была получена бумага на имя головы сельского о том, что общество должно заплатить по 150 р. за каждую десятину луга — всего было 14 десятин, которые как будто бы были потравлены обществом. Тогда как на этих 14-ти десятинах было не больше одного воза сена, которое было куплено жителями нашего села Прошаком Давидом, остальная же площадь луга была занесена песком. Кроме того М. требовал с нас деньги за срубленный лес, за каждый дуб 100 рублей, тогда как не было срублено ни одного дуба. Что же касается порубки ольхи, то таковая была срублена в количестве не более 60 штук, для постройки хат, на что жители, которые рубили ольху, имели разрешение от сельского комитета. О том, что на лугу М. было не более одного воза сена было засвидетельствовано доверенным. Фамилии доверенного не помню. Кроме всего этого в июле месяце от общества ездило два человека доверенных с просьбой о том, что требование М. с нас денег незаконное, так как на лугу, действительно, не более одного воза сена и что дубы мы не рубили. Но М. после этого уже не требовал с нас денег. Причем добавляю, что дубы и поныне стоят, и порубки леса больше никто не производил.

Красовский.

Показание Красовского подтверждаю Лубенец.

ПРОТОКОЛ

1919 года, апреля 9-го дня.

Я, урядовец Следственной Комиссии при Золотоношском Революционном Трибунале, сего числа опрашивал свидетеля Николаенко, Петра по делу П. В. М.

Житель села Прохоровки Николаенко, Петр Трофимович, 54-х лет, под судом не был, землю имеет две десятины, показал:

П. В. М. я знаю хорошо, так как живу с ним по соседству. Но что он за человек я не могу ничего сказать, так как экономией он вла-

деет недавно, не более **6-7 лет. И** за это время он приезжал раза три или четыре в село Прохоровку, но с тех пор как заступила Гетьманская власть, он ни разу не был. За время владения его экономией он **никогда ни с кого не брал платы за ту шкоду, которую причиняли жители своим скотом на его земле. Контрибуции он также ни с кого не брал.** Когда жители порубили у него ольху, он приказал, не знаю, писал ли он или через управляющего, свести срубленный лес к нему на двор и ольха была свезена, за исключением леса, из которого некоторые жители выстроили уже хаты. При этом М. **ничего не взял и с тех лиц, которые построили хаты.** Что касается участья М. в карательных экспедициях, то этого не было и об этом **знает все общество ,что когда приезжали карательные отряды, то М. там не было, и в таковых, я утверждаю, что он не участвовал.** Николаенко.

ПРОТОКОЛ

1919 года, Апреля 13-го дня, я, урядовец Следственной Комиссии при Золотоношском Революционном Трибунале, сего числа опрашивал свидетеля Прошака Давида по делу Максимовича, Павла Васильевича.

Житель села Келеберды, Прошак Давид Артемов, 35 лет от роду, под судом не был, земли не имеет, показал:

«В прошлом году в июне или июле месяце от Максимовича Павла Васильевича была получена бумажка, что келебердянское общество должно заплатить за потраву луга 6.000 рублей, тогда как луг этот совсем не был потравлен, а занесен песком.

Тогда Келебердянское общество написало ему, что на этом лугу находится не более одного воза сена на двух или трех небольших местах, «ласточках», остальная же площадь покрыта песком. **Когда обо всем этом было сообщено Максимовичу, то он уже не требовал за этот луг ничего. Такая сумма, как 6.000 рублей, требуемая Максимовичем только лишь потому, что Прохоровское общество сказало ему, что как будто бы мы спасли луг. Но так как Максимович на этом лугу никогда не был, то он и не знал, что там находится.** Больше по делу Максимовича ничего не могу сказать. (подпись)

Таким образом, хотя я этого, конечно, не знала, мои слова были подтверждены селянами. Также получил подтверждение и мой рассказ о спорах отца со старостой. В ответ на запрос ЧК, комиссар Осеиты прислал следующее письмо:

До Слідчої Комисії при Золотоношьскому Повітовому Трибуналі.

У видповідь на листа Вашого од 4 квітня за № 469 маю за честь подати вам такі відомості.

П. В. М. я знаю мало, бо раніше він не жив в Золотоноші. Приїхав тільки тоді, як скінчалась война, а саме то рік. Минуле літо я весь час бачив його в Золотоноші. Познайкомився з ним випадково. Коли пролетарски войска взяли штурмом Золотоношу в осени, то мене вони выпустили з тюрми, куди мене посадили були хлібороби і староста. Вийшовши з тюрми, я почув од людей, що в Земстві якісь збори і кличуть туди усих. Я теж пішов. Де-хто з людей, побачивши мене, зраділи, почали распитувать, що мені робили в тюрмі, то що. Між инншими пидийшов и М., отрекомедовався і теж забалакав. Ото

й було всього нашого знакомства. Між иншим він тоді ж сказав мені, що трохи и его староста не посадив. Я меж иншим сказав йому, що **я про це випадково знав давно, і расказав, як це саме я взнав.**

Діло було так:

З самого початку гетманскоі реставрації хлібороби та чорна сотня точили на мене зуби. Перші часи я переховувався, а коли вони трохи втихли, то я приіхав у Золотоношу і тихо жив собі, дбаючи, аби не попадатись на очи. Одного разу я прочитав в газет «Нова Рада» видержку з заклику Головного Комітету Сел. Спілки до селян, де селяне закликались не робить приватных виступів, які тілько зменшують сили народу, а организоватись і чекати случного часу. Але я рішив хотчь самому потерпіти, а оповістить селян, яких тоди саме люто катували хлібороби про те, що им треба робити. Я взяв та й дав его вирізку в Золотоношьску газету, знаючи, що хочь Троян і числиться разом з Василенком редакторами циі газети, наставленнии хліборобами, але вони іі ніколи не читають, редахтуе ж іі свій чоловік. До панування хліборобів я мав близьке відношення до газети. Через те друкарь і взяв мою оповістку і надруковав без подпису редакторів. Як вийшла газета, то хтось додивився до циеи статті та й почали насідать на Трояна та Василенка. Василенко підняв гвалт, зараз же покликав міліцію, зробили гармидер, написали протокола в Земстві, а потім налетіли на мене і потягли до старости на расправу, обвивувачуючи в агітації противістнуючого уряду.

Староста підняв крик на мене. Я попрохав його мать на увазі, що кричати він не сміе і указав йому, що се проста перепечатка. На мое щастя вони не знали, що за сю «перепечатку» «Н. Р.» було дуже оштрафовано. Се трохи опишило старосту, але лютуючи, він почав страхать мене судом і між иншим, мабуть щоб ще більше злякати, **став кричати, що він не побоіться оддати під суд** і вжити всі своеі влади **не тілько проти «якось комісара осьвіти», а навіть проти таких, як пан М., хочь він і генерал і генеральский син!** Всих революціонерів і ворогів сучасноі влади він мовляв, роздаве. З його крику я уяснив собі, що **він хоче арештувати М.** Про це його «бажання» я ще потім випадково чув розів два од ріжних людей. **Казали, що Максимович був проти шомпольноі политики старости,** и за те староста гнав на його погудку. За весь час гетманщини я далеко стояв од місцового життя, а як мене оддали під суд, а потім посадили, то я й зовсім став у стороні, але все же де-що чув наскілько памятаю, чув іменно, що Максимович завжде воював з чорной сотнею. **Ніякими отрядами він не завідував,** бо був весь час у Золотоноші. То завідував карним отрядом його однофамилец і родич Михайло М. Се добре знаю, бо й сам бачив його з гетманськими гайдамаками та й казали мені се моі знайоми, що добре його знали і стрічали з отрядами на селах. Оце все що я знаю.

Можно його формулировать так:

1 — Майже все літо я бачив М. у Золотоноші.

2 — Отрядами завідував Михайло М.

3 — Я сам чув от старости, що він хоче арештувати П. М., як революціонера. За що саме — не знаю. Уже чув потім од ріжних

людей, що будто би М. сильно суперечив проти тией «шомполізації», яку робили хлібороби над селянами.

Сам я з ним, як уже казав, майже не знакомий, хоч звичайно в Золотоноші всі усіх знають. (подпись комиссара Освиты))

6 апреля 1919.

— ......

**
*

Сегодня опять тревога. Из военного комиссариата получен призывной лист следующего содержания: «По распоряжению Полтавского Губвоенкома, призывается на действительную службу генерал Максимович, Павел Васильевич. Обязан явиться в Золотоношский Уездный Военный Комиссариат тотчас по получении сего листа для отправления на службу. За промедление даже одного часа вы будете строго наказаны по закону военного времени».

Военный Комиссар Андрейко. Военный руководитель Фест.

Я полетела в комиссариат со свидетельством от врачей о невозможности отцу встать с постели, и передала его комиссии заседавшей для приема на службу. Но мне не повезло. Один из членов комиссии, наш сосед, объявил, что никаких исключений делать не надо, и, что отец должен явиться в комиссариат, хотя бы лежа, а они сами уже разберут, со своими врачами, годится он или нет. Он довольно ехидно заметил, что сам лично видел отца, стоящим у окна, следовательно, с постели он встает.

— Не умрет же он, если приедет на извощике. Я отлично знаю о ходе его болезни. Сейчас ему гораздо лучше. Приехать на извощике может. Пусть едет — иначе его арестуют.

Дело было плохо, и тем хуже, что сведения члена комиссии были вполне правильны. Отец уже начал вставать с постели, и доехать до комиссариата мог, но сделать это всетаки нельзя было, потому что тогда ему пришлось бы ходить и в Чека, где терпели необычное мое заместительство по причине болезни. Скрыть от чекистов приезд отца в комиссариат было немыслимо. В Золотоношской дыре всегда знали, что мы едим на ужин, а не то, чтобы могло пройти незаметно появление отца на улицах и в комиссариате. А раз он может явиться к военкому, то, естественно, должен мочь явиться и на суд. А нам категорически советовали не допускать появления отца в судейской зале.

— Очень просто! Застрелят с места пьяные из толпы, а там разбирайся. Этого никто не может предотвратить, хотя Сиппельгас и не любит самоуправства. Идти на суд перед толпой озлобленных красноармейцев нельзя, — говорили мне не раз.

Но на все мои просьбы, комиссия ответила суровым отказом, и приказала отцу немедленно явиться. Я вернулась в полном отчаянии. Единственным выходом являлось обратиться к самому военкому, но этот шаг был мне очень неприятен. Андрейко был мужем моей соученицы Елены Мильгевской, с которой у меня было столько стычек в гимназии, и которую при гетмане я сильно обидела. Было более, чем вероятно, что возмущенная нашей последней ссорой Елена

рассказала ему о ней, что никак не могло расположить его в нашу пользу, ибо я тогда категорически отказалась с ним познакомиться. С одной стороны, он один мог прекратить дело, и просить надо было именно его. Но с другой, напоминать ему о нашем существовании в связи с такой неприятной историей могло быть прямо опасным. Если у него к нам есть хоть малейшая неприязнь, то это великолепный случай, чтобы отомстить, без всякой притом несправедливости. Ему стоит только сослаться на резолюцию комиссии, и приказать арестовать отца за неповиновение.

Я колебалась. Самым неприятным образом всплывали передо мной сцены моих стычек с Еленой. Я знала, что и она в городе, с ним. Что будет и к кому обратиться?

Мы сидели в нерешительности уже более часа, как вдруг на дворе показались красноармейцы. Они предъявили ордер, подписанный военкомом арестовать отца за уклонение от призыва и доставить немедленно в тюрьму. Начальствовал над арестовывавшими опять Емец, который приходил в декабре с ордером Грудницкого. Мы стали умолять его не тащить отца в тюрьму немедленно, ибо он очень болен, а позволить мне пойти к Андрейко и предъявить медицинские свидетельства. Емец сжалился и согласился. Я побежала в комиссариат.

По дороге я встретила председателя комиссии по приему на службу. Он сурово взглянул на меня.

— Вы приказали арестовать отца? — сказала я.

— Конечно.

— Но ведь он действительно болен!

— Раз болен — поместят в тюремную больницу, вот и все.

— Помилуйте, зачем это нужно! Ведь вы знаете, что он на военную службу не годится!

— Генералы и вообще буржуи любят, чтобы для них делали исключения. Не из того теста сделаны! Он должен был приехать, и его бы признали негодным, если он болен. Он не пожелал подчиниться, пусть за это и поплатится. Посидит в тюрьме.

— Неужели вы не согласитесь отменить арест?

— Нет. Он пойдет под суд за это. Пусть оправдывается на суде.

— На каком суде? В Черезвычайной Комиссии?

— Нет, на военно-полевом. Я там председатель — вот и разберем...

— Вы председатель военно-полевого суда?..

— Да. Об этом нечего болтать, но вам я сказал... по знакомству. Ну, до свидания.

Он ушел, смерив меня очень неприятным взглядом. Я поплелась к Андрейке в самом подавленном настроении.

Военный комиссариат помещался в большом здании на площади недалеко от Управы. Поднявшись по грязной и темной лестнице, я вошла в небольшую комнату, где сидело и стояло множество красноармейцев. Некоторые рассматривали какие то бумаги над столом, освещенном закопченной керосиновой лампочкой, ибо уже наступил вечер. Другие болтали и лущили свои постоянные семячки.

Комиссара не было, но меня согласился принять подписавшийся вторым на ордере военрук Фест. Подождав немного, в сопровождении красноармейца, прошла по какому то узенькому корридорчику в большой, просторный кабинет. Фест сидел за столом, и еле взглянул на меня.

— В чем дело? — спросил он.

— Я пришла просить вас отменить приказ об аресте отца. Он болен и только поэтому не пошел на осмотр комиссии. Вот медицинские свидетельства.

— Вы уже представили их в комиссию, и комиссия нашла их недостаточными.

— Так какие еще надо достать! Я достану. Всякий врач даст. Может быть, нужно у особого военного врача?

— Максимович должен был явиться. Не явился — тем хуже для него. Посидит в тюрьме.

— Зачем вам держать в тюрьме больного человека? Он к службе явно не пригоден.

— Дело не в этом, а в том, что он оказал неповиновение революционным властям, и должен за это ответить.

— Так что же будет?

— Военно-полевой суд.

— Боже мой! За что? Ведь, он не мог явиться.

— На суде разберут.

— Так что ничего сделать нельзя?

— А что же вы хотите еще делать? Хотите видеть комиссара? Отлично. Он сам это приказал.

— Но ведь отец болен!

— Эх! Старая песня! Все буржуи болеют, когда их арестовывают или зовут на службу. Уж такая у них натура! Нежные очень!

— А можно мне будеть увидеть комиссара.

— Не знаю, захочет ли он вас принять. Некогда, знаете, балакать по пустому. Он сейчас в Управе. Попытайтесь, если хотите. Но заранее говорю, что он не отменит ареста. Все обязаны повиноваться революционной пролетарской власти.

Я вышла совершенно уничтоженная. В выходных дверях меня нагнал один из солдат. Он слышал мою просьбу и строгий ответ Феста, и, видимо, пожалел меня.

— Барышня, — сказал он. — Вы не очень лякайтесь. Комиссар не злой, а вот жинка у него так дуже гарная. Пидите до ней. Вона здесь живе, рядом. Она жалостливая. Попросите ее. Она ему скажет, и он это устроит.

Я горько-горько вздохнула, и, поблагодарив его за участие, отправилась в Управу. Как мне просить Мильгевскую? И что из этого может выйти, когда эти люди, которым я никогда ничего не сделала, так резко отказывают мне.

По пути в Управу я встретила молодую девушку, и с некоторой надеждой подошла к ней. Это была Палевич, теперь сотрудница ЧК, бывшая моя соученица, близкая подруга Мильгевской. Я решила по-

просить ее замолвить за меня слово перед Еленой, на случай, если, действительно, придется к ней обратиться.

— Мне хотелось бы поговорить с вами, — тихо сказала я.

— А что такое?

— Военком Андрейко арестовал моего отца. Отец очень болен, и я прошу, чтобы этот арест отменили. Но это трудно сделать. Все зависит от комиссара. Мне сказали, что лучше всего обратиться с просьбой к Елене Андрейко-Мильгевской. Вы ее подруга. Можете ли вы попросить ее принять меня.

— Вы хотите просить Мильгевскую, — криво улыбнулась Палевич.

— Мне нет выхода, — ответила я.

— Ну, что же, обратитесь к ней. А я, уж, ее очень давно не видала.

— Вы знаете, почему мне тяжело обращаться к ней... — начала я.

— Знаю. До свидания.

Палевич ушла.

Я вошла в здание Управы. Там собрался какой то крестьянский съезд, и буквально весь пол был покрыт лежащими, сидящими на торбах, мешках и кульках, жующими селянами. Кроме них была масса красноармейцев и матросов. Наверху шло заседание. Я с огромным трудом пробралась наверх, и узнала от стоявшего у двери караульного, что комиссара Андрейко в зале еще нет. Его ждали с минуты на минуту из бригады, где он разговаривал с Богунским.

Медленно потянулось тяжелое время ожидания.

Кругом слышались шутки и брань красноармейцев. Они лежали на ступеньках, курили, пели песни. Опять мучительно загремело у меня в ушах их любимое: «Товарищи буржуи... теперь наша победа! Теперь наши законы! Повесим генералов!»

Я было села на какой то ящик, но меня согнали пожелавшие сесть туда матросы. Я отошла в угол, под лестницей, и устало присела на какой то мешок. В толпе матросов, от которых изрядно несло вином, послышалась ругань.

Я ясно чувствовала, что придется обратиться к Мильгевской, и это меня угнетало.

Кроме постоянных неприятных стычек в гимназии, меня особенно тяготило воспоминание о нашей последней встрече, когда я повела себя с ней, действительно, очень нехорошо. Это было при гетмане, в июле месяце.

Я стояла у ворот нашей усадьбы, когда ко мне кинулась знакомая фигура Мильгевской. Она вся сияла счастьем и круглое лицо ее горело румянцем.

— Аничка, душенька, милая!

Елена хватала меня за руку и тянула с собой.

— Аничка, ты знаешь, я вышла замуж! Если бы ты знала, какой он хороший, замечательный! Ты должна с ним познакомиться. Он такой умный!

Только что проходил отряд немцев, на который я смотрела с не-

навистью. Я вспомнила, что Елена и ее Андрейко украинцы - сепаратисты. Злоба охватила меня. Я сделала гримасу и выдернула руку.

— Простите, мне некогда, — ответила я грубо.

— Аня, — пробормотала она растеряно. — Почему? Зачем вы так со мной!

— Я не понимаю, что вам от меня угодно, — резко сказала я — У нас так мало общего...

У Елены на глаза навернулись слезы.

— Аня! Не хорошо! За что вы на меня сердитесь? И там в гимназии, и теперь... Раз вы не хотите, я уйду, и никогда больше не буду разговаривать с вами. Никогда!

— Вот и отлично. Отстаньте от меня, пожалуйста! — ответила я отворачиваясь. — Вы желаете одного, я совсем другого. Нам говорить не о чем. Прощайте!

— Злая! — крикнула мне возмущенная Елена. — Хорошо, больше вы меня не увидите!

....

А теперь!

Обычно я очень легко и спокойно шла на перспективу унижений и неприятностей, когда обращалась с просьбой к большевикам. Мне хотелось лишь одного: добиться, чтобы эти свои родные люди, которых я люблю, не ненавидели меня, и не трогали нас. Я знала, что это дается нелегко, и, что сначала приходится наслушаться неприятностей. Но это меня не смущало. Виновной я себя вовсе не чувствовала и считала, что эта вражда тяжелое недоразумение, но на преследования не сердилась. Что же делать, раз идет такая завируха. Я сама ничего понять не могу. Ну, а они вот решили, что мы им враги и злятся. Это очень тяжело, но вовсе не удивительно, в виду создавшейся обстановки. И просить их мне не казалось ни обидным, ни дурным.

Но здесь было совсем другое дело! Я была виновата перед Еленой. В течение долгих гимназических лет, она старалась сблизиться со мной, оказывала мне внимание, и обращалась с просьбами помочь. Я довольно часто и резко в этом отказывала, а когда выяснилось, что у нас разные политические взгляды, то даже перестала подавать ей руку.

Так чего же я теперь от нее хочу?

Хочу говорить с ней, когда не желала этого пять лет. Прошу ее помощи, когда раньше сама в ней отказывала, хочу, чтобы она внимательно отнеслась к моей беде, тогда как всего несколько месяцев назад, сказала ей, что между нами нет ничего общего, и не захотела принять участья в ее делах.

Вот это, действительно, было унижение.

К Земству подкатили шикарные сани, окруженные всадниками. Из них вылез Андрейко с женой, и вошел в переднюю. Они должны были пройти мимо меня. Мне хотелось провалиться сквозь землю, но делать было нечего. Когда они поравнялись со мной, я встала.

— Аничка, это ты, голубушка! — услышала я над собой голос Елены. — Смотри — это Максимович, — обратилась она к мужу.

— Идем с нами. Ты чего здесь сидишь. Ждешь кого нибудь?

Она схватила меня за руку и потащила наверх по лестнице.

— Вас, — ответила я, чувствуя себя мучительно неловко.

— Ну, так идем скорее! Так это ты нас дожидалась? Кого? Меня или его? Идем, идем, в чем дело?

Мы вместе вошли в маленький кабинет рядом с залой заседания. Военком смотрел на меня очень любезно. Елена весело вспоминала гимназию.

— Помнишь, Аничка, как трудно было по алгебре. Ужас! Он такой противный был. А естественник Парков — вот скука! Тебе тс ничего. Ты — молодец, все понимала! А я глупая — намучилась! Знаешь, — обратилась она к комиссару, — Максимович мне всегда объясняла... она хорошо объясняет. А как вы теперь живете?

— Отец очень болен, — ответила я смущенно, — и я пришла просить вас не арестовывать его...

— Зачем арестовывать? — спросила Елена.

— Будьте добры, — попросила я военкома, — снимите арест. Уверяю вас, что отец не в состоянии был придти на комиссию, а то бы он, конечно, пришел. Разве мы сумасшедшие, чтобы не идти на призыв! Вот и медицинские свидетельства...

Я протянула свидетельства комиссару. Елена быстро взглядывала то на него, то на меня.

— Ах да, — кивнул комиссар. — Это там с комиссией история! Требовали немедленного ареста. А что? Он уже в тюрьме?

Я не посмела сказать, что Емец согласился отложить отправку в тюрьму до нового приказа воекома, и сказала, что ушла сразу после прихода красноармейцев, а потому не знаю, что произошло потом.

— Неужели ты не можешь снять арест? — спросила Елена.

—Могу то могу, но комиссия протестует... говорит — неповиновение.

— Неужели вы думаете, что мы способны оказывать такое бессмысленное неповиновение? Зачем? С какой целью? Чтобы попасть в тюрьму? Весь город знает, что отец болен уже с декабря месяца. Он не мог придти! Какие нужны еще свидетельства? Неужели вы посадите в тюрьму больного человека только потому, что он не мог явиться к вам?

— Сделай, милый, — попросила Елена. — Сделай! Она хорошая, и всегда мне помогала. Помоги им.

Мне стало очень стыдно.

— Хорошо, я отменю арест пока, и поговорю с комиссией, — сказал, наконец, военком. — Оставьте здесь свидетельства, а я завтра протелефонирую в тюрьму, чтобы его отпустили, и пришлю военного врача освидетельствовать его на дому.

Я смутилась.

— Видите ли... я не знаю, повели ли его уже в тюрьму...

— Как так? Когда же за ним пришли?

— Да уж некоторое время тому назад... но, кажется, там согласились обождать, пока я пройду к вам, просить вас...

Андрейко усмехнулся.

— К вам Емец пришел? — спросил он.

— Да, Емец.

— Он говорил, что ваша мать хорошая женщина, всегда угощала его, когда он приносил деньги, а на праздники дарила рубли.

Я не знала, что сказать.

— Так как же мы сделаем? — спросил Андрейко.

— Дайте мне бумагу, что вы отменяете арест.

— Ну, нет, это — нельзя! — засмеялся военком. — Ничего, я пошлю кого нибудь.

Он вышел и отправил одного из сидевших на лестнице матросов к нам со словесным приказом не арестовывать пока Максимовича, а ждать дальнейших распоряжений.

— Ну, вот и сделано дело. А теперь пора на заседание. Идем Елена!

— Прощай, голубушка, — обняла меня Елена. Это был первый раз за всю нашу жизнь, что мы поцеловались.

— Спасибо, и простите меня... — сказала я ей.

— Приходи к нам, я так буду рада! Приходи! — крикнула в дверях Елена.

Со вздохом радостного облегчения я отправилась до́мой. Какое счастье, что все так хорошо обошлось, но мне было ужасно стыдно перед Еленой. Как это глупо и гадко выходит! Зачем я раньше так поступала! Опять мне стыдно перед этими людьми! Нехорошо!

***

Через несколько дней, за мной пришло два красноармейца и повели на принудительные работы в свой отряд. Он помещался в бывшей женской гимназии. В каком ужасном виде были эти близкие, так хорошо знакомые залы. Грязь и вонь царили невозможные. Меня отвели на второй этаж, где в конце коридора столпилась кучка буржуев. Солдаты подвыпили и издевались над ними, размахивая оружием.

— Что мы должны здесь делать? — спросила я соседа.

— Не знаю! — вздохнул он, с тоской озираясь вокруг. — Не знаю, чего они от нас хотят!

Наконец, из толпы красноармейцев выступил какой то начальник. Он держал в руке шомпол. У пояса висел маузер.

— Ну, буржуйская сволочь! — сказал он. — Вы нам уберете отхожие места. Они загрязнились, и вы их нам почистите. Давай ключ!

К моему удивлению, они не повели нас в уборные гимназии, а просто открыли дверь соседнего класса. Я ахнула! Оттуда пахнуло невыносимой вонью. Уже несколько недель, они вместо уборной употребляли просто пол этого класса. Там была невообразимая клоака.

— Ступайте убирать! — приказал красноармеец, помахивая шомполом.

В толпе буржуев послышался плач.

— Ради Бога молчите! — шепнула я. — Не говорите ни слова!

— Отлично, — сказала я начальнику. — Где нам взять лопаты, тачку и тряпки?

— Ничего не надо, — грозно сказал красноармеец, и звучно выругался. — Убирайте руками и выносите вон сюда в ведро. А не захотите, так...

Несчастные, приговоренные к такой пытке, отшатнулись от двери, глядя на солдат широко раскрытыми от ужаса глазами.

— Как вам угодно, — сказала я. — Конечно, так пойдет медленнее. Но это ваше дело!

И к удивлению присутствующих я тотчас закатила рукава, и не поморщившись, вошла в клоаку и принялась руками вытаскивать вонючие комья. Надо сказать, что мне это делать было легче, чем большинству людей, так как я очень плохо чувствую запахи.

Красноармейцы смотрели очень внимательно. Буржуи не смели шелохнуться. Раз десять я вытаскивала грязь из комнаты и совсем наполнила маленькое ведро.

— Готово, — сказала я. — Теперь куда складывать?

Солдаты молчали.

— Дать им, что ли лопаты? — предложил один.

— Дай.

Нам протянули четыре лопаты.

— Спасибо, теперь пойдет гораздо лучше, — сказала я.

Быстро наполнили еще ведро. Двое из кучки буржуев подхватили их и понесли вон. В это время один из красноармейцев подвез тачку. Мы стали наполнять ее, решительно разгребая навоз. Солдаты заткнули носы. Некоторым женщинам сделалось дурно.

— Тьфу, вонь, — сказал солдат. — По всему дому несет!

— Вот и нужно убрать, — решительно сказала я. — Это тиф разведет по городу. Как можно!..

Большинство красноармейцев отошло в сторону. Кучка неработавших буржуев молча жалась к стенке коридора, радуясь, что все идет благополучно. Прошло не более получаса.

— Эй, что вы там робите? Нет сил никаких! — крикнули голоса из соседних палат и снизу лестницы. — Вонь разводите!

— Да ну вас к чорту! Выходите отсюда, — позвал нас караульный.

— Куда? — спросила я.

— Выходи, говорю.

Мы вышли. Он захлопнул дверь.

— Холера какая! Полить разве известкой!

— Не знаю чем полить, — сказала я. — Но следовало бы! Вы же здесь заразитесь. Это ужас!

— Ступайте, помойтесь, — сказал мне солдат, с отвращением и некоторой жалостью глядя на мои вонючие руки.

— Куда можно пойти?

— Куда хотите!

По знакомому коридору и лестнице, я отправилась вниз, к водокачке, и с удовольствием начала мыться, несмотря на холодный день. Красноармейцы стояли рядом.

— Послушайте, — сказала я. — Ведь это надо убрать! Вы же заразитесь!

Они молчали. Один из хлопцев покачал головой, принес бутылку со спиртом, и щедро слил мне на руки.

— Так лучше, — сказал он. — Хвороба какая!

— А теперь что надо делать? — спросила я.

— Ступай домой, — сказал солдат с наганом. Остальные кивнули головой. Я поблагодарила и, забежав домой, чтобы успокоить мать, отправилась к Белоусу.

Он был занят. Пришлось подождать. Наконец, уже поздно вечером, удовлетворив посетителей, он принял меня.

— Что такое? — спросил он.

— Была на принудительных в гимназии. Михаил Павлович, надо обратить внимание! Это чорт знает, что такое. Представьте себе, что нас послали убирать под названием «отхожие места». Но это вовсе не уборные, а просто они устроили клоаку в одном из классов, прямо на полу. Вонь невероятная! А они спят тут же рядом в корридоре и в соседних классах. Прямо кошмар!

— Вас заставили это убирать? — поморщился Белоус.

— Да. И они ничего не понимают. Приказали убирать руками.

— Переборщили хлопцы! — вздохнул Белоус.

— Я вам говорю. Так оставить это невозможно. Надо немедленно принять меры, сейчас же.

— Хорошо, — сказал Белоус. — Да, это уж действительно... Я поговорю

Я удивилась, что он так вяло отвечает. По моему, опасность была угрожающая. Трудно придумать большую антисанитарию.

— Уверяю вас, Михаил Павлович, — попробовала я настаивать. — Это ужас! Ведь я сама там была. Только что оттуда. Ведь это возмутительная вещь!

— Хорошо, хорошо, я скажу, — хмурился комиссар. — Это отменят.

Я рассмеялась.

— Неужели такие вещи нужно отменять! Что же это приказал кто нибудь, что ли? Наверное сами хлопцы сдуру сделали.

— Нет... есть распоряжение... — начал Белоус, но остановился, видя мое лицо. — Не гадить на пол, конечно, а работы...

— Так вы думаете, что я к вам жаловаться пришла, — вздохнула я. — Эх, Михаил Павлович!.. Нет, я пришла вас предупредить, что люди валяются прямо на полу, рядом с помещением, в котором ужасающая клоака. Они не понимают, что это зараза — иначе они бы нам не приказали убирать руками. Холера пойдет по полку, если это не ликвидировать! Вот!

— Да, конечно, — кивнул головой Белоус, уже с другим выражением. — Действительно, надо предупредить комиссара. Хорошо, что сказали. Спасибо.

— До свидания, — крикнула я, захлопывая дверь.

Между тем, дружба моя с курсантами продолжалась. Мы читали Маркса, Ленина, я слушала с интересом их рассказы о так плохо известной мне рабочей и крестьянской жизни, и мало по малу взгляд

мой на вещи, происходившие вокруг становился ясней. Часть того, что писали и говорили большевики была, вне сомнений, совершенно правильна. А именно фактическая часть — критика прошлого. Тут они были правы! Я вынуждена была признать это, и решила, что, чем скорее свыкнусь с этой мыслью, тем лучше, ибо нечего закрывать глаза на действительность.

Гораздо менее верила я их планам на будущее, которые казались мне совершенно неосуществимыми. Конечно, великолепно было бы, если бы прекратилась всякая эксплуатація человека человеком, не было бы больше тунеядных классов, угнетающих других, если бы всему народу открылся доступ к сокровищнице знаний, искусств, к возможности получить отличное образование, если бы можно было всем стать культурными, всем, после короткого физического труда, развиваться умственно, и т. д. Какой же мерзавец, думала я, сочтет это нехорошим?! Но как этого добиться! Это мне казалось красивой, но совершенно недостижимой утопией. А пока, во имя этой утопии идет стрельба, умирают люди, идет страшное раззорение... Что из всего этого получится?

Курсанты ничего толком объяснить мне не могли, и их речи скорее пугали меня, ибо они кажется считали, что надо лишь уничтожить гидру контр-революции и поставить сопротивляющихся буржуев к стенке, и все само собой образуется. Естественно это мне казалось очень сомнительным. Тогда я решила послушать речи их инструкторов, и после долгих просьб добилась от курсантов, чтобы они повели меня на свои лекции. Однажды вечером, мы вместе отправились в гимназию, где в большом зале происходили курсы. Там на скамьях и стульях сидело несколько десятков матросов, курсантов и красноармейцев. Из буржуев я была одна. Сев в угол, на оконный выступ, я стала внимательно слушать.

Сначала говорил агитатор, и говорил очень плохо. Он шепелявил, кривлялся, делал неловкие жесты, слова терялись... Суть речи была очень незначительна. Потом говорили курсанты — кто лучше, кто хуже, в общем — неважно.

Вдруг из группы матросов на эстраду с приветственной речью вылез Василь Гайдамака, член первого Ревкома, а теперь комиссар бригады Богунского. Коренастый, широкоплечий, с черными кудрями, богатырского сложения, он крикнул громким, зычным басом: «Товарищи»!

Это была речь!

Гайдамака был полуграмотным водолазом, но природным оратором. Его могучий голос гудел в большой зале, легко наполняя ее. Мне стало страшно! Наэлектризованная громовыми призывами толпа волновалась! Он говорил очень просто, примитивно! Трудно сказать, что он собственно говорил, но впечатление было потрясающее. Он звал пролетариат защищать революцию, громил буржуев, помещиков, капиталистов, которые «стараются воткнуть нож в спину революции», звал к борьбе, к уничтожению проклятой «гидры, которая подымает голову», панов, которые «пили нашу кровь и потом нашим умывались».

Формулы были затасканные, слова эти ежедневно произносились на всех митингах... а в его устах они казались чем то новым, важным, грозным! Огненным потоком неслись они, потрясая слушателей. Толпа ревела ему в ответ!

Я сидела буквально терроризованная. Бог знает, чем это кончится. Еще чуть-чуть, и начнется Варфоломеевская ночь!.. Под нескончаемые аплодисменты курсантов и матросов, которые с блестящими глазами и горящими от возбуждения лицами, приветствовали его, Гайдамака спрыгнул с эстрады и подсел к товарищам на лавку.

Опять начались какие то объяснения агитатора, речи курсантов... Становилось поздно, и я вышла на улицу. Никто не обратил внимания на мое присутствие в зале, и я было хотела продолжать туда ходить, но помешали обстоятельства.

К Белоусу я заходила довольно часто, несмотря на то, что разговаривать с ним было трудно, из за массы просителей и его постоянной сдержанности с буржуями, которая иногда меня прямо обижала. Но мне обязательно хотелось получше узнать его и разобрать во что он верит и чем руководится в своих поступках. Поэтому я пользовалась всяким предлогом, чтобы поговорить с ним. Однажды он рассказал мне свою биографию.

Он был сыном многосемейного, бедного крестьянина, из села Белоусовки Золотоношского уезда. Мальчиком, он страстно хотел учиться, и даже получил стипендию в каком то городском училище. Но за ребяческую шалость, его кажется во втором или третьем классе, лишили стипендии. Пришлось оставить мечты об учении и искать работу. После разных мытарств, он стал на паровозе помощником машиниста, и тут познакомился с революционной средой. Настал 1905 г. Во время всеобщей забастовки, они в условленный час остановили свой состав прямо в степи. Машиниста и Белоуса арестовали, судили и отправили в тюрьму, не то в Вологодскую, не то в Архангельскую губ. Оттуда он бежал при помощи товарищей, но был пойман. Снова бежал, перехитрив глупого надзирателя и подсунув какому то начальству на подпись подложный паспорт среди груды других паспортов. С этим паспортом он где то скрывался, и стал активным революционером. С горечью рассказывал он мне о тяжелой крестьянской и рабочей жизни, о разных перенесенных оскорблениях... Он страстно верил в революцию.

Жена его, Наталия Гордеевна, была очень славная деревенская женщина. Ближе я с ней познакомилась уже позже, когда они оба жили у нас во время Деникина. Она была совсем неграмотная, что ее очень огорчало, и тайком училась читать.

Белоус был исключительно умным человеком, и меня очень интересовала его способность быстро разбираться в обстановке и людях и находить выход из разных положений. Однажды одна из властей, по временам захватывавших Золотоношу и заставлявших большевиков временно отходить, схватила Белоуса и после краткого допроса, отправила на расстрел. Хлопцы из банды повели его к Кочубеевскому лесу, куда было четверть часа пути. Но прошли часы — никто не возвращался. Оказалось, что по пути, комиссар ус-

пел убедить свой конвой бросить банду, и они вместе бежали в Белоусовку.

Кроме Белоуса, я знала многих комиссаров, в то время работавших в Золотоноше. Военными силами командовал Антон Иванович Шарый, он же Богунский. Высокий, темноволосый, постоянно носивший украинскую бурку, он очень живописно ездил верхом на вороном коне, лихо заломив серую барашковую шапку. Под его начальством находилась окремая бригада имени Богунского, очень часто выступавшая на фронт, но возвращавшаяся в наш уезд за пополнениями, или на отдых. Я никогда не могла добиться, на каком фронте и с кем они сражаются. Тогда фронтов было много, в особенности на правом берегу Днепра, где ходили разные батьки, григорьевцы, зеленые и другие шайки. На нашем берегу власть большевиков держалась крепко и выбивали ее из города очень редко, раза два за весь 1919 год, да и то лишь на несколько часов или дней. У Богунского была матросская сотня, с которой мне позже пришлось познакомиться близко. Она состояла из матросов, главным образом Черноморского флота, уроженцев нашего уезда. Кажется, туда потом вливались и не матросы, но все носили матроскую форму и считались особо надежным войском. Богунский сначала был членом Ревкома, головой которого был Грудницкий, но после падения последнего стал в городе главным авторитетом. Впрочем, он не всегда сидел у нас в уезде, а часто отлучался «на фронт».

Комиссаром бригады, или одной из ее частей, точно не помню, был другой член первого Ревкома — Василь Иваныч Гайдамака, столь удививший меня своими недюжинными ораторскими способностями. Буржуи его очень боялись, хотя он вовсе не был злым человеком. Женат он был на дочери бедного крестьянина, Пелагее Даниловне, безумно в него влюбленной. Они жили более чем скромно, в маленькой хатке, в пролетарском краю города, за Троицкой церковью.

Третий член первого Ревкома — Бондарь, был весною убит во время какой то экспедиции. Его очень торжественно хоронили, с музыкой, цветами и флагами. Могилу вырыли посреди городского сада, огромную, богатырскую, человек на двадцать. На ней постоянно лежали венки.

Гораздо хуже помню последнего члена Ревкома — Лебедя, носившего почему то красные гусарские штаны. Он потом как то сошел со сцены, или уехал, не знаю.

Рядом с Богунским, а может быть и перед ним, стоял Комиссар Судовых Справ, то есть Юстиции — Александр Янович Сиппельгас, который был также председателем ЧК и Революционного Трибунала. Он был безусловно очень умным человеком, держал свое учреждение в отличном порядке, и постоянно сам за всем следил. Целыми днями ходил он тихой, почти неслышной походкой по Трибуналу, помогал следователям, допрашивал арестованных и на буржуев наводил прямо панику. Допрашивал он действительно хорошо, быстро, метко, вдруг среди массы незначительных вопросов, задавая неожиданно вопрос решающий, прежде чем задуренный человек сообразит

в чем дело. Вряд ли ему можно было много и долго врать. Во всяком случае, его боялись невероятно, хотя я никогда не видела, чтобы он делал что нибудь особенное. Он говорил тихо, не ругался, и очень редко угрожал.

Почти также пугал буржуев прокурор Революционного Трибунала Лев Подкаминский, довольно полный брюнет. Лично я с ним никогда не имела дела, ибо у него были свои дела, а наше вели Сипельгас и следователь.

Другим членом коллегии был Карлинский, с которым потом случилась какая то странная история. Он очутился в тюрьме, не знаю за какое преступление, и страшно там бедствовал, ибо в городе у него, кроме врагов, никого не было, а в тюрьмах тогда питались почти одной передачей. Сидевший тоже дядя Марковский делился с ним своим хлебом.

При Трибунале было два адвоката, или, как их называли, правозаступника. Розанов — человек со старым юридическим образованием, и Рындин, учитель рисования в мужской гимназии, старый революционер, расписавший стены ЧК огромными картинами.

Военным комиссаром был сначала Андрейко, потом Емец, а затем, бывший раньше военруком, Фест. Комиссариатом почт и телеграфов ведал Сидоренко, которого я не знала. Железнодорожный комиссар Григорьев жил у нас в доме с женой и восемнадцатилетней дочерью, Женей.

Комиссариатом снабжения, который у нас называли Постачайкой, руководил любитель астрономии Жмурко. Он был из мелких интелигентов, и его буржуи боялись меньше, чем всех остальных комиссаров. Он довольно легко принимал их на службу в свое учреждение, кадры которого по своей многочисленности превосходили всякое воображение. В нашем уездном городишке, где во всех прочих комиссариатах сидело максимум человек двадцать, а то и гораздо меньше, он набрал себе целую армию — около 200 человек, буквально ничего не делавших, и получавших жалование, а главное продукты. Служить в Постачайке почему то считалось среди буржуев приличным, тогда как служба в других учреждениях слыла недостойным соглашательством с большевиками. Это меня всегда изумляло, ибо там безусловно шло какое то воровство. Служащие обкрадывали комиссариат, таскали оттуда продукты, перепродавали в свою пользу выданные им в первую очередь вещи. Спекуляция там шла страшная. Не знаю почему Жмурко набрал себе такую массу мелкобуржуазного элемента. В других комиссариатах, даже в Освите этого не было. Там шел форменный грабеж.

Комиссаром финансов был Каздобин, который нас почему то не любил. Он был человеком очень неглупым и толковым, но я старательно избегала встречи с ним, чтобы не нарваться на неприятность.

Комиссаром Освиты, то есть просвещения, был Злобинец, ярый революционер, сидевший при гетманцах в тюрьме, и давший показание в ЧК об отцовском деле.

Раз, когда я сидела в социальном обеспечении, он заглянул туда и, увидя меня, полюбопытствовал, что мы делаем, и как живем.

— Спасибо, ничего... так. — Ответила я.

— Под следствием?

— Н-да! Но это, конечно, неудивительно. Хорошо, что отца не арестовали, позволили остаться дома.

— А кстати, обыски у вас бывают? — спросил комиссар Освиты, присаживаясь рядом с Белоусом.

— Вчера был двадцать первый, — улыбнулась я.

— У вас уже было двадцать обысков? — поднял брови комиссар.

— Двадцать один.

— А находят что нибудь?

Я колебалась, но видя, что оба большевика смотрят на меня очень внимательно, решила сказать правду.

— Да. Царские портреты. А больше ничего!

— У вас еще есть царские портреты? — удивился Злобинец.

— Да. Каждый раз находят. Я сама даже не знаю теперь, есть ли еще. Наверное и еще где нибудь найдут.

Комиссар покачал голово.

— А оружие?

— Оружие?.. Нет... не находят.

— То есть его нет? Или его не находят? — усмехнулся Белоус.

— О, ищут они отлично, — ответила я уклончиво. — Все перерыли уже сто раз. Сундуки переворачивали раз тридцать, по нескольку раз за обыск. И все, что у нас было, все продукты, начисто реквизировали. Даже есть нечего!

Я старалась перевести разговор на продукты, ибо очень боялась, что Белоус прямо спросит, есть ли у нас оружие или нет. Оно у нас было, а лгать я не хотела. Но именно этого простого вопроса мне никто ни разу не догадался задать. Везло! Они шарили сами и не находили. А отдавать оружье я не хотела. Оно мне казалось необходимым в такие тревожные времена. А прямой лжи я бы ни за что не сказала, ибо было бы слишком глупо оказаться в их глазах лжецами, если бы оружье все же нашли.

— Ну, что же, очень тяжелы вам эти обыски? Притесняют? — спросил Злобинец.

— Нет, ничего. Как когда, но в общем сносно, — ответила я. — Все идет благополучно.

Злобинец усмехнулся.

— Вы скажите правду... мы же понимаем. На грабежи во время обысков часто жалуются. Вот вчера до мене зайли Серапионовы и плакали. Кажуть, хлопцы забижают: таскают вещи из шкапов, тычут наганами, издеваются, раз грозили поставить к стенке...

— Ну-у, — сказала я. — Это что! Если плакать о всяком пустяке — слез не хватит! Нет — все хорошо: никого у нас не убили, всех оставили жить дома — вот и отлично. Конечно, хлопцы приходят с револьверами, и любят ими махать... Ну, ругаются там... разве на это можно обращать вимание? Это пустяки! Но если не валять с ними дурака, и все спокойно показывать, без глупостей, то они скоро успокаиваются. Только дурить не надо!

— Крадут много?

— Иногда, но редко... очень редко. Это уж если очень не повезет. Я даже не запомню, когда у нас крали!

Я улыбнулась, вспомнив о нашей технике, для предотвращения краж. Среди обыскивающих довольно часто попадались парни, которым хотелось взять какую нибудь буржуйскую вещь. Я выучилась сразу это замечать. Но большинство красноармейцев считало кражи во время обысков делом нехорошим. И вот тут-то очень многое зависило от обыскиваемого буржуя. Практика доказала, что самое лучшее, это подарить хлопцу прямо ту вещь, которая ему уж черезчур понравилась, но взять которую он колеблется из за общественного мнения товарищей. Это замечательно разряжает атмосферу. Парень доволен, остальные тоже, никто не обижен. Все прекрасно. Чаще всего дело идет о какой нибудь мелочи и после этого уже никаких эксцессов почти наверное не будет. Потому, что не допустят остальные.

Наоборот, если из за малейшего пустяка, буржуй протестует, кричит, жалуется на воровство и грабеж, то те, кто нормально не одобрили бы кражи, начинают сердиться и остальные могут все разнести.

— А кого к вам вселили на квартиру? Ведь, наверное, кто нибудь стоит у вас? — спросил Белоус.

— Как же, курсанты!

— Ну, а с ними как? — усмехнулся Злобинец.

— Отлично. Читаем вместе Маркса.

Комиссары расхохотались.

— Ну, и что же? Нравится?

— Чтобы сказать нравится, то нет! Ужасно тяжелые книжки! Читать больно, эти главы там... ну, вы сами знаете... про рабочих. Но что же делать, если это, действительно, правда.

— А на принудительные ходили? — спросил Злобинец.

— Конечно. Это сам Сиппельгас приказал.

— Тяжело?

— Нет.

— Почему вы говорите, что не тяжело, а другие жалуются, что ужасно, — спросил Злобинец. — Из самолюбия, что ли?

Я засмеялась.

— Да нет же! Мне это, действительно, не тяжело! Сами подумайте, меня на работе ни разу не продержали больше часа. Даже и очень трудную работу, ведь, час я всегда выполнять могу. Правда? Хорошо или плохо, это другой вопрос. На навозе я отвратительно работала, но и тут они мне позволяли садиться и скоро отпустили...

— Говорят, что там избили кого то? — спросил большевик.

— Было, — вздохнула я. — Тяжелая вещь. Но надо же соображать! Если ругаться в лицо красноармейцам — ясно, что влетит! Кто же это позволит?

— Словом, все благополучно, только продукты реквизированы, и есть нечего. Так? — улыбнулся Злобинец.

— Вот-вот! — кивнула я.

Белоус и Злобинец переглянулись.

— А поступайте-ка на службу, — предложил комиссар Освиты.

— Куда?

— До нас, в Освиту.

— А что там надо делать?

— Вы отлично знаете иностранные языки. Переводите нам книги с закордонных мов.

Я обрадовалась.

— Вот спасибо! Это отлично. Конечно — это я сумею, и с удовольствием буду делать. Спасибо.

— Это хорошая мысль, — сказал Белоус. — Тем более, что не придется сидеть в комиссариате. Сидеть ей там нечего.

— Почему? — спросил Злобинец, у которого в Освите сидели буржуи, чего в Социальном Обеспечении Белоус не терпел.

— Незачем! Не место там, а работать пусть работает, и будет получать гроши.

— Хорошо, — согласился Злобинец. — Приходите завтра в комиссариат за книгами.

К сожалению, мне поручили переводить не с закордонных мов, а с русского на украинский. Это было значительно хуже. Украинского языка я не знала, словарей приличных не было, и перевод подвигался плохо. За неделю я перевела какой то пустяковый рассказик из детского учебника, который мне был поручен, и вовсе не была уверена в правильности мною составленного. Я было хотела просить Белоуса взглянуть на мой труд, но он уехал в деревню.

Прошло еще недели две. Дело не подвигалось. Я поняла, что учебник этот буду переводить месяцами, и все таки ничего путного не выйдет. А между тем я боялась рассердить комиссара Освиты, если через месяц или два, он увидит, что я ничего не сделала. Я решила отправиться к нему с повиной.

Комиссариат Освиты помещался в большом угловом здании, на городской площади. Внизу раньше были земские склады. Теперь там всюду стояли столики, стучали машинки, шарили в шкафах служащие и бродили просители.

Подойдя к комиссариату, я была поражена. Перед ним стояла огромная толпа народу: крестьяне, красноармейцы, бабы и стая мальчишек. Из за толпы неслись густые клубы черного дыма, искры, огненные языки пламени. Во все стороны разлетались какие то черные, обгорелые хлопья.

— Что это тут? — спросила я одного из ребят.

— Книги жгут!

— Что?

— Учебники сжигаем! — с азартом пояснил стоявший подле тринадцатилетний хлопчик. — Всю контр-революцию жгем! Годи! Экзаменов больше не будет! Долой учебники!

Толпа гоготала, то напирая, то отхлынивая от костра. Из окна комиссариата в огонь бросали пачки книг. Костер все разростался. Туда летели огромные кипы учебников истории, классиков, разные юбилейные издания и т. д. С тяжелым чувством я вошла в комиссариат.

Злобинец, веселый и приветливый, стоял посреди комнаты.

— А, принесли свою работу? — спросил он.

— Я пришла извиниться. У меня плохо выходит, очень медленно. Мне даже стыдно вам показывать...

— Ну, это ничего, привыкнете. Учитесь ридной мове! Стыдно не знать ее.

— Вот... — смущенно протянула я комиссару свою тетрадь.

Он посмотрел и поморщился.

— Да. Вкраинска мова у вас хромает. Это верно. Надо еще поучиться. Не может быть, чтобы вы ее не осилили. Ведь говорите на четырех языках! Старайтесь!

Я облегченно вздохнула, видя, что он так легко смотрит на это.

— А вы зачем это мне принесли? — спросил комиссар.

— Потому что оно уж очень долго будет делаться. Когда же я кончу? Месяца пройдут!

Он посмотрел на меня.

— Ага! Вас беспокоит, что оно так долго будет длиться. Это верно, конечно.

Я молчала, не зная, что он этим хочет сказать. Я думала, что он меня уволит, ибо не представляла себе, что можно терпеть от служащих такую работу.

— Хорошо. Так я вам выдам аванс, — сказал он.

Я удивленно посмотрела на него. Какой аванс? По моему, меня следовало бы немедленно прогнать за такую работу, а он хочет дать аванс, когда я вообще не знаю, что получится из этой книжки, и будет ли она годится для детей.

— Я вам напишу ордер. Вам сколько нужно?

— Мне ничего не нужно, — робко ответила я. — Как я могу взять деньги за такую гадость! Я пришла извиниться, что до сих пор ничего толком не сделала! Постараюсь потом сделать лучше. Но как можно взять деньги?

— Но ведь вы очень нуждаетесь, — сказал он.

— Спасибо вам. Благодарю вас. Но это невозможно. Нет, это нельзя! Нет. Спасибо.

Он улыбнулся.

— Как хотите. Значит, вы только принесли это показать.

— Да. Просить вас потерпеть немножко, чтобы я успела выучиться.

— Ну, хорошо, хорошо, работайте. Потом пойдет лучше!

К моему удивлению, он об этом разговоре рассказал Белоусу й Андрейке, и все три комиссара одобрили мое поведение.

***

Скоро в комиссариате Освиты произошли перемены, и Злобинца сменил другой комиссар Орда. Это был совершенно необразованный, деревенский человек, а жена его была и вовсе неграмотной. Задав мне несколько вопросов, Орда решил, что я ему буду полезна, и возымел ко мне доверие.

— Ага! Вы мне поможете устроить музей, — сказал он. — Мы устраиваем повитовый музей, и положим туда разные редкости. А то далеко ездить в музеи в Киев. Надо, чтобы и здесь селяне имели музей. Мы это уже решили.

— А откуда вы думаете достать вещи, чтобы туда положить? — спросила я.

— Достанем. Возьмем по имениям панским. Мы уже привезли кое-какие вещи. Положим туда.

— Редко в каких имениях есть вещи годные для музея, — ответила я. — Здесь, в Золотоношском уезде, я даже вовсе не знаю таких имений.

— А в вашем были?

— Нет.

— Мы были там, в вашем бывшем имении и верно, ничего такого не нашли. Но вам верно об этом неприятно говорить?

— Нет, отчего. Мне все равно, — ответила я.

— Скажите, отчего на том дереве крест? — спросил комиссар.

— На каком? — удивилась я.

— Ну, вы же знаете! В саду, на дереве нарисован крест. Что это значит?

Я улыбнулась. Этот крест я когда то сама нарисовала на своем любимом дереве, под которым обычно читала и думала. Это было мое заветное местечко.

— Так, — ответила я. — Это мой секрет.

— Там зарыт клад?

— Нет, какой клад? Это просто было хорошее местечко, где я часто сидела... читала... Жаль, что больше не увижу... Впрочем, теперь не до этого. Ерунда.

— Селяне там повсюду рыли, — сказал Орда. — Искали клада.

— Нет, там клада нет.

— А все таки вы, паны, хорошо жили, — вздохнул большевик.

— Да, — неопределенно ответила я.

— Теперь наш черед.

— Дай Бог, — вздохнула я. — Лишь бы эта война скорее кончилась. Убийства, разруха, ужас!

— Посмотрите-на наши камни, — переменил разговор комиссар. — Обязательно посмотрите. Они, говорят, для музея замечательны.

— Какие камни?

— Старинные. Мне принесли. Их шесть. Они, как булыжники, но очень старинные. Их сюда занесло еще до Екатерины.

— Кто их сюда привез? — спросила я, чувствуя, что он очень запутался.

— Их не привезли. Их занесло. Еще до Екатерины. Льдом их сюда занесло, говорят.

— А! Вот что! Если это так, то они могут быть интересны, хотя я в этом деле ничего не понимаю, надо будет справиться.

— Это верно, что их занесло еще до Екатерины?

— Если их, действительно, несло льдом, то это было гораздо,

гораздо раньше Екатерины, так что и сравнивать не следует. Екатерина жила полтораста лет тому назад, а льды такие, которые камни носили, ледники называются, были 25-30 тысяч лет тому назад. Но я в камнях таких разобраться не могу. Если желаете, можно написать в университет куда нибуд, в Киев или Москву, и спросить о них. А сама я ничего сказать не могу.

— Эх, надо, чтобы вы все у меня посмотрели, — сказал комиссар, — очень нужно.

— С большим удовольствием, — ответила я.

— Правда? — спросил он, глядя на меня.

— Конечно, очень рада была бы быть полезной. К сожалению, времени у меня немного...

— Служите?

— Нет, — вздохнула я. — Допросы, принудительные работы, обыски... Ну, ничего, надо идти.

После этого разговора, комиссар Освиты при каждой встрече подробно распрашивал меня про разные вещи, касающиеся музея, книг, учебников. Явно пролетарского происхождения, и крепкий большевик, он не боялся скомпрометироваться даже долгими разговорами со мной прямо на улице. Конечно, не сиди я почти все время в ЧК, я бы гораздо больше сделала в Освите. Но времени, действительно не хватало.

**
*

Через несколько дней опять случилось происшествие. Вернувшись из Трибунала, я застала дома панику. Из военного комиссариата было украдено большое красное знамя, и рассвирепевший Андрейко приказал сделать обыск по всему городу. Знамя выкрали через окно двое мальчишек — мой двоюродный брат, тринадцатилетний Борис Марковский и его товарищ по гимназии Саенко. Их благословила на этот «подвиг» их сверстница, моя сестра Маша, и оно было зарыто на Золотоношском кладбище. Я пришла в ужас. Что будет, если это откроется! Кто же может потерпеть такую вещь?

Обыски ничего не дали, но у чекистов нюх был хороший. Хотя они ничего не узнали, но виновных все таки схватили. Окрестные жители сказали, что контр-революционные хлопцы Марковский и Саенко все время крутились вокруг комиссариата, и выводы были сделаны правильные. Мальчишек потащили к Сиппельгасу.

Тетя Марковская в слезах прибежала ко мне, прося пойти в ЧК справиться, что с ними будет. Но там меня не приняли, и пришлось вернуться ни с чем. Наступил вечер, и тетя решила отправиться к Андрейке, просить его о снисхождении, в виду возраста преступников. Однако, мы с тетей не поладили насчет того, как надо действовать. Я утверждала, что лучше всего рассказать все, и просить милости, ибо вряд ли будут слишком строги к таким мальчишкам. Но тетя не знала, что хлопцы будут рассказывать сами и боялась их подвести.

— Борис не может обмануть Сиппельгаса, — говорила я. — Это немыслимо.

— Мальчики решили все отрицать, — отвечала тетка. — Ведь улик нет никаких. Нельзя их подводить.

— Так что же ты думаешь говорить?

— Скажу, что ничего не знаю, и не могу сказать, виновны ли они или нет, но прошу снисхождения на всякий случай.

— С Андрейкой выйдет — с Сиппельгасом нет.

— Так ведь мы идем к Андрейке.

— А он отошлет в ЧК. Что тогда?

Пуще всего я боялась лгать большевикам. Все может сойти, думала я, но если откроется ложь, то я сама не смогу больше защищаться, собьюсь... все пропадет.

— Не выйдет с Сиппельгасом. Он увидит, что ты знаешь.

— Как он может увидеть?

Я вздохнула.

— Не пойду я валять дурака с чекистами. Хочешь, чтобы я шла просить за мальчиков — пойду. Но говорить глупости Сиппельгасу я не согласна.

— Зачем их выдавать?

— Да они себя уже давно выдали.

— А, может быть, нет.

Я только вздохнула.

— Ты ужасно поддаешься им! Никак не ожидала, — охала тетя. — Ничего они не узнают. Мальчики будут молчать и все отрицать. И их отпустят.

Я недоверчиво пожала плечами.

— Ты думаешь, добьется, — спросила тетка.

— Конечно.

Тетка испугалась.

— Так что же с ними будет?

— Ну, этого я уж не знаю! Даже представить себе не могу. С одной стороны, это все таки ребята, а с другой — украли красное знамя! Решительно не знаю, что выйдет!

Испуганная тетка решила немедленно идти к Андрейке и попросила меня проводить ее до дверей комиссариата, ибо не хотела, чтобы я сознавалась за мальчиков, а я отказывалась притворяться. Мы пустились в путь. Эта дорога в военный комиссариат мне запомнилась на всю жизнь потому, что туда мы не шли, а ползли. И это в самом буквальном смысле слова. Мы шли туда на четверенках. Дело в том, что после довольно долгой оттепели и ясной весенней погоды, вдруг внезапно ударил мороз, и улица покрылась скользким слоем льда. Ветер дул с необычайной силой, как раз нам в лицо и не позволял двигаться вперед. На Украине такие ветры очень редки. Он более походил на черноморский норд-ост, и все сметал на своем пути: падали вывески, до земли гнулись деревья, с треском ломались ветви. Нам навстречу бегом несся подгоняемый ветром патруль, и мы еле с ним разминулись. Идти было невозможно. Ветер опрокидывал, сбивал с ног. Выбившись из сил, скользя и падая поминутно, мы наконец решили не вставать, а ползти. Дело пошло быстрее. Так, на четверенках добрались мы до угла площади и тетя с огромным

трудом влезла по обледенелым ступенькам в комиссариат. Я полетела обратно. Это было очень приятно. Ветер надул шубу, я расставила руки и неслась, как на коньках, с трудом удерживая равновесие. Это был один из редких дней 19-го года, когда мне пришлось посмеяться, ибо, несмотря на страх за мальчиков, лететь так было смешно.

Андрейко ответил тете, что дело передано в ЧК, где мальчиков и продержали всю ночь. На утро тетя отправилась туда, но ее не приняли, и она ушла, поручив мне справиться о судьбе детей.

Вдруг двери Следственной Комиссии открылись, и чекисты вышли, покатываясь от хохота. Впереди шел Сиппельгас, и подозвал меня.

— Марковский ваш родственник?

— Двоюродный брат.

— Удивительно! Ваш двор всегда замешан, как только идет дело о контр-революции!.. Скажите родителям Марковского, чтобы пришли за ним. Его отпустят на поруки. Выпороть бы их как следует, подлых мальчишек! А Саенко знаете?

— Нет... так... слышала.

— Тоже герой! Гниль буржуазная! Белогвардейское отродие!

Тон Сиппельгаса удивил меня. Он редко ругался, а тут... все же мальчик...

— Вы не знаете, есть ли у него в городе близкие? Он сам отвечать не может! Невменяем! Ползает на коленях! Плачет от страха! Тьфу!

Тон чекиста меня испугал. Что там случилось? Если он теперь станет издеваться, когда его просят, то что же это будет!

— Ну! Кто здесь близок с Саенко? — спросил он.

— Не знаю.

Он смотрел на меня с тяжелым презрением.

— Все вы хороши, мразь! Вчера, когда Саенко привели сюда, он стал изображать героя, обличал нас, ругался и так дерзил, что я велел на ночь его запереть в темную клетушку, и пригрозил на утро расправиться с ним. И вот сегодня — превращение! Куда девался герой! Валяется на коленях, рыдает! Отвращение! А вы что? Тоже будете нам ноги целовать, если на вас прикрикнуть?

Я взглянула на него изумленная — в первый раз слышала от него такую речь! Что с ним сегодня!

— Так как же? — повторил свой жестокий вопрос чекист.

Надо было отвечать — но что? Он явно толкает на неуместный протест, но если ничего не сказать, он будет презирать, и выйдет тоже плохо. Вот несчастье!

— Ругать вас он не имел права, но просить вас можно и даже нужно, — тихо казала я. — Раз от вас зависит прекратить такие страшные вещи, то всегда следует вас об этом попросить. Может быть вы согласитесь, и тогда все будет хорошо.

— Даже на коленях? — не унимался чекист. Я взяла себя в руки.

— Бывает, что люди просят даже на коленях. Это очень тяжело, но дурного тут нет. Я сама бы это сделала... для отца...

— Это откровенно, — усмехнулся он, но уже тише.

— Это верно, — подтвердила я, опустив голову. — Хорошо, что вы не заставляете.

Он перестал смеяться.

— А ведь этот Саенко учился в гимназии? Правда?

— Да.

— И жил он на квартире у той, как ее, купчихи?

— Да.

— Чорт их возьми, мерзавцев! — опять засмеялся он, пожимая плечами. — Можете идти, и скажите Марковским, чтобы забрали своего мальчишку.

Потом я узнала почему чекисты так глумились над буржуазией в тот день. Случилась вещь, действительно, отвратительная, заслуживавшая всяческого презрения. Как и следовало ожидать, Сиппельгас очень скоро добился от мальчиков, что знамя украли они. Хорошенько выругав их, и пригрозив строгими карами, чекисты продержали их ночь под замком, а на утро, после солидного внушения, решили отпустить. Бориса отдали родителям, обязав лишь являться для регистрации в ЧК три раза в неделю.

Но у Саенко в городе родственников не было. Отец его был в белой армии, о чем мальчик рассказал по секрету всем своим приятелям, и это знал весь город, а в особенности ЧК. Сиппельгас предложил директору гимназии и семье, в которой жил Саенко, взять его на поруки. Несмотря на то, что мальчик им был поручен отцом, они взять его решительно отказались, опасаясь неприятностей. Вызвали других знакомых Саенко, но никто не захотел принять к себе провинившегося мальчишку. Получался парадокс. Мальчик был виновен в контр-революционном акте. Чекисты предлагали буржуазии забрать его из под ареста, и больше наказывать его не хотели. А буржуи, тяготевшие к той самой белой армии, в которой сражался его отец, и сами контр-революционно настроенные, отказывались помочь мальчику и предпочитали оставить его в ЧК, из страха перед воображаемыми осложнениями. Ясно, что коммунистам такая трусость претила.

Прошла неделя, и мальчик продолжал сидеть в ЧК, измученный, голодный, перепуганный. И тут случилось нечто совершенно неожиданное. Сам комиссар судовых справ и Черезвычайной Комиссии взял его на поруки, привел в свой дом, и содержал до самого отъезда из Золотоноши. Оригинально? Но это самый истиный факт! Не удивлюсь, если узнаю, что Саенко стал самым ярым большевиком, ибо ему наверное чекисты гораздо больше понравились, чем так бессовестно бросившая его буржуазия.

**
*

Приближалась Пасха 1919 года. Цвела весна. В это время, в городе произошло значительное событие. Бригада имени Богунского вышла куда то на фронт, а взамен ее, разместился у нас 1-й интернациональный полк.

Полк вступил торжественно, с музыкой. Впереди, на вороном жеребце, подбоченясь, ехал командир Фекете, а с ним рядом, комис-

сар полка, рыжебородый Михайлаки. Полк был конный, с очень недурными лошадьми. Состав его был действительно интернациональный. Кого там только ни было: румыны, чехи, австрийцы, венгерцы, немцы, русские...

Продефилировав через город, они стали располагаться по квартирам. Я вышла к дверям, ибо знала, что к нам то обязательно явятся. Ждать пришлось недолго.

В дверь посыпались удары прикладов, и я быстро открыла ее. На пороге стоял рыжий комиссар полка, за ним молодой брюнет, и целая орда, человек сорок красноармейцев.

— Пожалуйте, — сказала я, чуть-чуть поперхнувшись при виде такого множества.

Комиссар ворвался, как лютый зверь.

— Очистить помещение, — завопил он. — Сейчас же все вон отсюда! Вон!

— Вы какие комнаты берете? — спросила я.

— Что??? Какие комнаты??? Все! Я все беру! Ступайте жить в хлев! Выметайся отсюда, буржуйская сволочь! Прикладами отсюда выставлю!

Я оглянулась на остальных. Шедший за комиссаром молодой брюнет кивал мне успокоительно головой. Ага!

— Сюда становится пулеметная команда! — крикнул комиссар. — Товарищи, швыряйте все в окно!

— А вы чего стоите? — крикнул он на меня. — Прикладом в спину захотели? Двигайтесь, живо!

— Куда выносить вещи? — спросила я беспомощно.

— Вон! В окно! — крикнул он. — Вон!

Комнаты наполнились красноармейцами, которые, сбрасывая на пол амуницию, стали складывать винтовки в козла.

Положение стало серьезно. Я не знала, выгоняют ли нас, действительно, на улицу, или это только фигуральные выражения в устах коммуниста. Но командир, шедший за комиссаром, продолжал успокоительно подмигивать. Я решила молчать и ждать.

Пройдясь еще вихрем два-три раза по опустошенной квартире, комиссар выскочил во двор.

— Вытаскивайте вещи вон в те комнаты, — сказал брюнет. — Нам хватит взять эти пять, а вам оставим те три.

— Спасибо, — сказала я. — Но разве можно? Он разрешит?

— Я командир пулеметной команды.

— А! Спасибо.

— Но шевелитесь! Надо, чтобы к его возвращению, люди были размещены. Иначе он рассердится.

Мы с братом и матерью кинулись вытаскивать вещи, но это было нелегко. Тяжелые столы, диваны, шкафы, рояль было очень трудно сдвинуть с места, не то что вытащить в другую комнату. Мы безнадежно переглянулись. Но командир и красноармейцы пришли нам на помощь, и, действительно, мигом выставили за дверь столовой все находившееся в реквизированных комнатах вещи. На дворе раздавался голос ругавшегося Михайлаки, когда командир сам помог

нам вытолкнуть последние кресла, и захлопнул за нами дверь. Мы были уже на своей половине, когда в гостинной послышались бешенные окрики комиссара и стук втаскиваемых в комнаты пулеметов.

Когда вернулись из города наши старые постояльцы - курсанты, то нашли нас сидящими в изнеможении в их комнате, среди груды вещей. Она была одна из трех не занятых командой.

— Простите меня, — сказала я им. — Мы сейчас очистим это помещение. Мы уйдем в те две комнаты, только дайте мне сообразить...

Курсанты переглянулись.

— Нет, — ответил Соломко, — мы уйдем. У вас же нет места.

— Зачем уходить! — возразила я. — Мне лучше, когда вы здесь. Почем я знаю, какие они будут, те новые... А с вами легче.

— Куда же вы денетесь? В те две комнаты вас набилось уже семь человек — больше нельзя! Мы пойдем в другое место.

Они отобрали свои вещи, простились со мной очень мило, и ушли. Кажется, они почти сейчас же отправились на фронт. Мне было жаль, что они уходят, но долго об этом думать времени не было.

Вечером к нам заглянул командир пулеметной команды и остался обедать. Он был довольно симпатичный человек, и не позволял своим красноармейцам нас обижать. Но все же присутствие пулеметчиков сильно давало себя знать.

Весь дом гудел от непрерывного ужасного шума. Они страшно кричали, пели и ругались. Гармоники играли без остановки и днем и ночью. Невозможно было заснуть, так как они еле замолкали часа на два, от двух до четырех ночи, а затем опять начиналась вакханалия.

Они страшно пьянствовали, ибо Фекете роздал им содержимое нескольких винных лавок. Попойка начиналась с раннего утра. Каждый раз, когда опорожнялась бутылка, ее с размаху бросали на пол, и она лопалась, как бомба. Осколки стекла и грязь приказывали убирать нам.

Начальники интернационального полка поселились во флигиле, у Марковских. К ним туда же въехали их жены. У брюнета было сразу две жены. Одна очень милая, тихая, скромная. Другая — страшная крикунья.

Они часто между собою спорили и, наконец, он выгнал их обеих ночью голыми на двор, и тетка их подобрала, одела и помогла найти им другое помещение неподалеку. Скоро атмосфера в команде осложнилась любовным соперничеством брюнета с другим командиром. Тот зверски избил свою женщину и тетка во флигеле лечила ее примочками. А между командирами произошла ссора, закончившаяся перестрелкой.

Услышав стрельбу за дверью, мы легли на пол, и хорошо сделали, ибо пули пробивали дверь и летали по комнате. Оба были сильно пьяны и не попали друг в друга. Но через несколько дней, по какому то другому случаю, один из интернационалистов застрелил другого, и его труп вытащили из дома товарищи, а к нам пришли за ведрами и приказали вымыть кровавый пол.

Все это, конечно, сильно дергало нервы.

Наступило 1-ое мая 1919 года. Буржуи притаились по домам, и очень беспокоились, ибо ходили упорные слухи, что в этот день будет «Варфоломеевская ночь». Такие «ночи» происходили довольно часто на правом берегу, где власть была в руках петлюровцев и атаманов. У большевиков они бывали реже, но в городе упорно говорили, что Золотоношский пролетариат собирается устроить такой погром. Это была очень страшная вещь, и среди буржуазии царила паника.

Погода в этот день была отличная, солнечная, весенняя. С раннего утра по улицам весело зашумели манифестанты, с красными, желтоблакитными и бело-голубыми флагами. Молодежь тащила плакаты, ветки, зелень, для украшения триумфальных арок. Развевались полосы красного кумача, которым обвивали столбы. На ветвях деревьев развешивали полотнища с лозунгами. Смех и шутки неслись из толпы. В десять часов утра, в присутствии всех властей, началась грандиозная манифестация на площади, а затем разные шествия с музыкой и пением.

В четыре часа дня, в городском саду был митинг, а затем гуляние. На митинг я решила пойти обязательно. Во первых я любила смотреть на большевистские манифестации, а затем мне хотелось послушать их речи, и по возможности выяснить, действительно ли они собираются устроить резню.

Сад был полон народу. Посредине, на площадке, возвышался задрапированный в красный кумач помост. На нем стояли члены исполкома. Сквозь густую толпу, я пробралась к самому его подножью. Кругом на деревьях висели флаги, разноцветные гирлянды и фонарики.

Говорил какой то нездешний оратор — приехавший из центра коммунист, как мне объяснил соседний красноармеец. Он говорил хорошо, но голос у него был не очень громкий и несколько визгливый, что срывало эффект. Он говорил о съезде партии и вынесенных на нем резолюциях, которые мне показались очень важными, и я сильно удивилась, что кроме меня ни один буржуй не пришел их послушать. Рассказывал о победах советских войск на юге, где красная армия продвинулась чуть ни до Крыма и уже заняла Одессу. Он говорил ясно и очень толково, но кажется стоявшие поотдаль плохо его слышали, ибо, к моему удивлению, его речь не вызвала особых аплодисментов.

Затем говорили местные комиссары: Сиппельгас — недурно, но он, конечно, лучше допрашивал, чем ораторствовал. Толково говорил Емец, сменивший Андрейку на посту военкома. Огромное впечатление произвел рев Гайдамаки, комиссара окремой бригады. Я думала, что тут и начнется эта самая «ночь», ибо толпа неистовствовала, но все обошлось благополучно.

После речей открылось гуляние. Наступил вечер. В кустах нарядно заблистали разноцветные гирлянды фонариков. Празднично гудевшая, веселая, шумная публика заполняла аллеи. Настала теплая, благоухающая весенняя ночь. Красноармейцы и матросы, по

возможности принаряженные, некоторые с цветками в петличке, с ухарски заломанными шапками, окружали дивчат и медленно двигались вкруг площадки. Смех, шутки, взрывы хохота... Праздничные, довольные лица. Лущили семячки, играли на гармошке, пересмеивались, кричали.

В толпе гуляли комиссары и их жены. Почти все со мною поздоровались. Вообще за этот период мне было гораздо легче разговориться с любым комиссаром, чем с нашими старыми знакомыми. Последние так боялись скомпрометироваться, что старались нас не замечать, ибо все были уверены, что нас когда-нибудь большевики прикончат. Коммунистам же конечно бояться было нечего, и с ними мне можно было разговаривать запросто.

Белоус стоял среди толпы селян и что то им разъяснял. К нему всегда ходили крестьяне со всего уезда по разным нуждам, и он ими много занимался. В социальном обеспечении на столах часто даже ночевали пришедшие из уезда в город мужики, и Белоус помогал им добиваться нужного в советских учреждениях, что не всегда бывало легко. Он ругался со Жмурком, чтобы им в первую очередь выдавали продукты, звонил для них по телефону в разные комиссариаты. Словом, у него всегда сидела большая группа деревенских просителей, и он с ними возился.

Зато, когда в город вступали какие нибудь григорьевцы и т. д., ему не приходилось отступать, как другим, с армией Богунского. Он спокойно оставался тут же, и его скрывали. В Золотоноше у него было несколько квартир. Некоторые из них я знала, другие, конечно, нет. В тревожные минуты, найти его было невозможно. Это несколько раз спасло ему жизнь.

Первомайское торжество прошло очень весело и спокойно. Но слухи о Варфоломеевской ночи не прекращались, и буржуазия трепетала.

Несколько дней спустя, поздно вечером, мы вдруг услышали на улицах какой то странный шум. Со стороны городской площади, где собрался какой то митинг, послышались вопли, затрещали выстрелы, успевший куда то слетать Борис Марковский прибежал сообщить нам, что толпа разгромила винный склад. Крики, шум, стрельба все усиливались. Перепуганные жители безмолвно дрожали за занавешенными окнами. Мимо нашего дома, с пьяным ревом, промчался какой то отряд. С площади неслись дикие выкрики, угрозы... Затем все стихло... Опять взрыв бешенства, стрельба... Потом опять затишье, и снова вопли...

О сне не могло быть и речи, но ночь прошла спокойно. Лишь на следующее утро мы узнали, что произошло.

После митинга, разгромив большой склад с водкой, толпа быстро опьянев, решила действительно разыграть «Варфоломеевскую ночь». Широкой воющей лавиной, перепившаяся людская масса залила площадь. Крики, выстрелы, угрозы неслись оттуда.

Не знаю, что бы вышло, если бы не упорнейшее сопротивление коммунистов, решительно воспротивившихся резне.

Вызвали особо надежные войска: курсантов, матроскую сотню.

Недавно вернувшийся с фронта Богунский сел на коня и заслонил с небольшим отрядом главную улицу, отделив большую часть города от площади, на которой безумствовала толпа. Но не знаю, хватило ли бы у него решимости бить по своим. Его самого могли смести.

Положение спас комиссар бригады Гайдамака. Он влез на какой то помост или бочку, и начал громовую речь. Зычный его голос покрыл даже вой разбушевавшейся толпы, и народ стал слушать. Речь его была самая зажигательная. Он уже бил, уничтожал, кромсал буржуев, но требовал, чтобы это дело велось организованно, а для того призывал занять «позиции». Пьяные согласились, и вслед за орущим свою речь Гайдамакой, устремились вдоль по улице, ведущей за город. Ибо Гайдамака убедил их, что главное, это окружить город, чтобы не дать треклятым буржуям утечь. А там революционная бдительность пролетариата расстроит все козни врагов революции, ни один враг пролетарской революции не выйдет живым! И т. д., и т. д.

Этот стратегический маневр удался, и пьяная ватага очутилась за городом. Богунский, оставшийся в центре, занял площадь пулеметами и выставил на краю города заставы. Часа три подряд ревел Гайдамака, и когда, наконец, умолк, занималось утро, холодело, и усталая толпа частью тут же повалилась спать, на «позициях», частью стала группами возвращаться в город. Пикеты Богунского обезоруживали эти маленькие кучки, комиссары пригрозили арестовать «провокаторов и контр-революционеров, которые толкают на нарушение революционной законности», и в городе водворился порядок.

Тенденции к погромам тогда развились у нас в уезде под влиянием усилившихся за последнее время петлюровцев. В отдельности, как люди, они бывали иногда симпатичны, и даже менее жестоки, чем большевики. Но власть их никуда не годилась. У них царил невыразимый хаос, и из за полного безначалия, при них совершались самые вопиющие ужасы. Тогда как, лично более суровые, большевики держали власть крепко, и не допускали разнузданных самосудов.

В последнее время, украинцы, до того присмиревшие под властью большевиков, зашевелились, ибо на правом берегу успешно продвигались какие то григорьевцы, которым они сочувствовали. Украинцы, по крайней мере в наших краях, состояли из того элемента, который большевики называют мелкобуржуазным, и из огромной массы крестьян. Но тогда как крестьяне чрезвычайно легко превращались из петлюровцев в большевиков, специально петлюровскими кадрами являлись мелкие интеллигенты: фельдшера, агрономы, учителя, мелкие служащие городской и земской управы, почтово-телеграфного ведомства и т. д. . Эти, хотя и шли с большевиками против белых, ибо ненавидели старый строй, но были прежде всего украинскими националистами, с эсеровским уклоном. Среди них попадались симпатичные люди — украинские поэты, музыканты, любители украинского народного творчества. Они устраивали вечера, танцевали гопак, мятелицу, в красивых национальных костюмах, называли друг друга добродию, а не товарищ, и щеголяли известной

культурностью и знанием приличий. Большевиков они считали грубыми дикарями, но когда власть попадала в их руки, то зверства превосходили всякое воображение. Анархия, погромы, разбои царили повсюду.

**
*

На правом берегу бригада Богунского уже несколько дней упорно боролась с бандами Григорьевцев. В город начали привозить раненых. Потом стали говорить, что Богунский григорьевцев прогнал... Но в один прекрасный день, кухарка принесла с базара сенсацию:

Бригада Богунского отступает перед Григорьевцами, и уже подходит к Черкасскому мосту. В городе все заволновалось. О Григорьевцах никто толком ничего не знал. Некоторые буржуи пускали слух, что ими и зеленовцами командует бывший адмирал Зеленый, но я не верила. Было непохоже. Другие говорили, что Зеленый и Григорьев просто батьки. Но мы точно не знали, что такое батьки, ибо к нам они еще не заходили.

На следующий день до нас долетел грохот артилерийских орудий. Пальба приближалась. Пришло известие, что Богунский уже отступил за мост. Весь день и всю ночь шел бой. В городе было очень тревожно — никто не знал, чем это кончится. Из ЧК, куда я заглянула по обыкновению, следователь меня отпустил сразу, сказав, что сегодня занят. По улицам скакали верховые. Шли какие то войска, тащились орудия.

Утром нас разбудил гром тяжелых орудий уже в непосредственной близости от города. Глухо и раскатисто грохотали шестидюймовки, громыхали легкие орудья, безостановочно трещали пулеметы, беспорядочно звучали выстрелы винтовок. По городу промчался конный отряд. На каланче, недалеко от нашего дома, в развевающейся бурке и серой папахе, стоял Богунский со своим адъютантом Красотой, и наблюдал за боем, в реквизированный у нас цейсовский полевой бинокль.

Мы вышли в наш сад, расположенный на горе и господствовавший над лесом, за которым шла черкасская железная дорога. С этого пункта мы всегда следили за наступавшими на город войсками. Ясно виднелись белые облачки, вспыхивавшие над орудьями. По полотну полз блиндированный поезд григорьевцев. Бой совсем приближался к городу.

Над нами с воем стали пролетать снаряды. Григорьевцы били по мужской гимназии, где обычно стояли части Богунского. Взрывы гремели совсем рядом. Артилерия Богунского отвечала нерешительно. Кажется, у них не было снарядов.

По городу заметались отступающие войска. Фигура Богунского исчезла с каланчи, и он со своим штабом поскакал куда то. ЧК была заперта. Там никого не было. Грохот орудий, взрывы, противный визг снарядов над головой болезненно отдавался в ушах. Хлопали винтовочные выстрелы, свистели пули, четко тарахтели пулеметы...

Я не могла сидеть в доме. Мне казалось, что снаряд обязательно попадет в него, все рухнет, будет пожар, нельзя будет вылезть и нас придушит обломками. Я задыхалась. На дворе было гораздо приятнее, и я так весь день и просидела в саду, наблюдая с горы за событиями.

Григорьевцы наступали вдоль железно-дорожного полотна, по которому, фыркая и дымясь выстрелами, шел их блиндированный поезд. Другая колонна шла по дороге, в обход леса. Ехали повозки, тачанки, скакали всадники. Вокруг моего укромного местечка, за парапетом садовой площадки, свистели пули.

Через город быстро промчались отходившие части бригады Богунского, и все затихло. Город замер. Только снаряды наступающих продолжали разрываться вокруг. Часы шли. Наступал вечер.

Я выглянула на улицу за новостями. Григорьевцы уже заняли город и остановились в Земской Управе и на вокзале. Банды шлялись по базару и главной улице. Мне объяснили, что григорьевцы — это зеленые, то есть, не белые и не красные, а просто те, кто сидит во ржи или в лесу.

Но я не смогла выяснить, зачем они там сидят, что они там делают и чем отличаются от большевиков. Говорили, что они петлюровцы или махновцы... В общем толком узнать ничего не удалось.

Впрочем на утро, мои недоумения рассеялись. В часа четыре ночи, нас разбудил топот бегущих ног на улице и робкий стук в двери. Это не был повелительный грохот красноармейских прикладов, а какое то жалкое постукивание. Я заглянула в специально просверленную в дверях дырочку, и увидела директора частной еврейской гимназии Макрусина, нашего соседа и с ним человек шесть-семь евреев. Вдали слышались какие то крики и топот бегущих. Я открыла дверь.

— Спасите нас! — пробормотал Макрусин. — Погром!

Мать немедленно ввела евреев в комнату. Сколько раз за этот период мы сами умоляли о помощи. Не могло быть и речи, чтобы теперь отказать им. Конечно, риск был большой. Если у нас, «проклятых буржуев», еще найдут спрятанных во время погрома евреев, то ясно — мы все тут останемся. Но дело было хорошее и, в случае чего, смерть приличная. С Богом! К тому же к нам вряд ли придут искать евреев.

Мы быстро провели их в обширную, внутреннюю туалетную комнату деда, так расположенную между домом и пристройкой, что никак нельзя было догадаться, что там еще помещение. Маленькую дверь, ведшую туда, заставили шкафом и стали ждать.

Но скоро Макрусин постучал к нам.

— Я должен пойти за нашим равином, — сказал он. — Можно и его с семьей привести сюда?

— Ведите конечно.

Мы поспешили выпустить его на улицу, напомнив однако, что нельзя шнырять к нам в дом по нескольку раз. Иначе его заметят, и будет беда. Макрусин вернулся очень скоро, ведя с собой равина,

который в ужасе рассказал, что происходит в городе. На улицах валялось несколько трупов. Григорьевцы разгромили еврейские магазины, дома, перепились найденной там наливкой, грабили и увозили на подводах к вокзалу груды вещей. Над евреями всячески издевались.

К Марковским, во флигель, также прибежали разгромленные. Дядя спрятал их человек сорок в большом погребе. На нашей чисто буржуйской улице, где вовсе не было магазинов, пока царила тишина. Через час, Григорьевцы, разбив лавки Рубана, у моста, поднялись к нашему саду, и стали громить гимназию Макрусина и его дом. Они могли ежеминутно нагрянуть. Мы с матерью вышли на двор, поджидая их.

Но утро прошло спокойно. Несколько раз громилы заглядывали к нам и спрашивали, нет ли тут жидов, но их сейчас же уводили местные товарищи, утверждая, что жидов здесь быть никак не может. Кое кто предложил было и у нас сделать «обыск», но другие заметили, что у генералов, наверное, было уже немало обысков, и вряд ли что нибудь интересное осталось, тогда как у жидов, еще серьезно никто не искал.

Было около одинадцати. Грабеж в городе ,как будто, утихал. День был ясный, солнечный. Вдали, но уже с другой стороны города грохотали орудия. Григорьевцы продолжали биться с Богунским, отошедшим в степь и по железной дороге в сторону Драбова.

Отец лежал в постели; у него был сильный сердечный припадок. Маленькая сестра сидела во флигеле у тетки. Мы с матерью ходили по двору, отвечая на вопросы заглядывавших григорьевцев.

Мы стояли около колодца, когда в воротах показался вооруженный григорьевец и направился к нам, через двор. Он шел спокойно, не торопясь. Мы остановились, поджидая его.

— Вам что угодно? — спросила его мать.

— Я пришел убить Павла Максимовича, — также спокойно ответил он. От него разило вином. Черезчур расширенные зрачки придавали странное выражение его светло-голубым, грустным глазам. Это было неожиданно.

— А! Прекрасно! — сказала я, не задумываясь ни на минуту. — Я его сейчас позову.

И не успел несколько озадаченный григорьевец раскрыть рот, как я вскочила в кухню, и крикнула брату, чтобы немедленно закрыли все двери, ибо пришел разбойник убивать отца, чтобы отец немедленно спрятался на чердак, а мы с матерью будем на дворе его удерживать. Затем я вышла опять во двор, дверь за мной захлопнулась и я подошла к матери, стоявшей перед бандитом.

— К сожалению, его сейчас нет, — ответила я. — Придется подождать.

— Я не разговаривать с ним пришел, а убить его, — пояснил разбойник.

— Все равно. Если его нет. Придется подождать!

— Я должен обыскать дом.

— Не советую это делать, — сказала мать. — Дом минирован.

— Что?

— Дом минирован. Что вы думаете? Мы так и дадимся! Вместе взлетим на воздух!

Григорьевец остановился. По городу давно ходили слухи, что мы никуда из дома не стараемся бежать потому, что он минирован, и в случае чего, взорвемся на воздух с нападающими.

— Я вас перестреляю, — сказал он, вынимая наган.

— Это возможно. Но в дом вы не войдете, — ответила мать.

— У вас в кармане револьвер, — вдруг крикнул он, видя, что мать положила руку в карман светра.

— Нет, — ответила мать, выворачивая карман, — но в дом входить нельзя.

— А вы знаете, кто я?

— Нет.

— Я — Страхалист.

Мы вздрогнули от ужаса. Страхалист был известнейший местный разбойник, еще до революции сидевший на каторге за изнасилование и убийство восьмилетней девочки. При Керенском он вышел из тюрьмы, и наводил террор на весь уезд. При гетмане он опять, за многочисленные зверские убийства, был долго разыскиваем, наконец схвачен, но судить его не успели — гетман пал. С тех пор о нем ничего не слышали — он ходил по Киевщине с батьками. А теперь вернулся на родину. Расчитывать на пощаду с ним было трудно. Это был настоящий садисть

— Так откроете дверь? — спросил он.

— Нет. В дом войти нельзя.

— А! Так? Хорошо, увидим. Я пойду за товарищами!

Он пошел со двора.

Мы с матерью бросились в дом. Отец несмотря на припадок, уже влез на чердак по лестничке, которую поставил себе на плечи пятнадцатилетний брат. Дверь, ведшая из кухни в переднюю, была заперта и толстое дышло, упиравшееся с одной стороны в нее, а с другой в стену, должно было удерживать ее, даже, если бы замок сдал. Но парадная дверь, в которую столько били прикладами, закрывалась плохо. Ее кое как укрепили.

Не прошло и получаса, как во двор ввалился Страхалист с целым отрядом вооруженных громил. Навстречу им выбежала тетка, сестра отца.

— Куда вы идете? Что вам нужно?

— Жидов громить, — ответили босяки.

— Помилуйте, какие тут жиды? Вы разве не знаете, чей это двор? Генерала Максимовича! Какие тут могут быть жиды!

Григорьевцы остановились.

— Все равно, не жиды, так буржуи, — сказал Страхалист.

— Жидов здесь нет, и быть не может! — заявила тетка. — И вы это сами прекрасно понимаете. Здесь искать нечего.

— Ну, пограбим генералов! — засмеялся Страхалист. — Чего тут?!

Григорьевцы уже собирались последовать его призыву, как

вдруг мимо ворот промчалось несколько человек, со штуками материй в руках.

— Это что такое? — спросили они, бросаясь за бегущими.

— Громят мануфактуру Фраткина! — крикнул кто то.

— Э! А мы чего здесь стоим? — спохватились разбойники и, несмотря на призывы Страхалиста, бегом ринулись за мануфактурой.

— Это вам так не пройдет! — угрожающе сказал рассерженный Страхалист. — Ждите гостей.

Он опять удалился.

Нельзя было сидеть и ждать, чтобы он пришел с ватагой грабителей убивать нас. Но бежать было невозможно. Не говоря уже о том, что больной отец просто не мог никуда идти, выйти из усадьбы было немыслимо, ибо всюду кишели григорьевцы и пристреливали прохожих. Было строжайше запрещено на все время погрома выходить на улицы, и уже несколько человек погибло так. Однако, я все-таки решила попытаться, ибо было мало вероятно, чтобы стали стрелять в меня. Убивали мужчин. Я отправилась в город, за помощью.

Никого из знакомых комиссаров не было. Буржуи сидели по домам, и просто не впустили меня, крича через окно, чтобы я ушла поскорее, ибо опасно со мной разговаривать в такой тревожный момент. Это была уже старая история, на которую я даже больше не сердилась. Все наши знакомые перестали нас узнавать, с тех пор, как у нас начались следствия, обыски и суды. Только Белоус по обыкновению никуда не бежал, а просто сидел на конспиративной квартире, где я его застала.

— Знаете, — развел он руками, выслушав меня. — Я ума не приложу, что делать. Сам я никуда отсюда выходить не могу, тем более, что я жду товарищей. Богунский вероятно вернется в город к вечеру. Эти долго не продержатся. Но до того, прямо не знаю, что вам посоветовать. Страхалист такой разбойник, что его трудно уговорить, тем более, что он наверное нанюхался кокаину. Они утром грабили аптеку.

— Но что мне делать?

— Постарайтесь, раз он приходит с товарищами, уговорить их; они наверное лучше него. Постарайтесь. Да. Не давайте им ворваться силой в дом — всех прикончат. Придумывайте, что хотите — только не это.

Я ушла. По дороге я заглянула на площадь, куда уже начал выходить народ — погром кончился. Вдруг я увидела Страхалиста, который шел с двумя босыми парнями, перевязанными пулеметными лентами и с винтовками в руках, и что то им рассказывая, направлялся к нашему дому. Я полетела домой со всех ног, обогнала их и успела вскочить в дом, когда они входили в усадьбу.

— Идут! — крикнула я.

В одно мгновение дверь закрыли, поставили бревно и стали ждать.

Через окно кухни они вскочили в дом, но очутились перед дверью, ведшей в переднюю. Она была закрыта.

— Открывайте! — кричал Страхалист. — Всех перебью! Сдавайтесь и откройте двери!

Мы молчали.

Посыпались удары прикладами. Замок сломался, но огромное бревно прочно держало дверь. Она трещала, но выдерживала ужасные удары. Мы ни живы, ни мертвы, стояли, глядя на нее.

— Давайте лом! — крикнул Страхалист.

Я с ужасом вспомнила, что в кухне стоял железный лом, которым зимой кололи лед. Под ударами лома крепкая дверь начала сдавать. Бревно дрожало. Дверь дала трещину. Ждать было невозможно. Я вспомнила совет Белоуса.

— Выпустите меня на двор, через парадную, — сказала я. — Надо их отвлечь от двери.

За мной быстро захлопнули двери, опять поставили бревно, и я очутилась во дворе, у окна в кухню. Увидев меня, они бросили лом, выскочили через окно, и кинулись ко мне.

— Стой! Иди сюда!

Я подошла к ним. Они схватили меня за локоть и подтащили к парадной двери.

— Кричи, чтобы дверь открыли, или к стенке! — сказал Страхалист.

Я неловко повертела за ручку двери, и пожала плечами.

— Она не отворяется! Делать нечего.

— Кричи, сейчас! Они откроют, а не то убью! — крикнул Страхалист.

— Что вы делаете? — тихо и с упреком спросила я его спутников. — За что вы меня мучите? Что я вам сделала? Чего вы хотите?

— Кричи, чтобы открыли! А то буду стрелять, — Страхалист поднял винтовку и прицелился.

— Дверей не откроют, — тихо продолжала я. — А вы меня застрелите даром. Зачем это делать? Не хорошо!

Увидя из флигеля, что в меня целит разбойник, маленькая двенадцатилетняя сестра прибежала на помощь.

— Ради Бога! Что вы делаете? Не стреляйте! — рыдала она, хватая их за руки. — Не убивайте ее!

— Мы и тебя убьем, — сказал Страхалист.

В это время к нам с визгом отчаяния подбежал семилетний двоюродный брат Марковский.

— Ой! Ой! — кричал он, не помня себя от ужаса, — не надо! Не надо!

Страхалист вышел из себя от этого крика и плача. Он бросил винтовку, и, держа в руках финский нож, с которым все время играл, кинулся на мальчика. Ребенок с воплем успел выскочить в маленькую щель в заборе, перед которой остановился взрослый бандит.

В это время мы с сестрой стали умолять григорьевцев.

— Да что же это такое? Это же ужас! За что вы хотите нас убить? Пожалейте нас!

Они переглянулись, нерешительно.

— Да это не мы, а он.

— Так спасите нас! Защитите! Зачем это?

— А деньги дадите? — спросил один.

— Нет у нас денег!

— Дайте гроши!

— Неоткуда!

— Если хотите, чтобы мы вас выручили — гоните гроши!

Но у нас денег действительно не было.

— Неужели вы нас убьете, потому что у нас денег нет? — спросила я.

Они опять переглянулись. Я видела, что они колеблются.

— Ради Бога! — сказала я. — Сжальтесь над нами! Вот он идет! Спасите нас!

— Ну хорошо, — кашлянул один.

Страхалист подошел к нам совершенно разъяренный.

— Ну! Становись к стенке! — сказал он мне. — Годи!

— Постой, товарищ! — окликнул его один из босяков. — Выпьем сначала! — Он вытащил из штанов большую бутылку спирта и подал Страхалисту. Тот крякнул, и почти залпом осушил ее. Но доза была уж слишком сильна. Он зашатался. Товарищи подхватили его под руки и, бормочущего, ругающегося и упиравшегося Страхалиста вывели из ворот на улицу.

Через час на площади затрещали пулеметы, Григорьевцы шарахнулись к вокзалу, от которого с тревожным воем, отходил их блиндированный состав. Богунский вступил в Золотоношу.

Однако, он лишь прошел через город, и опять вышел на правый берег Днепра. А через неделю, к нам вступил 2-й интернациональный полк.

Когда мы узнали, что пришли новые войска, я побежала смотреть на них. Они уже расходились по квартирам. Опасаясь, что они зайдут к нам в мое отсутствие, я поспешила домой и, пройдя через кухню, прямо вошла в столовую.

В дверях столовой, я остановилась Посреди комнаты на кресле сидел Страхалист.

— Здравствуйте! — насмешливо сказал он. — Помните меня?

— Да, кажется, встречались, — ответила я, не зная, что сказать.

— Только кажется?

— Да, да! Помню, — ответила я, опираясь на стол.

Он разглядывал меня, щурясь, и подсмеивался.

— Вас удивляет, что я здесь? Вот моя бумага. Теперь я комиссар интернационального полка, и мне отводят место в вашей квартире. Я выбрал. Буду жить здесь.

Он с видимым удовольствием ловил на моем лице следы тревоги.

Я молча взяла ордер. Это была правда — он был комиссаром полка. Во рту у меня пересохло, ноги подкосились, и я села на стул против него.

— Мы кое о чем говорили в прошлый раз. Не успели договорить. Теперь будет время.

— Да, теперь будет время, — ответила я, напрасно стараясь сообразить, что делать. Делать было решительно нечего.

— Вас не стеснит, что я буду жить здесь, — насмехался он.

— Нет, что же?! — сказала я, пожимая плечами.

— Вы помните, о чем мы прошлый раз говорили?

— Помню.

— Теперь будем продолжать, — засмеялся он, щуря глаза.

— А какую комнату вы возьмете? — спросила я.

— А вот эту.

— Прекрасно. Я приготовлю.

Мать встала и, оставив меня с разбойником, ушла в соседнюю комнату, где лежал отец.

— Надеюсь, что вам здесь будет удобно. Здесь есть телефон. Вам нужен будет, — сказала я, чтобы не молчать.

— Да... Теперь передо мной затворять дверей уже нельзя будет, — издевался он. — А то вы любите двери затворять. Теперь уже нельзя.

— Да. Нельзя, — ответила я.

— А ведь вам здорово не хочется, чтобы я здесь был.

Я пожала плечами.

— Все равно — вы или другой. Все зависит от того, что вы будете делать.

— Вот в том то с дело! Что я буду делать? — засмеялся он, глядя на меня все тем же тяжелым, насмешливым, жестоким взглядом.

— Я надеюсь, что так как вы теперь занимаете такой пост — комиссар полка, — то вы будете поступать правильно.

Он засмеялся.

— Как комиссар, я должен вытравить всю контр-революцию. А вы и есть гидра.

Возражать было нечего.

— Так вам здесь готовить комнату? — сказала я.

— Куда торопиться? Поговорим сначала.

Он развалился на кресле и закурил.

— Я жить буду во флигеле. Там комната лучше. А к вам зайду на днях, и решу, что с вами делать, — заявил он.

— Хорошо, — ответила я.

— Я к вам сегодня вечером зайду и посмотрю, что такое я с гидрой контр-революции зробить должен. Ждите меня, пока ни приду, и, чтобы все двери были открыты. Поняли?

— Да.

— Ну, вот. Теперь я пиду. А вечером буду опять. Побалакаемо!

Он отправился во флигель к тетке, выбрал себе комнату и приказал, чтобы у самой его кровати постелили постель тринадцатилетнего мальчика Марковского. Он очень просто объяснил, зачем это нужно.

— Ваш сын, — сказал он тетке, — должен быть у меня под рукой, чтобы я всегда мог его убить, если что не так.

Пришлось повиноваться. Оставалось надеяться, что спьяну или после кокаина, у него не будет галлюцинаций, и что он не прикончит мальчика.

В ожидании его прихода, мы не смели закрыть дверей, но я не могла дожидаться его в комнатах, и вышла в сад, перед домом. Было

часов восемь, когда он показался в воротах, и повернул к нашим дверям. Я вышла ему навстречу.

— Двери открыты? — спросил он.

— Да, — показала я на открытый вход.

— Ждали меня?

— Ждем.

— Что? Намучились? — спросил он насмешливо.

Я молча опустила голову.

— Вот подумаю, и решу, что делать, — сказал он, садясь на лавку. Я осталась стоять перед ним.

Он закурил и помолчал некоторое время, скручивая цигарку.

— Так что же робить? — спросил он пристально глядя на меня.

— Ничего, — вдруг сказала я. — Лучше всего, если вы ничего не сделаете.

Он нахмурился и встал... Сделал несколько шагов к дому, и остановился.

— Сегодня я не войду, — сказал он. — Дверь можете закрыть. Но на завтра опять ждите. И чтобы все было настежь. Бувайте здоровеньки.

На следующий вечер я опять стояла у входа, поджидая его.

— Як живете? — спросил он.

— Спасибо. Ничего.

— Ждали меня?

— Ждем.

Он остановился.

— Торопиться мне некуда, — сказал он, насмешливо глядя на меня. — Всегда успею!

— А что вы хотите сделать?

— А вы уже забыли?

Я замолчала.

— Ну вот и дожидайтесь, — издевался он. — Я пока пойду, а потом вернусь.

«Однако!» — подумала я. — «Надо же его как нибудь пронять. Нельзя же так сидеть!»

Я отправилась в город узнать, кто может иметь влияние на комиссара полка. Но узнав, что это Страхалист, все на меня замахали руками. Б городе над ним власти не было совсем. А командир полка и члены исполкома, просто выгнали меня, сказав, что не желают иметь никакого дела с субъектами, против которых отрицательно настроен комиссар.

Я вернулась ошеломленная. Голова кружилась. Что делать? Пришлось опять открыть двери и ждать Страхалиста.

Он пришел вечером довольно поздно. Я стояла у калитки сада.

— Здравствуйте, — сказал он.

— Что вы будете делать? — спросила я.

— Увидим, — ответил он, усмехаясь. — А вы на меня жаловаться ходили.

Я побледнела.

— Нет.

— Ходили. Мне рассказывали. Только надо мною здесь никого нет.

Я молчала.

— Вы этого не делайте. Я не люблю... Что это вам холодно? Вечер теплый! Что вам сказал командир полка, когда вы на меня пожаловались?

— Я не жаловалась. Я только просила узнать, что вы собираетесь делать.

— А что он ответил?

— Он сказал, что спрашивать вас ни о чем не будет. И что вы сделаете, что сочтете нужным.

— Это верно. Он меня боится. Меня все боятся. И вы берегитесь, ничего не придумывайте. Жаловаться на меня некому. А то я рассержусь.

Я молчала.

— А что, тяжело так ждеть меня целый день и не знать, что я сроблю вечером? — спросил разбойник. — Я подожду еще немного, а потом убью вас. Только не знаю еще когда. Иногда думаю — сегодня, а потом решаю, лучше авзтра. Вот и жду. И вы ждите...

— Нет! Так нельзя! — решила я. — Надо попробовать.

— А что это? Приятно? — спросила я очень развязно.

— Что?

— То, что вы делаете?

— А что я делаю?

— Пугать людей.

Он расхохотался.

— Да. Я люблю, чтобы меня боялись.

— Ну, кажется, это вполне достигнуто.

— Вы думаете?

— Вполне. Уверяю вас, — подтвердила я. — Больше нельзя.

Он смеялся.

— Знаете. Меня это даже интересует, то, что вы делаете, — сказала я. — Что то странное!

— Что?

— Да так. Ведь вы в сущности не злой человек. А нас вот порядочно дергаете.

— Вы думаете, что я не злой? — несколько удивился Страхалист.

— Конечно нет.

— Почему?

— Потому, что иначе вы нас давно бы уже убили. Кто вам помешает? А вы, хотя и грозитесь, но на самом деле зла нам не делаете. Значит, вы не такой злой, а только пугаете, дразните, вот и все.

— Ну, не всегда! — заметил он.

— Может быть. Но сейчас вы не злой, — повторила я. А из какого вы села?

— З Буромки.

— А ведь как буромчане летом немцев раздели! — улыбнулась я. — Вы там были тогда?

— Нет. Не был.

— Это было замечательно. Я очень обрадовалась. Немецкий отряд вернулся в одном белье. Потеха!

— Я тогда в тюрьме сидел.

— Бедный! Это очень тяжело! А у вас есть еще родные в Буромке?

— Да. Кажется есть.

— Чего же вы здесь стоите? — рискнула я, чувствуя, что все идет хорошо. — Войдем в дом.

Он посмотрел на меня.

— Вы не боитесь?

— Теперь — нет, — сказала я, и сказала правду.

— Ну, я пойду, — ответил он. — Можете запереть дверь.

— Спокойной ночи, — крикнула я.

На следующее утро я вышла в сад рано, чтобы увидеть Страхалиста до его ухода в город. Я хотела посмотреть, как с ним идет дело. Он поздоровался со мной, и остановился.

— А всетаки двери-то вы откройте вечером! — сказал он с обычной своей усмешкой. — Приду. Ждите!

— Открою, конечно, — улыбнулась я.

— А вы меня боитесь? — спросил он.

— Как когда, — ответила я. — Иногда да, а иногда нет.

— А сейчас?

— Сейчас — нет! А когда вас увидела в столовой, то очень испугалась. Но теперь я знаю, что вы вовсе не такой страшный, как думают.

— Я очень страшный, — ответил Страхалист. — Разве вы не знаете, что я сделал?

— Эх! Я старые сплетни не слушаю. Мне интересно, что вы потом будете делать. Надеюсь, что не будете очень злой.

— Увидим! — усмехнулся он, но я чувствовала, что опасность отдаляется.

Вечером он зашел к нам очень рано. Я его не ждала, и удивилась, услыхав вдруг его голос за своим плечом. Я встала.

— Дверь открыта?

— Нет. Простите. Закрыта. Но я сейчас открою.

— Ничего. Хай буде так. Я сегодня не зайду, — сказал он.

— Спасибо.

На следующее утро я опять встала очень рано. Проходя мимо, он окликнул меня.

— Сегодня можете дверь оставить закрытой. Я не приду.

— Спасибо.

С тех пор он перестал издеваться.

К нашему величайшему удивлению, за несколько недель своего пребывания в городе комиссаром интернационального полка, Страхалист ни разу не напился и не нанюхался кокаина. Я ждала этого каждый день, зная, что это будет конец. Но этого не произошло. Разбойник держался вполне прилично. Ему ужасно льстило, что он является такой важной персоной. Не знаю, поэтому, или по

другой какой нибудь причине, но он был безукоризненен. Почти каждый вечер, он обменивался со мной несколькими словами. Раз пять он обедал с нами, и только изредка пускал какую нибудь туманную фразу, намекая на наше первое знакомство. Он ни разу не зашел к отцу, хотя двери ему теперь были, конечно, открыты. Брата, спавшего в его комнате, он совсем не тревожил. Иногда он поддразнивал меня, сидя вечером на завалинке, намекая, что всегда может переменить свое поведение и опять начать нас преследовать. Но было ясно, что он ничего делать не собирается, и просто шутит, на свой лад.

Все жалели нас, зная, что у нас живет Страхалист, который сейчас превратился в представителя власти. Но он не сделал решительно ничего. Может быть его удовлетворяло сознание своего могущества и нашей от него зависимости. Не знаю. Но это было так.

Через некоторое время интернациональный полк ушел. Страхалист простился со мной очень любезно, и сказал на прощание:

— Я вернусь еще. Так вам бояться будет нечего. Не трону.

Я поблагодарила его.

**
*

Богунский со своей бригадой опять вошел в город, и за отъездом Сиппельгаса, стал самой главной властью в городе. В ЧК стал председательствовать Усенко. После ухода Страхалиста мы вздохнули свободнее, думая, что нашим мытарствам приходит конец. В ЧК все шло хорошо. Допросы продолжались, но гораздо реже, и, повидимому, отца арестовывать не собирались. Однако, скоро наши иллюзии разлетелись.

Однажды, выходя из Следственной комисси, я столкнулась с председателем ЧК, который стал сердито кричать, что завтра будет суд. Я опешила. Долго умоляла я его, повторяя все старые аргументы, и просила позволить мне отвечать на суде вместо отца. Наконец, он кивнул головой.

— Хорошо! Если хотите, отвечайте сами, хотя это очень глупо. Идите-ка в зал трибунала. Там судят саботажников. Увидите, как идет суд, и, если хотите, завтра являйтесь. Но я лично, не советую.

— Почему?

Он пожал плечами.

— Потом будете на себе волосы рвать, думать, что из за вас приговор был более строг, что не сумели отвечать... вечные женские истории...

Я вошла в зал заседаний и села на заднюю скамью. За судейским столом, покрытым красной скатертью, сидело несколько человек судей и среди них комиссар Освиты Орда. Присутствовать на суде мне было невыносимо тяжело, в особенности при перспективе самой сесть туда завтра. Но делать было нечего. Как в тумане слушала я вопросы судей, чтение каких то документов, ответы подсудимых, угрозы и замечания летевшие из рядов публики. Я так и не поняла, в чем было дело. После трехчасового разбора, суд уда-

пился, но вернулся очень быстро. Все встали — один смертный приговор — двое получили каторжные работы на какой то срок. Последние сияли от радости. Я вышла из залы совершенно разбитая.

Усенко в корридоре остановил меня.

— Ну, вот, вы видели, как это происходит. Значит, завтра ваш черед. Вы все же хотите отвечать сама?

— Если позволите, — вздохнула я. — Но... какой будет приговор?

Он усмехнулся.

— Увидим. Но вы не очень волнуйтесь. Сейчас судьи снисходительны.

— Да... — протянула я.

Он засмеялся.

— Вы о сегодняшнем. Это другое дело. Он был гайдамак, каратель, убийца.

— Скажите мне, — решилась я. — Зачем это? Ведь нас обвиняют не столько в каком нибудь действии, сколько в этой самой... контр-революции... Ведь вы бы сами удивились, если бы оказалось, что я всю жизнь была революционеркой. Как я могла ею быть? За что вы меня наказываете? Это же положение безвыходное...

Чекист серьезно взглянул на меня.

— А вы думаете что? Это для забавы... от кровожадности, что ли?.. Весело расстреливать? Да? — он сплюнул. — Эх, барышня! Не мы вас, так вы нас. Этих сволочей не пристрелишь, так в два счета придушат революцию, и опять знущатьcя над народом будут.

Я тоскливо смотрела на окно, через которое приветливо кивала ветка акации. Так хорошо жить...

— По вашему такая это страшная несправедливость, что вас теперь немного поприжали, — продолжал чекист. — А вы, паны, сколько сотен лет катовали народ, жили сладко, а люди вокруг вас сдыхали от голоду и от непомерной работы. Не вредно, коли и вы сейчас узнали горькую жизнь.

— Да, разве что, — вздохнула я. — Ну, что же! Надо, так надо! Однако, мне до смерти не хотелось идти перед Трибунал.

— Вы не можете отложить слушание дела?.. — попросила я.

— Не вижу надобности. Следствие кончено. Надо судить.

— Отец болен. Что вы с ним сделаете после приговора?

— Переведем в тюремную больницу.

Я ахнула. — Отложите суд, пожалуйста.

— Незачем, — отвечал чекист.

— Ведь это от вас зависит.

— Не вполне. То есть, коллегия всегда может отложить, конечно, но Богунский удивляется.

— Ах, Богунский!

— Суд будет завтра, и скажите спасибо, что я вам позволил отвечать самой.

— Спасибо большое, но лучше бы отложить!

— Нельзя.

Я вернулась домой в тоскливой нерешительности. Что делать...

Еле пообедав, я села с матерью обсудить положение. Вдруг дверь дрогнула от такого грохота, что мы невольно привскочили. У входа стояло человек пятнадцать матросов.

Первым вошел высокий молодой матрос приличного вида. Он показал ордер Богунского арестовать отца. Мы замерли от ужаса. Этого я не ожидала.

— Неужели вы поведете его в тюрьму? — ахнули мы.

— Нет, он останется здесь под домашним арестом. Но мы становимся в караул.

В это время остальные матросы, гремя винтовками, вошли в квартиру.

— Никто не смеет выходить! — прибавил командовавший матросами начальник. — Сидите здесь все!

Матросы вошли в комнату отца, лежавшего в постели, и расселись вокруг него. Я очень внимательно стала их рассматривать.

Начальник их, Чирка, был большевиком строгого, выдержанного типа, с какими я любила иметь дело. Очень сдержанный, суровый, настороженный, всюду чующий измену и опасность, он был явно поглощен своим делом, и зорко наблюдал за нами, но жестокости, садизма, как у Страхалиста, в нем не было вовсе. Он, конечно, мог нас убить, но только по приказу, или за дело, а никак не из озорства.

Рядом с ним, совершенно другого типа, но тоже симпатичный, сел молодой украинец, скорее петлюровского, чем большевистского типа. Одно его обращение, «добродию», заставило меня насторожиться. Такие в отдельности иногда бывали симпатичными, хотя в массе, допускали вопиющие ужасы. С ним можно было бы разговориться насчет украинских песен и т. д.

Зато дальше сидел очень страшный тип. — Темноволосый, с синими, грустными, пьяноватыми глазами, лет 25-30, он глядел на нас с нескрываемой враждой. Осмотрев обстановку с большим любопытством, он сел с винтовкой прямо на кровать к отцу, и начал издеваться.

— Вы генерал будете?

Мы молчали.

— А вы знаете, что мы с енералами делаем? Я вот в Петрограде шестерых сам расстрелял. Один был такой, как вы, толстобрюхий. Я штыком брюхо распорол. Кишки выползли. А он еще живой был... Орал!

Мы продолжали молчать, а я внимательно следила за впечатлением, которое производили эти речи на остальных. Большинство — не слушало. Украинец потупился. Чирка хладнокровно писал что то в своей записной книжке.

— А офицерам мы лампасы и погоны вырезывали. Занятно. Один был такой. Не хотел кричать! Я его и так и этак! Он не кричит. Тогда мы его спиртом полили с товарищами и подожгли. Честное слово. Как кошка крутился, пока не подох. Хохотали!

Его речь прервал Чирка.

— Товарищ Кибальник, посмотрите-ка, стоит ли караул у во-

рот в саду. И станьте там, а то еще кто нибудь выскочит. Без ордера никого из дома не выпускать!

Я благодарно взглянула на Чирку. Вернее всего Кибальник врал, и ничего подобного не было, но на нервы в такую минуту эти рассказы действовали ужасно.

Кибальник вышел, выругавшись площадной, отвратительной бранью. Я стала раздумывать о том, как получить разрешение выйти из дому для встречи с Белоусом. Отпустят ли меня, и можно ли мне оставить дом? Впрочем, поведение Кибальника меня еще более убедило в том, что невозможно допустить суд. Иначе какой нибудь такой пьяный пристрелит по дороге или в зале. Надо увидеть Белоуса.

— Простите. Разрешите ли вы мне выйти из дому? — спросила я Чирку.

— Зачем?

— Должна отнести работу комиссару Освиты.

— Идите, но помните, что за вами следят.

Чирка провел меня до дверей и крикнул Кибальнику, чтобы меня пропустили. Я помчалась к Белоусу на Московскую улицу. Его не было дома. Пришлось подождать. Уже стемнело, когда в садике раздались шаги и вошел комиссар. В двух словах я рассказала ему в чем дело. Завтра суд, отец арестован, дом полон матросами — все зависит от Богунского.

— А как в ЧК? — спросил он.

— По моему, отложили бы, если бы не Богунский, — ответила я.

— Хорошо, я справлюсь, в чем там дело, — ответил Белоус.

Я поспешила домой. Там матросы расположились в столовой, кроме украинца и молоденького балтийца, оставшихся с отцом. Чирка ушел, что меня очень огорчило. С ним я была гораздо спокойнее.

14 матросов расселось вокруг обеденного стола, держа в руках винтовки. Я села рядом с ними.

— А вы из каких краев? — спросила я своего соседа, худощавого безусого матроса, с резко очерченным, угловатым лицом и щетинистым подбородком.

— Чего? — протянул он недовольным тоном.

— Из какого вы села?

— А вам что?

— Ничего, — улыбнулась я. — Просто спрашиваю.

— Не ваше дело, — резко ответил он.

Я внимательно посмотрела на него.

Он хмуро молчал, играя рукояткой маузера. Почти у всех матросов, кроме винтовок, были револьверы.

Напротив меня сидел совсем молодой мальчишка, лет 16-17-ти, явно не пролетарского типа. Еще детское, безусое, но какое то неестественно-напряженное, злобное лицо. Холодные, наглые, хотя и очень неглупые глаза. Он походил или на кадета, или на гимназиста, но никак ни на матроса или рабочего.

— Как вам нравится этот предмет? — спросил он меня, и тон и манера говорить, также изобличали вовсе не пролетарское воспи-

тание. Он презрительно щурясь, вытащил из кармана браунинг и сунул его через стол, прямо мне под нос.

— А что? Кажется брауниаг хороший. Даже отличный!

— Я им десять буржуев убил, — заявил мальчишка.

— О! — сказала я очень хладнокровно.

— К буржуям жалости иметь не надо, — заявил мальчишка. — Всех к стенке, до единого. И вас, например, обязательно надо расстрелять.

— Да, — сказала я, рассеянно глядя по сторонам. — А вы где учились, в корпусе или в гимназии?

— Я учился... Я нигде не учился. Я учусь на поприще революционной борьбы. Борюсь за диктатуру пролетариата.

— Это очень трудное дело, — вздохнула я. — А вы откуда? Из Петрограда?

— Да, из Петрограда. Я коренной балтиец! А сегодня ночью мы всех вас перебьем.

— А вот и обед! — вздохнула я облегченно. — Закусите.

Этот мальчишка был очень опасен. С ним не разговоришься — ничего такие типы не понимают! Хорошо, что его другие не очень слушают.

Мы с матерью поставили на стол миску с борщом и я стала разливать по тарелкам. Матросы в это время резали хлеб. Я налила и себе, и села есть вместе с ними, по обыкновению. Мать ушла к отцу.

Во время еды очень удобно присматриваться к людям. Самое лучшее время.

Матросы медленно и звучно жевали, облокотившись на стол и откусывая крепкими, здоровыми зубами кусищи черного хлеба. Рядом со мной сидел высокий, суровый, серьезный парень. Он неуклюже поставил винтовку за стул, так что она грозила свалиться; у пояса, в кожаной кобуре, висел офицерский наган. Он выглядел совершенно, как те солдаты, к которым я с детства привыкла, только взгляд был не тот: повелительный, хмурый, настороженный. Из кармана у него торчал какой то обрывок газеты. Я наклонилась и прочла: «Правда»; матрос сознательный. Я решила им заняться. Может иметь влияние на товарищей, а следовательно, быть опасным, или наоборот...

Следующий за ним, веселый, черноусый, с карими глазами, явно важничает и задается, но не злой. С ним будет легко. Он думает о чем то забавном, и углы рта его чуть-чуть подымаются. Но затем, он что то вспоминает, откидывается на стуле и строго смотрит на меня. Не страшно...

Потом мальчишка балтиец, от которого я старательно отвожу глаза, чтобы он не привязался опять. Этот будет дергать, но все же он очень уж молод. Если остальные не двинутся — он не сможет слишком навредить. Будет мучить немного — вот и все!

Рядом с ним — рябой хлопец с рыжеватой бородкой, очень внимательно осматривающий обстановку, и косящийся на серый сундук в углу. Ага! Ведь сундук тоже развлечение — хорошо, что он напомнил. Пока будут рассматривать вещи, не будут злиться. Пусть смотрят сундук.

А за ним, вот тот брюнет, с золотыми зубами... Ой! Этот страшный! Взгляд полупьяный, несет от него водкой... На руке золотой браслет... золотые часы выглядывают из кармана, и какой то странный крупный перстень на правой руке. Гм!.. Он смотрит на меня насмешливо и презрительно, и я быстро отвожу глаза.

Зато его сосед с бирюзовой серьгой в одном ухе, с черненькими усиками, производит хорошее впечатление. Умный, проницательный взгляд сразу поражает меня. Толковый, должно быть... Значит, можно разговориться. Всегда с умным легче... Он, один из всех сидящих, следит за мной очень внимательно, и я смущаюсь от его властного взгляда. Придется с ним очень считаться!

Рядом, два совсем юных матроса, с еле пробивающимися усами. Один славный — краснеет, как девочка. Другой, глуповатый на вид, но тоже не злой.

Меня останавливает от дальнейших анализов испытующий взгляд черненького с серьгой. Он следит за мной, и мне немного страшно. Я не решаюсь прямо заговорить с ним, и предлагаю ему борща. Он берет. Едят почти молча. Изредка матросы перебрасываются фразами. Но вот обед кончен, ибо все едят быстро, глотая крупные куски.

Рыжебородый, оттолкнув стул, встает и потягивается, зевая. Затем он направляется к шкафам и начинает осматривать содержимое, коротко бросив мне:

— А вы здесь ничего не припрятали? — как бы для объяснения своего любопытства. Но я знаю, что ему просто интересно взглянуть на мало знакомые вещи.

Я тоже встала.

— В этом шкафу лежат книги. Смотрите — они хорошие. Есть даже очень ценные. А вот там в сундуке, тоже разные вещи. Взгляните!

— Что это такое? — грозно спросил матрос, указывая на черный предмет на этажерке. — Это что?

— Чернильница!

— Врешь! Это бомба! — вскричал он. Все обернулись. Я пожала плечами.

— Посмотрите и увидите.

— Возьми ее сейчас же сама, и открой, — приказал он строго.

Я отвинтила крышку изящной чернильницы, сделанной из ручной австрийской гранаты.

— Вот!

Он посмотрел очень серьезно и взял ее у меня из рук.

— А это что?

— Книга.

— Врешь! Это ящик. Иш деревяный!

— Она очень старинная, — пояснила я. — Тогда крышки на книгах делались деревянные. Это интересная и редкая вещь. Осмотрите ее. Таких книг теперь немного.

Он повертел ее в руках и поставил на полку.

— Обыщем-ка сундук, — предложил он, глядя на товарищей.

— Пожалуйста. Ключей не надо. Замки давно поломаны, —

сказала я, ибо, действительно содержимое сундука исследовалось уже несчетное количество раз. — Он открывается просто так. Там — занятные штучки. Посмотрите!

Матросы поднялись из за стола и подошли к нам. Раскрыли крышку. Двое сели на край сундука и принялись вытаскивать оттуда вещи.

— Что это такое?

— Это веер, — сказала я. — Он открывается, как хвост у индюка. Разверните его... Вот! А теперь машите им Видите — ветер получается. Это делают, когда жарко.

Матросы засмеялись и стали друг друга обмахивать моим кружевным веером.

— Оце, буржуйски примхи! — возмутился сознательный большевик с «Правдой». — Чорт их дери! Машут штукой, чтобы ветер делать! Черти!

Из сундука вынули карманные часы отца с разными сведениями о положении луны, о дне, числе, месяце, годе и т. д. Это отмечалось маленькими кружочками, луночками, звездочками... Часы чрезвычайно понравились матросу с бородкой. Он никак не мог от них оторваться. Я решила их ему подарить.

Затем, из сундука показался театральный, перламутровый бинокль в золотой оправе. Они взглянули.

— Ага! Да! Мы это знаем!

— А посмотрите-ка в большие отверстия глазом.

Их рассмешило, что предметы оказались очень маленькими. Особенно это заняло двух деревенских ребят. Они присели на стол с биноклем — растягивали его, втягивали, смеялись и били друг друга по плечу.

Привлек внимание серебряный несесер с пилочками и ножничками. Они даже попробовали отрезать себе ногти кривыми ножничками. Но выбрали слишком тонкие. Ничего не вышло.

— Это не годится, — сплюнул атлетического сложения, загорелый, широкоплечий матрос, пытавшийся отрезать свой огромный ноготь. — Ножом сподручнее.

— Нет, отчего? Годится, — возразила я. — Только привыкнуть надо и ножнички брать потолще.

Далее матросы заинтересовались перочинными ножами, которых у нас было очень много, и свистками на кожаных тесемочках, которые отец когда то употреблял во время маневров. Я раздала им их на память, что очень всем понравилось.

Потом вышла на свет Божий готовальня.

— Это что? — подозрительно спросил Луцек, матрос с золотыми зубами. Я объяснила, взяла циркуль и надев на него маленький карандашик, показала, как чертят круги ; рейсфедер тоже понравился. Его свинчивали, развинчивали, и исчертили несколько листов бумаги.

— А вот что еще интереснее, — сказала я, оставляя их у сундука и переходя к столу, где стоял дедовский микроскоп. — Смотрите!

Я выдвинула микроскоп, посадила на стеклышко каплю грязной воды и отстранилась.

— Видите. Если так смотреть на воду — в ней ничего не видно. Чистая. А если туда смотреть в эту увеличительную трубку, то видно, что в ней полно маленьких животных.

— Что? — возмущенно завопил рыжий матрос. — В воде какая то дрянь, а вы ее нам давали пить.

— И я ее пила!

— Выпей сейчас, — грозно приказал матрос, наполняя водой стакан. — Ну! — Я выпила. Он подозрительно следил за мной.

— Чего вы так? — спросила я. — Я вам дело рассказываю, а вы сердитесь, как будто.

Он сурово смотрел на меня, но молчал.

— Смотрите, и не сердитесь. Я тут не при чем. Видите — вода. Я ее пила только что и опять буду пить. На простой взгляд, она чистая. А на самом деле, в ней живут маленькие животные. Ну, рыбки, что ли, но очень-очень маленькие, так что простым глазом не увидишь.

— А! Рыбки! — качнул головой матрос.

— Так если в воду смотреть в эту трубку, то эти рыбки видны. Смотрите, как они там крутятся.

Они посмотрели. Двое очень заинтересовались. Остальные отошли обратно к сундуку. Я осталась у микроскопа, и продолжала давать всякие пояснения двум матросам.

Атмосфера в комнате совершенно разрядилась. Мать выглянула из комнаты отца и, видя, что все благополучно, ушла опять к нему. Мы не менее часа возились у микроскопа. Я достала «Мироведение» и показала им, как в книге нарисованы те «рыбки», которые они видят в микроскоп. Раз десять мы меняли каплю воды, ибо они хотели убедиться, что «рыбки» действительно в воде, а не нарисованы в трубке. С этими двумя парнями у меня к концу сеанса получились отличные отношения.

К нам подошел худой матрос с якорями на руках.

— А вы бы барышня, присмотрели за сундуком, — сказал он. — А то так бросили. Неравно — растащут!

— Что вы? — удивилась я. — Разве здесь есть воры?

— Воры, не воры, а смотреть за вещами надо.

— Они сами присмотрят, — ответила я. — Чего мне там стоять? Мы здесь заняты.

Я опять обернулась к микроскопу. Он посмотрел на меня, качнул головой и ушел к товарищам.

— Ты куда это кладешь? — услышала я через минуту его сдержанный голос. — Положи обратно.

— Чего? Нельзя и посмотреть?

— Смотреть — смотри, а клади обратно.

За сундуком присматривали очень эффективно.

Вынули компас, затем бутылку одеколона. Они с таким вожделением посмотрели на него, что я решила немедленно его ликвидировать, ибо если они начнут пить, то мы погибли! А в те времена одеколон пили.

Я выхватила бутылку и вылила каждому одеколону на руки. Комната переполнилась крепким запахом.

Украинец, Гордеенко, все время сидевший у отца, выглянул и, увидя, что тут весело, присоединился к нам. Отец остался совершенно один.

Затем стали смотреть пакет с кружевами и монистами моего украинского костюма, и кучей вышитых украинских лент.

— А шикарни стрички, — сказал славный матросик с круглым лицом. — Меня дивчина одна просила ей достать. Таких в городе нема!

— Возьмите, — протянула я ему три ленточки, очень красиво вышитые. — У меня много. Сейчас таких достать нельзя.

Матрос колебался и посмотрел на остальных. Но я свернула ленты и решительно подала ему.

— Это на память. Передайте вашей знакомой. — Он взял.

— Ленты это вздор, — заявил широкоскулый, вихрастый парень с подбитым глазом. — А вот компас — это другое дело. Компас бы я взял.

— Берите, пожалуйста.

— Он сунул его в карман.

Но два матроса, сидевших на сундуке, встали и закрыли крышку.

— Нечего растаскивать, — сказали они. — Этак все разберут. Нечего!

Мы перешли к столу.

— А вы знаете песни? — спросила я. — «Реве тай стогне», или «Тече ричка»?

Украинцы улыбнулись.

— Звычайно!

— Споем! — предложила я.

Мы запели. У вихрастого оказался чудный, глубокий, бархатистый баритон. Тенора были похуже. Сестра, которая впоследствии первой окончила Парижскую Национальную Консерваторию и обладает замечательным голосом, уже тогда пела очень хорошо. Я вторила. Матросы пели с удовольствием. Мы сидели, объединенные родными звуками. Боже, какое несчастье, что мы считаемся врагами!

В это время, на звуки песни, со двора вошел Кибальник и двое караульных.

— Это что же? Вы здесь спиваете, а мы — стой на дворе? Мы сменяемся!

Матросы недовольно переглянулись.

— Кто пойдет на двор?

— А хай его! Они все здесь сидят! Нечего на дворе зябнуть. Скучно.

— Чирка казав! Прииде дивиться!

Два матроса поднялись и нехотя вышли. Кибальник и его спутники расселись за столом.

— А когда пустим кровь буржуям? — спросил язвительно Кибальник. — Вот вас, барышня, надо произвести в генералы.

Я молча смотрела на него, хотя не поняла, что он хотел сказать.

— Вы знаете, как производят в генералы? — спросил он, откидываясь на стуле и распластав на столе жилистую, смуглую руку с короткими пальцами, на которых сверкали кольца. — Это ножиком делается. Сначала производят в офицеры — дают погоны, и на грудь разные ордена. А генералам прибавляют лампасы.

Он смотрел на меня мутными серо-голубыми глазами, следя за производимым впечатлением.

— Брось! — остановил его черненький с серьгой.

— Чего брось? Я рассказываю барышне. Они не знають! — насмехался Кибальник.

— Дело стоющее! — засмеялся парень, вернувшийся со двора, и прибавил что то, чего я не поняла, но отчего Кибальник расхохотался.

— Вот, товарищ Авраменко, расскажи-ка барышне, как мы офицерье в топку бросали. А!

— А як старую графиню, чи княгиню, в ихнем имении спалили...

— Что это у вас такие грустные разговоры, — сказала я. — Все война да война! Расскажите-ка лучше, где вы плавали. За границей были?

— А! Отвиливаешь! Не хочешь слушать, как вас буржуев ликвидируют! Послушай, послушай! А потом сама увидишь, этой ночью. Ждать не долго.

К нему присоединился Авраменко и молодой балтиец, до того державшийся спокойно.

— Буржуи нашу кровь пили. Теперь ваш черед! Этой же ночью к ногтю прижмем! А тебя, барышня, сначала в генералы произведем, а затем к стенке. Вот смотри-ка этот нож. Чего же ты? Бери его.

Он повелительно сунул мне в руку большой, слегка заржавленный, не то нож, не то кинжал. Я взяла.

— Видишь, буржуйская кровь запеклась! Вот этим самым ножем я у тебя на спине ремни вырежу. Увидишь, какие красивые выйдут — беленькие!

У меня тяжело застучало в висках и во рту пересохло. Балтиец угрожающе играл револьвером.

— Чего долго ждать! Начнем сейчас! — засмеялся Кибальник. Я взглянула на остальных матросов. Они молчали. Я встала.

— Вы, кажется, устали. Разве не пора спать? Куда же вы ляжете. Надо постели приготовить.

— Ложиться будем в ваших кроватях, — смеялись Кибальник с балтийцем. — А вы к тому времени сыграете в ящик. Так беспокоиться о постелях нечего!

Остальные матросы хмуро молчали. Я не на шутку испугалась. Почем знать? Могут прикончить! Еще несколько раз старалась я завязать более мирный разговор, — но безрезультатно. Эти попытки только смешили Кибальника, видевшего мой страх. Так прошло томительных полчаса, показавшиеся мне целой вечностью.

Вдруг на дворе раздались шаги, и в комнату вошел Чирка. Я облегченно вздохнула. При нем самосуда не будет.

— Арест снят, — сказал он. — Вы свободны. Но все-таки эту

ночь караул останется здесь — просто так.

— На постое. Располагайтесь здесь на ночь, товарищи.

— Подушки и одеяла у нас есть, — заметила я. — Но куда вы ляжете? Вас 16 человек, а у нас только пять кроватей на всех.

Чирка посмотрел на меня.

— Вы останетесь в своих постелях, — ответил он. — А товарищи разместятся здесь. Дайте им одеяла и подушки. Только одно! Запирать вашу дверь нельзя. Она должна остаться открытой, чтобы они всегда могли войти.

— Хорошо, — ответила я.

Чирка вошел к отцу объявить о снятии ареста.

Кибальник, при входе начальника, умолк и начал о чем то перешептываться с Авраменкой и балтийцем. Они смотрели на меня с презрительной насмешкой. Я очень испугалась. Что они сделают ночью?

Нахмуренный парень с «Правдой» и Лега, один из матросов, которых так заинтересовал микроскоп, поймали мой перепуганный взгляд. Они переглянулись. Чирка отдал еще какие то распоряжения и вышел. За ним вышел Лега. Через минуту Чирка вернулся.

— К товарищу Богунскому в караул завтра в четыре часа становятся Кибальник и Авраменко. Вам лучше сейчас же отправиться в сотню. Кибальник и Авраменко недовольно фыркнули.

— Это отчего? Придем потом!

— Не потом, а сейчас! — отрезал Чирка. — Снимайтесь, товарищи! —

Они медленно подобрали винтовки, пояса, шапки и последовали за Чиркой. Как я обрадовалась!

Когда они ушли, матросы стали располагаться на ночь. Я вынесла им подушки и одеяла. Они очень ласково успокоили меня.

— Ложитесь спать, барышня. Мы здесь устроимся. Вы не бойтесь. Вас никто не тронет. Спите спокойно. — Я благодарно улыбнулась им.

Я быстро разделась и юркнула в кровать. От страшной усталости, я заснула немедленно. Все равно — спи не спи, они сделают, что сами вздумают. Разве мы могли бы сопротивляться? Среди ночи я проснулась. Все было тихо. Они мирно храпели до самого утра.

Часам к шести они начали вставать, прикрыли нашу, до того настеж открытую дверь, и стали собираться уходить. Я встала с матерью, дала им чаю, и они ушли, дружелюбно простившись с нами.

**
*

Ровно через пятнадцать дней после первого прихода Чирки, к нам опять явилась дюжина матросов, с ордером Богунского. Они арестовали отца, но добавили, что арест будет домашним. Потом мне рассказывали, что Богунский сделал это, желая с нами покончить, и думая, что через несколько дней, караул с нами расправится. Невозможного тут нет ничего, ибо такие случаи бывали. Но я, лично, это-

му не верю. Если бы он этого, действительно, хотел, то оно бы, конечно, и состоялось.

Как бы там ни было, Чирка оставил у нас 13 матросов в карауле, приказал нам без разрешения никуда не выходить, и ушел.

Матросы расположились в столовой на стульях, столах, на подоконнике. Двое зашли к отцу, лежавшему в постели, но им стало скучно и они также присоединились к нам. Я села тут же рядом, следя за их настроением. Среди них было несколько наших старых знакомых: Лега, который тотчас же начал крутить микроскоп, Кибальник, уже отпускавший двусмысленные шуточки, рыжий матрос с бородкой, перебиравший книги в шкафу, Авраменко, насмешливо посвистывавший, глядя на меня.

Произведший на меня впечатление такого энергичного — матрос с черными усиками, Яценко, сел против меня, за стол, и упер голову в обе ладони. Скуластое лицо его, с неправильными чертами, но умным, решительным взглядом, было сердито-нахмурено. Огромные, волосатые кулаки... Кривая усмешка...

— Вас били когда нибудь, барышня?

— Нет. Никогда.

— А вот нас летом били, и здорово! — Глаза его блеснули. — Вы знаете кто?

— Не знаю, — ответила я еле слышно.

— С... с..., ваш братец! Приехал до нас в Бубново... Их, чертей, было 17 человек. Реквизировали курей, утей, пьянствовали. А на утро созвали селян, поклали на землю, и выпороли 126 человек. Вот я и пришов подивиться, яки вы с себе будете, сволочи!

Он смотрел на меня с холодной злобой.

Опять! В декабре — Белоус! Теперь — этот человек.

К нам подошло несколько матросов с винтовками.

— Ось, нас здесь шесть хлопцев с Бубнова, которых они катовали.

«Шесть из тринадцати — половина», — мелькнуло у меня в мозгу. — «Здесь половина Бубновских!.. Сделают все, что захотят... Что же это будет?»

Матросы обступили меня и разглядывали очень внимательно. Я молчала. Отвечать было нечего.

— Подлецы! — сказал Яценко. — Правильно делает народ, что освобождается от катов?

Я опустила голову.

— Ну, что же вы? Правильно, что мы сбрасываем катов? — повторил он.

— Правильно, — ответила я.

— Правильно, что мы, пролетарии, ненавидим буржуев, и бьем их?

— И это понятно.

— Так не удивляйтесь, коли мы с хлопцами вас прижмем...

— Я не удивлюсь, — чуть слышно ответила я. — Это довольно естественно, хотя и очень тяжело.

— И нам было тяжело, — сказал он.

— Совершенно верно, — ответила я.

Матросы слушали разговор молча. Я оглянулась на них. Всюду вокруг суровые, нахмуренные, холодно-враждебные лица... Тоска...

— Вам, небось, и горя мало было, что селян катуют. Кушали себе кохфий с мармеладом. А до селянской беды — дела нет!

Я молчала.

— Что ж вы не отвечаете?

— А что мне вам сказать? Оправдываться нечем — с вами поступили отвратительно. Что бы вы теперь ни сделали — жаловаться будет не на что. Если я сейчас стану возмущаться теми... говорить, что я им не сочувствую, вы подумаете, что я это делаю из страха. Просить вас пожалеть нас — стыдно... Потому что вас тогда не пожалели. Что мне сказать?

Сидевший рядом с Яценкой, другой Бубновский хлопец, Медведь усмехнулся.

— Чего ты барышню лякаешь, — сказал он. — Вона ж ничого не сробила.

— Я не лякаю, а тилько кажу ей, яки ихние гайдамаки були подлецы.

— Что подлые, то подлые, — согласился Медведь.

— Гадючьи выродки... — выругался широкоплечий, черноволосый матрос с вытатуированными якорями на волосатых руках и расстегнутой груди. Я смотрела на них с мучительным чувством стыда и страха. Противнее всего было то, что я не могла, как обыкновенно, уверять их в том, что мы вовсе не враги. Сейчас, когда они с винтовками у нас на квартире — мы не враги! А летом их избивали!

— Ну, годи, — сказал Яценко, — пидемо.

Все встали. Яценко направился к комнате отца. Я схватила его за рукав.

— Что вы сделаете?

Он посмотрел на меня с усмешкой.

— Ничего...

— Он в этих делах не участвовал, — пробормотала я с тоской.

Яценко рассмеялся.

— Генералы сами не порют. Других посылают.

— Он никого не посылал!

— Эх, барышня! Долго возиться, разбирать, чи це вин, чи це другий хто! Все вы хороши! А гайдамаки, разве разбирали, кто виновать у нас, хто ни. Выпороли 126 человек — та и годи!

Бубновские опять подошли к нам.

— Что вы сделаете? — спросила я отчаянно.

— Коли я шел сюды, — сказал Яценко, — я хотел с хлопцами вас прижат так, чтобы и вы перед нами плакали и кланялись, як наши жинки перед сучьими гайдамаками...

Я тяжело переводила дыхание, глядя на их суровые, властные, серьезные лица.

— Не делайте этого, — попросила я.

Он пожал плечами, взял шапку, и открыл дверь к отцу, легонько отстранив меня рукой.

— Здесь есть ктось? — спросил он.

В комнате сидела одна мать. Отец спал.

— Все в порядке. Пидемо, — сказал он затворяя дверь. — Вы, барышня не лякайтесь. Мы тилько рассказали вам, яки вони булы каты.

Я тревожно смотрела на них, не зная, шутит ли он или говорит правду.

Часть матросов, почти все Бубновские, вышли в сад, остальные стали разглядывать альбомы и «Ниву». Я сначала последовала за Бубновскими, ибо хотела выяснить их намерения.

Они расселись на траве, сложив винтовки в угол передней, и стали играть в карты. Я несколько успокоилась.

— Вы не бойтесь, барышня, — сказал мне Медведь. — Вони ничего не сробят вам. Мы балакали промеж собой, и решили... ничего страшного не буде.

У меня на глазах навернулись слезы.

— Спасибо вам, — сказала я.

— Не надо плакать. Вони тильки так казали...

— Я не плачу, — улыбнулась я. — Я рада, что вы такие хорошие. Но мне стыдно, что вам гайдамаки сделали такое зло.

Они засмеялись.

Лега позвал меня в комнату смотреть микроскоп, и мы занялись в углу.

— Как их зовуть, цих рыбок? — спросил матрос.

— Инфузории.

— Как? Как?

— Инфузории.

— От чортово название! Не выговоришь!

Я достала мироведение, показала там рисунок с объяснениями об инфузориях, и стала рассказывать. Матросов это заинтересовало. а я всегда любила учить. Потом вынули карту, я показала, где Киев, Москва, Петроград, Золотоноша, Волга, Днепр. Матросы слушали внимательно.

Другие смотрели исторические альбомы, но это меньше нравилось. Очень понравился глобус, хотя один из них выругался, и сказал, что «це брехня», и земля не может быть круглой, когда все знают, что она плоская, а что это наверное буржуйские выдумки. Но двое уже слышали об этом, и подтвердили, что комиссар тоже это сказал. И что сам Богунский, с адъютантом и комиссаром Гайдамакой, циркулем меряют по карте дороги, как показывала я, а следовательно я права.

Скоро со двора вернулись Бубновские и тоже присоединились к нам. Яценко был грамотен. Ему карта очень понравилась, и он захотел ее понять. Я, конечно, удовлетворила его желание. Они быстро схватывали и скоро стали свободно разбираться сами. Я объяснила, где север, юг, восток, запад, и как они обозначаются, и вынула очень хорошую дедовскую карту Золотношского уезда.

— Смотрите. Вот тут Золотоноша, город. А тут дороги в раз-

ные стороны. Вы хотите, скажем, ехать до Бубнова. Что же вы сделаете? По какой дороге поедете?

— По Гельмязовской, — ответил Яценко.

— Конечно. Вот она... А через какие села будем ехать?

— Ну, через Гельмязово, а потом до колодца...

— Вот-вот. Смотрите — тут Гельмязово, а здесь и колодезь обозначен. По этой карте видно, где можно напоить коней... А вот тут новая дорога, что уже за войну проложена, и новые колодцы из бетона.

Хлопцы очень заинтересовались.

— Так, вы заранее видите всю дорогу, по которой пойдете. И реки, через которые придется переправляться, и мосты, и леса, где враг может засесть, и овраги опасные... Все заранее видно. А чтобы знать ночью с какой стороны север, берут с собой компас. Вы видели наш. У меня еще их несколько, я вам подарю. Он всегда показывает, где север, где юг. А север, это верх карты, юг — это низ карты. Так вы и знаете, куда идете.

Хлопцы возились с картой целый вечер. Я вытащила компасы и подарила им. Затем разыскала карты Европейской России и тоже роздала. Они им меньше понравились, чем уездная. Но я объяснила, что на такой карте можно видеть, как ехать в Киев по железной дороге или водой. Какие пересадки, какие станции пройдет поезд. В таких разговорах быстро промелькнул вечер.

Больше о гайдамаках никто не сказал ни слова, и я увидела, что они, действительно, ничего не сделают. Мне было легко и приятно на душе. Я рада была, что эти люди оказались добрыми и так хорошо с нами обращаются. Когда я глядела на этих грубых, но симпатичных парней, так добродушно болтавших со мной, и вспоминала, что их всех избил мой брат, мне становилось невыносимо, но атмосфера была такая покойная, веселая, что скоро я опять забывала все и слушала их рассказы, или сама показывала им интересные вещи.

Стемнело. Мы поужинали. Из флигеля Марковских вернулась проводившая там почти все время маленькая сестра, боявшаяся большевиков. Мы стали петь. Она аккомпанировала на рояле, ибо играла хорошо.

Мы сидели около рояля, в углу комнаты. Я рядом с сестрой, у инструмента. Они отложили в сторону винтовки и пулеметные ленты, и мы хором пели украинские песни.

«Тече ричка невеличка з вишневого саду.
Кличе хлопец дивчиноньку соби на пораду...

«Гой же, вы, хлопци, добры молодци!
Что вы смутни, не весели?
Хиба в шинкарки мало горилки?
Пива та меду не стало?
Вдарем об землю лихом, журбою,
Штоб нам жилось веселище!
Штоб наша доля нас не цураласі!
Штоб краще в свити жилося!»

«Була соби Маруся,
Полюбила Петруся,
Гей, гей, лихо не Петрусь,
Биле личко, чорный ус.»

«Реве тай стогне Днипр широкий,
Сердитый витер завива,
До долу вербы гне высоки,
Горами хвилю пидыма...»

И наконец неизбежный «Заповит»:

«Як умру, то поховайте
Мене на могили
Серед степу широкого
На Вкраини мили.»

Вдруг электричество потухло, и мы с сестрой оказались среди толпы матросов в полнейшей темноте. В городе электричество действовало с большими и внезапными перерывами. Буржуи зажигать его вообще не смели, и сидели при лампадках, чтобы не привлекать «гостей» на огонек, и не получать в окна камни. Но когда у нас жили курсанты или стояли матросы, то они его, конечно, зажигали.

Матросы засмеялись и зачиркали спичками. Стали заправлять лампадку, что было нелегко, ибо настоящих фитильков не существовало давно, и туда вставляли кусочки ваты, надетые на проволоку.

Мать испугалась за нас, и выглянула из комнаты отца. Но все было спокойно. Ни один из матросов не тронулся с места. Даже Кибальник не двинулся, хотя сидеть среди них в такой полнейшей тьме было немножко жутко.

Наконец зажглась лампадка, и мы уселись вокруг стола.

Приближалась полночь. Надо было ложиться спать. Как они лягут? Позволят ли, теперь, когда мы под арестом, остаться одним в комнате, или лягут туда? И куда лягут? Тяжело сидеть в руках дюжины матросов, из которых половина высечена гайдамаками и, которым, что бы они с нами не сделали, никто в мире не сделает ни малейшего замечания!

— Что же! Поздно, — сказала я, ибо очень устала от этого дня. — Будем ложиться? Как мы ляжем?

Я ни к кому в особенности не обращалась. Ответил Лега.

— А как в прошлый раз. Так и сейчас.

— Надо кому нибудь с ними туда лечь, — заметил Феофан Кибальник. — Я туда пойду.

Но остальные отрицательно покачали головами.

— Незачем. Дверь будет открыта. Они не могут уйти.

— А окна?

— Ставни закроем.

— А лучше бы все таки кому нибудь там быть. А то неровен час — заберут винтовки. Еще нас прикончат! — рассердился Феофан.

Я испугалась, видя его настойчивость.

— Я у дверей лягу, — сказал Яценко. — У меня не убегут. А вы идите туда, — добавил он, обращаясь ко мне.

Первая ночь под арестом. Мы лежим в нашей комнате. У дверей лег Яценко. Дверь открыта настеж. В столовой вповалку спят матросы. Все тихо... Луч луны, через щель, золотит красноармейские штыки на сложенных в углу винтовках... Ночь проходит спокойно.

Утром, с разрешения караульных, я бегу в город наводить справки, и узнаю с удивлением, что Богунский сам приказал нас арестовать, и что он один может снять арест.

Бегу к Белоусу — его нет в городе. К Орде — тоже нет. Емеца в военном комиссариате сменил неприятный Фест. Жмурко ушел из Постачайки и заменен каким то неизвестным. Андрейко в уезде. Словом, никого из тех, на помощь и совет которых, я хоть сколько нибудь могла надеяться, нет. В это время шла подготовка к какому то очень важному селянскому съезду, и они все занялись им. Что делать?

Решилась отправиться к самому Богунскому. Не принял.

Узнала, что в городе Котух и побежала к нему. Он сделал вид, что не узнал меня, но посоветовал просить самого Богунского, ибо он тут не при чем. В самую последнюю минуту, когда я уже уходила, он вдруг добавил:

— А вы знаете Гайдамаку?

— Нет.

— Обратитесь к нему.

— Я боюсь его, — ответила я.

Он усмехнулся и развел руками. Я вышла.

Идти к Гайдамаке мне казалось очень рискованным. Этот человек в глазах городской буржуазии был воплощением большевизма. Все буржуи дрожали перед ним. Матрос, водолаз, внешностью похожий на Стеньку Разина, по известной картине, старый революционер, коммунист, оратор, в один миг доводивший толпу до бурного волнения своими агитационными выкриками против буржуев — он был очень страшен. Мне бы в голову не пришло просить его, несмотря на то, что Белоус его ценил и хвалил. Он казался неумолимым. А обратить на нас его внимание в ту минуту, когда матросы, комиссаром которых он был, стоят у нас в карауле, могло быть прямо опасным. Одно его слово — и они растерзают нас.

Опять пошла к Богунскому. Не принял. Это очень плохой знак. Куда обратиться?

Решилась наконец сделать вещь, которой мы до сих пор никогда не делали: обратиться к жене Богунского. Она жила на квартире Мержвинской, напротив матроской сотни, там, где в декабре жил Котух, недалеко от собора.

Квартира была в ужасном виде. Грязная, запущенная. Матросы и красноармейцы ходят полуодетые, что то варят. Чад, дым, крик!

Матросы пристально оглядывают меня. На просьбу доложить обо мне Богунской, отвечают сначала шутками, смехом. Наконец, соглашаются.

В дверях гостинной появляется Таисия Александровна. Я не ожидала видеть ее такой. Вид, гимназистки или служащей в канцелярии: чистая кофточка, широкая, хорошо сшитая юбка - клош... Шикарные высокие ботинки из тонкой кожи. Вид сдержанный, очень неглупый и спокойный. Она смотрит на меня холодно и внимательно.

— Вам что угодно?

— Пришла просить вас помочь, — говорю я, стараясь прочесть на ее лице, как она к нам относится. Но безуспешно. Лицо ее ничего не выражает, кроме холодной вежливости.

— Сейчас мне некогда. Приходите завтра утром...

— Спасибо.

Она еще минуту смотрит на меня, кивает головой и уходит. Проталкиваюсь к выходу сквозь толпу красноармейцев.

На следующее утро мы с матерью стояли в ее гостинной, ожидая приема. Богунская приняла нас, довольно скоро, в небольшом кабинетике, рядом со спальней. Не знаю, был ли там Антон Богунский, или нет. Но там кто то возился и слушал наш разговор. Таисия Александровна указала нам на кресла, села сама и стала слушать все с тем же герметическим лицом.

— Ради Бога, — сказала моя мать. — Вот уже несколько дней, как мой муж находится под арестом. У нас стоят на дому 10-15 человек матросов. Это ужасно тяжело. В чем нас обвиняют? В том, что мой муж был генералом. Это, конечно, правда. Но неужели теперь за это нас будут всегда держать под арестом? Подумайте! Он не уехал вместе с немцами, именно потому, что не признавал за собой никакой вины. Тогда была одна жизнь. Теперь все иначе. Но неужели нам никакого выхода нет. Я понимаю, что его судили вначале. Но ведь это уже четвертый арест!

— Вы жалуетесь, что матросы с вами дурно обходятся? — спросила Богунская.

— Нет. Но, знаете, все-таки тяжело!

Таисия Александровна чуть-чуть усмехнулась.

— Ради Бога, попросите вашего мужа, чтобы он нас принял.

— Почему вы не уехали с гетманцами? Не могли?

— Почему бы мы не могли? — возразила мать. — Все уехали, а мы бы вдруг не могли? Мы, конечно, могли! Но нам и в голову не приходило, что выйдет так. Сами подумайте. Разве бы мы остались, если бы знали, что так будем мучиться.

— Вы думали, что будет иначе?

— Ну да! Муж в гетманских историях не участвовал. Приговоры селян положительные. Мы и думали, что нас не будут преследовать. За что? А иначе, поверьте, нам было бы легче бежать, чем многим.

Богунская задумалась.

— Хорошо, я передам вашу просьбу, — сказала она вставая, вежливо проводила нас до входных дверей, выпустила, холодно раскланялась.

— А когда можно будет придти за ответом? — спросила я.

— Сегодня вечером.

Вечером я Богунскую уже не увидела. Она куда то уехала из города. Адъютант Богунского, Красота, сказал мне, что командир бригады примет меня в половине седьмого утра в бригаде, на следующий день.

**
*

Когда я вошла на двор бригады, матросы только что вставали после ночной экспедиции по уезду. У колодца стояла группа умывавшихся. Они поочередно обливали свои голые до пояса, загорелые тела водой из ведра, фыркали, смеялись и весело напевали. По двору плыла большая лужа и стекала на улицу. Два красноармейца с пулеметными лентами сидели на крылечке, прислонив винтовки к стене.

Мимо них я поднялась в переднюю. Здесь одевались матросы. Кое-кто, уже одетый, причесывался, глядя в осколок зеркала, и приглаживал волосы наслюненными ладонями. Другие, в одних штанах, разглядывали свои рубахи, видимо разыскивая насекомых. Третьи что то чинили, напевая себе под нос. В углу распивали чай. Через простертые на земле тела спящих, или зевавших спросонья матросов, прыгали товарищи с чайниками. Один, из озорства, схватил бежавшего за ногу, и чуть не пролил кипяток. Смех! Ругательства!

При виде меня, они остановились и посмотрели на меня с некоторым удивлением.

— Командир бригады, Богунский, велел мне придти сюда в половине седьмого утра... — начала я. — Где я могла бы его видеть.

Такое множество матросов несколько смущало меня.

Они переглянулись.

— Он там, — махнул мне один на какую то дверь, и опять занялся своей рубашкой.

Я открыла указанную дверь и остановилась в нерешительности. Пол большой залы был сплошь покрыт лежащими матросами. Некоторые спали. Другие зевали, с закинутыми за голову руками, и удивленно воззрились на меня. Костюмы были самые живописные. Трое лежали совершенно нагишом, подостлав под себя какой то ковер, ибо было жарко. Пройти было невозможно. Они занимали всю дорогу. Как быть?

Матросы разглядывали меня молча.

— Командир бригады сказал, чтобы я пришла к нему. Куда здесь пройти? — спросила я несколько сконфуженно.

— Он там, — флегматично указал мне ближайший матрос на противоположную дверь. — Скачите через нас.

Сказано это было так спокойно, и вид матросов был столь мало угрожающ, что эта мысль показалась мне даже забавной. Ловко лавируя, чтобы не упасть, я стала перескакивать через лежащих матросов. Они смеялись, и, когда я поскользнулась, один подал мне руку и поддержал. Я поблагодарила.

Сейчас, вспоминая этот эпизод, я нахожу, что было очень мило с их стороны не позволить себе никакой вольности. Но тогда, это

вышло как то очень натурально. Они не шелохнулись. Никто ничего не сказал. Благополучно достигнув противоположной стены, я постучалась в кабинет Богунского.

— А? Что? — спросил оттуда заспанный голос.

Я не решилась войти прямо и умоляюще посмотрела на соседнего матроса.

— Входите! — сказал он, махнув на дверь.

— А вы не может спросить, хочет ли он принять меня, — попросила я.

Он пожал плечами, но оставил свой чай, и пошел доложить.

— Ступайте, — сказал он выходя, указывая большим пальцем на дверь Богунского.

Я вошла.

Богунский лежал на широком диване, укрытый буркой, из под которой виднелся его голый торс.

— Садитесь, — указал он мне на стул. — Я очень занят. Некогда с вами много разговаривать. Вот сейчас — свободная минута, — он зевнул, — а потом целый день крутись, как бешеный. В чем дело?

Я изложила нашу просьбу снять арест, и обычные аргументы. Он пристально и хмуро смотрел на меня.

— Хорошо. Я подумаю...

— Вы снимете арест... — попросила я.

— Увижу. А что, они до вас нехороши?

— Нет. Но...

— Их сколько стоит?

— Пятнадцать человек.

— И ночью также?

— Все время, — вздохнула я.

— Мы посмотрим... Увидим... Подумаю.

Я чувствовала, что дело не подвигается. В это время в комнату вошел начальник тюрьмы и положил на стол Богунского какие то ключи.

— Товарищ Богунский, вы бы может быть распорядились... Хлопцы шалят. Вчера трех избили. И в женской камере нехорошо. Сами понимаете...

— Добре! —

— Я не могу с ними сам, товарищ Богунский, — говорил надзиратель. — Боязно. Никого не слушают! Срамота! Вчера из за ключей бой был. Там сидят три проститутки. Так такой кавардак...

Долго лились его жалобы, от которых у меня дыбом вставали волосы. Богунский слушал молча. Я не знала, что делать: сидеть, уходить. Я боялась пошевельнуться.

— Хорошо. Я скажу Чирке, — ответил, наконец, Богунский. Заведующий вышел.

— Вот видите, — обратился ко мне с холодной усмешкой командир бригады. — А вы жалуетесь на домашний арест. Предпочитаете тюрьму?

Я испугалась.

— Спасибо вам, что вы отца оставили дома. Разве я это... Я вообще, насчет ареста... Нельзя ли его снять?

— Когда можно будет — снимем.

Я встала.

«Что там такое?» — подумала я, очень обеспокоенная, перепрыгивая через лежащих матросов и проталкиваясь через толпу красноармейцев во дворе. — «Он же не злой человек! Отчего он не поддается?»

Конечно, я удивлялась бы гораздо меньше, если бы знала, что у большевика лежал найденный Чекой текст посланных осенью телеграмм, и уничтожающие показания свидетелей о присутствии отца на телеграфе в минуту их отправления при отходе гетманцев. Домашний арест в таких условиях был большой милостью.

Впрочем, говорят, Богунский предпочитал кончить дело расправой Бубновских хлопцев. Все, кто знал, что высеченные Мишей парни стоят у нас в количестве 15 человек день и ночь в карауле, были уверены, что они нас прикончат не сегодня - завтра.

***

Дни проходили за днями. А матросы все сменялись у нас каждый полдень. Арест продолжался. Первые дни во время смены караула приходилось трудновато. Приходили неизвестные, и сначала были очень нелюбезны. Они вваливались резко и грубо, часто с ругательствами и угрозами. Я пристально вглядывалась в них, стараясь отгадать будущих преследователей или защитников. Тяжелее всего бывало, когда с ними являлись Кибальник, Авраменко или балтийцы.

Матросы располагаются в столовой. Двое-трое идут взглянуть на отца, но скоро возвращаются. Здесь веселей. Старая смена уходит и я со вздохом провожаю ее глазами.

— А мы Бубновские, — начинает хлопец, — пришли проведать, как живете. Наши селяне казали, обязательно до вас завернуть...

— А вы бы сняли винтовки, — предлагаю я. — А то тяжело сидеть с ними. Сложите-ка там в угол. Легче будет.

— Иш, беспокоится за нас барышня! Нам с винтовками беспримерно легче. С ней мы пришли гидру душить!

— Красивое село, Бубново, — говорю я, чтобы что нибудь сказать, и стараюсь уловить настроение остальных.

— Нравится? А нам так не нравится, когда ваши до нас приезжают!

— Ни я, ни отец, к вам никогда не приезжали, — говорю я, видя, что от этого разговора не отвертишься.

— Что вы! Барышня молоденька! Звестно не приезжали. А вот они, с. с., братец ваш и сволочь ихняя — приезжали. Как же-с помним! Не забыли!

— Я знаю это, — говорю я тихо.

— Ага! Знаете! — злорадствует он.

— Что же, будем обедать, — предлагаю я. Бубновские разго-

воры можно вынести день-два, и отвечать прилично. Но говорить об этом все с новыми хлопцами в десятый, пятнадцатый раз — это пытка! Если бы я дала себе волю, то отвечала бы совсем иначе... Я бы заплакала, или закричала, что не виновата ни в чем, и что лучше бы они убили меня, чем говорить об этом! Но я отлично понимаю, что надо уметь терпеть. И я сдерживаюсь.

Бубновские хлопцы подсмеиваются надо мной, а я сижу как затравленная. Главное, чтобы они оставались здесь, со мной, а не шли к отцу. Впрочем, они тоже предпочитали это.

Слушаю в десятый раз рассказ о карателях и... молчу. Что мне говорить им! Миша виноват — сделал ужасную гадость. Они имеют право нас ненавидеть. Того, кого они ненавидят, сейчас пристреливают. Следовательно и нас могут пристрелить. Это ясно...

Но я не хочу, чтобы они нас пристрелили, и должна добиться, чтобы они пощадили отца. Что говорить? Что делать? Вот мучение! Аргументов у меня нет! Никаких! С другими легче. Другим я просто говорю, что мы не враги. И они, глядя на меня, верят. Они верят, потому что это правда! Какой я им враг? А здесь?!

Злоба на гетманцев душит меня... Поставили меня в такое положение! Матросы видят, как мне тяжело и, наконец, оставляют меня в покое. И мне стыдно, что они меня пожалели, хотя я и рада этому.

Зла они нам не делают никакого. Напротив, многие из них приносят нам свои пайки, и мы с ними едим из общего котла, ибо у нас уже нечего есть.

После первых неприятных часов, разговоры меняются, и становится легче. Опять микроскоп, опять рояль, песни, рисунки, карта, книги, альбомы. Мало по малу, почти все матросы становятся моими приятелями и мы время проводим отлично.

Редко-редко балтийцы или Кибальник возвращаются к жестоким рассказам о том, как они убивали буржуев, но остальные только машут рукой и отзывают меня в другой угол.

Только раз еще, Яценко вернулся к разговору о гайдамаках:

— А вы знаете, барышня, — сказал он, — что нас не так давно вызывали в ЧК по вашему делу.

— И что? — испугалась я.

— Показание давали, с ним, с Медведем.

— Ну и что же? — тихо спрашиваю я.

— Ну и дали свое заключение.

Я не решаюсь спросить, что они сказали, и опускаю голову. Как странно в такие минуты болит шея. Точно тяжесть на нее навалилась. Я знаю, какое громадное значение имеют для революционных судов приговоры селян. Что они сказали? Потребовали суда? Возмущались нами?

Теперь, когда в моих руках отцовское дело, я знаю, что показали Бубновские хлопцы, и удивляюсь объективности и беспристрастию их оценки. Они просто рассказали факты, подчеркнув, что не знают отец ли или другой Максимович виновен в причиненном им зле.

Вот что они показали.

ЗОЛОТОНОШСКАЯ ЧЕРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ. Дело № 99, стр. 44.

Протокол

1919 года, Апреля 24-го дня, я, Урядовец Золотоношской Следственной Комиссии сего числа опрашивал свидетеля Яценко Тимофея Тарасовича по делу Максимовича Павла Васильевича.

Житель села Бубнова, Яценко Тимофей Тарасович, 26 лет от роду, под судом не был, при гетманской власти жил в деревне, дома, земли не имеет — показал:

«В прошлом году, в конце мая или начале июня, хорошо не помню, к нам в село прибыли из села Прохоровки два казака и приказали приготовить к вечеру того же дня ужин на 17 человек казаков. При этом они приказали приготовить ужин, состоящий из жаренных кур, вареников, яиц и др., что и было сделано. Но так как наше село бедное, и пшеничной муки очень мало, то вареники были приготовлены из гречневой муки. Когда вечером прибыли казаки и сели ужинать в доме Василия Перевальского, то вареники им не понравились и они начали их разбрасывать, говоря: «Что это за вареники? Не в силах вы сделать пшеничные?».

Переночевав в доме Перевальского, казаки на другой день рано утром собрали сход и, разделив всех людей на три партии по годам: 1 — от 17 лет до 35, 2 — от 35 до 45 и 3 — от 45 лет. Когда они это сделали, то начали спрашивать жителей: «Признаете вы гетманскую власть?». На это им жители ответили, что «мы признаем ту власть, которая исходит от повиту».

После этого они начали нас класть на землю по четыре человека и пороть нагайками. Всех было выпорото 126 человек, причем они пощадили только женщин, детей и дряхлых стариков.

После этого они, часа через полтора, уехали.

Я не знаю, что это за отряд был, но слыхал от людей, что отряд этот прибыл из Золотоноши, и притом говорили, что отряд этот Максимовича. Но какого Максимовича, Павла ли Васильевича или другого, так как их много, я не знаю. Тимофей Тарасов Яценко.»

Житель села Бубнова Медведь Лука Степанович подтвердил показание Яценко. В чем и подписываюсь. Лука Степанович Медведь.

Другой моей заботой были Келебердянцы, которых к счастью в сотне было мало. Они также вспоминали, как отцовское требование денег испугало и возмутило их. Но нас никто не тронул.

Ночи проходили спокойно. На утро я отправлялась в кухню за чаем и пила чай с матросами. Затем начинались разговоры. Было лето, и мы спешили выйти на двор и располагались на скамеечке и просто на траве в саду. Заранее, проснувшись утром, я придумывала развлечения. По моей просьбе, они вытаскивали мои тяжелые книги, альбомы, карты, и мы разговаривали о разных вещах.

Карта нас заняла очень долго. С ней подробно познакомились все. Их особенно интересовало, как можно находить по ней дороги и выбирать правильное направление для движения отряда. Хлопцы жевали семячи и слушали, а я раскладывала карту и объясняла.

Это им нравилось, но под конец надоедало сидеть. Они вставали и слонялись по саду.

Наконец, Лега не выдержал: — Сходить, что ли, за угол? — предложил он товарищам. Они с интересом переглянулись.

— А эти как? — мотнул на меня головой Яценко.

— А так! Чего тут всем сидеть. Один товарищ нехай останется, а мы только трошки...

— Эге! — Они сложили в угол винтовки и вышли за ворота, весело подталкивая друг друга.

Оставшийся при винтовках белобрысый парень растянулся в траве, и преспокойно заснул. Мне стало смешно от такой постановки дела. Хорошо, что мы действительно не враги!

Отношения с караульными скоро стали отличные. Они заглядывали к нам даже в те дни, когда не дежурили у нас, поболтать и посмотреть книжки и альбомы. Процент новых при смене караула становился очень незначительным, но если среди них попадался какой нибудь неприятный, то я просто просила помощи у Бубновских, к которым чувствовала особенную симпатию и благодарность. Они тогда забегали к нам днем, проведать, на всякий случай.

Раз они нас застали в панике. В карауле стояло много новых, и с ними Кибальник и Авраменко. Оба были пьяны, и озверевший Феофан неистовствовал. Он ругался, грозил бесчеловечными казнями, махал наганом, и, несмотря на уговоры товарищей, явно мог выстрелить. В это время в дверь заглянули сменившиеся в полдень Бубновские, которых я умолила зайти. Увидев такую картину, они безмолвно переглянулись. Яценко решительно сел рядом со мной. А Медведь немедленно скрылся.

Через четверть часа, неожиданно появился Чирка и приказал Кибальнику отправиться в бригаду. Больше он к нам в караул не приходил.

Под конец, матросы целыми часами гуляли в городе, оставляя нас совершенно одних. Они сносили свое оружье в комнату отца и он его сторожил, в их отсутствие. То, что я рассказываю, может показаться невероятным, но живо еще немало людей, которые отлично помнят эти факты. Не знаю, где они теперь, эти матросы, и какую сделали карьеру. Но и они, наверное, могут это вспомнить, ибо события тех драматических лет всем крепко врезались в память.

Они приносили нам пайки и этим нас очень выручали. Зато мы стирали им белье, чинили одежду, читали и писали письма неграмотным. Один захотел, чтобы его выучили играть на рояле, и мать с ним играла в четыре руки «чижика», и учила читать ноты. Он очень старался и, хотя пальцы слушались плохо, но, благодаря своему отличному слуху, он стал двумя пальцами довольно верно подбирать мелодии. Другого я учила грамоте...

Я совершенно перестала бояться матросов и была очень довольна, что наконец выучилась с ними говорить. Речи наши всегда были серьезные, о всяких полезных, интересных вещах, и матросы, к удивлению тетки, ими интересовались. Иногда они рассказывали всякие

бывшие с ними случаи, в особенности один — враль, который подчас нес невероятную чепуху, и всех смешил.

Пели мы очень часто, и составился отличный хор. Особенно нам удавался «Заповит» и «Реве тай стогне». Мы смеясь говорили, что можем вместе выступать на вечерах.

Несмотря на такую постоянную близость, они держали себя очень корректно, и ни разу за все шесть недель не позволили себе никакой выходки. Мы смеялись, танцевали под рояль, но несмотря на это они были очень сдержаны. И это даже те, кто грозил убийствами и избиением.

В сущности, мне они вовсе не мешали; наоборот, и я ничего не имела против их пребывания в доме. Но нас беспокоил самый факт ареста, и больной сердцем отец, нервничал, ибо возможность перемены в их отношении не была, конечно, исключена. Поэтому, видя, что Богунский не отменяет ареста, мы стали думать, как бы кончить дело иначе.

Навели справки насчет того, кто мог бы повлиять на Богунского, но никто в городе не решился мешаться в это дело. Авторитет Богунского был силен. Его боялись. И никто не желал нарваться на отказ. Все качали головами, сочувствовали, но никто ничего не предпринимал. Наконец, Орда, который в это время вернулся вместе со своей жинкой из села, надоумил меня.

— Обратитесь к Гайдамаке, — сказал он, — этот сможет!

— Я боюсь его.

— Чего? Вин не злой!

— Боюсь!

Но вдруг я вспомнила, что и Котух также посоветовал обратиться к Гайдамаке, и задумалась.

— Надо рискнуть! — вздохнула я.

Гайдамака был комиссаром либо всей бригады Богунского, либо одной из частей, не помню. Он был членом первого Ревкома, и внушал ужас всем буржуям своими громовыми выкриками на митингах. Он целый день сидел в бригаде, но идти туда я боялась, чтобы не встретить Богунского, которому могло не понравиться, что я обращаюсь за помощью к комиссару. В других местах поймать Гайдамаку было трудно. Наконец, мне указали его квартиру. Он жил далеко, за Троицкой церковью, в самом революционном и пролетарском углу города.

Было очень жарко, ибо наступил июль месяц. Во дворе беленькой хатки, окруженной малюсеньким двориком, шла стирка белья. Молодая, худощавая женщина мыла в кадке мужские рубахи. Грязная пена стекала на землю и висела хлопьями на ее подтыканной спиднице. Старуха в углу двора развешивала белье на веревку.

— Простите, здесь живет комиссар Гайдамака? — спросила я.

— А! Вы до Василя? — приветливо ответила женщина. — Идить до хаты, туда, за печь... Я зараз...

Я вошла в хату, нагнув голову в низких дверях, и прошла за печь, в какое то подобие комнаты, где, кроме лавок и стола, ничего не было. На широком настиле лежала перина и подушки. На стене,

рядом с образами, висела фотография сидящего в кресле матроса, положившего обе пятерни себе на колени. Рядом с ним стояла молодая женщина, одна рука которой лежала на плече матроса. Это были комиссар и, вероятно, его жена. Фотография была окружена веночком из бумажных цветов.

— Так вы до Василя? — спросила женщина, опуская спидницу и вытирая мокрые ладони. — Сидайте.

— Я хотела бы увидеть комиссара Гайдамаку, — сказала я робко.

— Василя нет дома сейчас. Он в бригаде. Разве он станет днем сидеть дома? У него делов — страст! Все до него идут. Потому что умнее его и справедливее никого нет. Он все понимает и умеет рассудить. Я говорю ему: серденько, побереги себя! Отдохни хоть трошки! Куда! И слухать не хочет! А вы сидайте. Что? Тоже по делу до него?

Женщина внимательно рассматривала меня.

— А вы его знаете? — спросила она. — Это он вам сказал придти?

— Нет. Он меня не знает, и я не знаю, согласится ли он принять меня. Поэтому я и пришла спросить...

— Чего не принять? Примет! Раз по делу!

Я поняла, что женщина была близка к Гайдамаке и села, надеясь узнать от нее что нибудь про страшного коммуниста.

— Василь такий чоловик, — продолжала она. — Сокол мий ясный! Я ведь жинка его, — добавила она с гордостью. — А вы что, пришли порсить чего нибудь?!!..

— Да, — тихо ответила я.

— Если ваше дело правильное, то Василь все устроит. Лучше него нет человека на свете, — восхищенно вздохнула она. — Такой гарный, такой справедливый! Но и строгий! Чуть что против пролетарской диктатуры, чи против закона — не спустит. Его все боятся. И вин каже: «Цего поганцы, до тюрьмы треба!..». И тоди вин вже не втече. Зараз матросы заарештують и посадят. Потому надо, за дело! А про другого скаже: «цей биллолака, до него задарма причепились. Вин не виноват.» И тоди, хотя бы сам Богунский хотел посадить — Василь побалакае с товарищами, и вони не дадуть. А вы из каких будете?

Я назвалась и объяснила, что отец уже четвертый раз под арестом. Что был уже суд, и разбирательство в ЧК, и арест, а теперь опять новый арест. И что уже 6 недель у нас стоит караул из дюжины матросов. Она слушала.

— Так вы с генеральского двора? С панов будете? Ше николи до Василя такие буржуи не ходили. Боятся его, лякаются, бо вин матрос, коммунист. А его лякаться нечего, если не виноват. Он справедливый. Ну, а известно, коли виноват, то и ходить нечего! Его не обманешь! Так наши хлопцы у вас стоят?

— Да.

— А шо вони?.. не шалят?

— Нет. Все по хорошему. Но тяжело всегда быть под судом, под арестом... Страшно. Чем это кончится?

— Боитесь, — сказала она с оттенком сочувствия. — А я вот прошлым летом намучилась. Как гетман вошел, Василь звычайно утик и поховався, а я не знаю, где. Вин серденько мне правда написав, та я дурна, грамоте не вмию. Родители мои неграмотны, а чужим показать нельзя. Наших тоди никого не було. Вси втикли. Так и ходила. Его письмо на грудях, а боюсь спросить, что там. Хожу и плачу. Вызывали меня и до комендатуры. Такий страшный гетманец, кричит, будто сказився: «де муж?»... А хиба ж я знаю? «Ишь, дура», каже, «пишла за большевика!». А дурна б я была, если б не пишла за токого. Знущались. Страху набралась. Так вы теперь боитесь?

— Ну да, теперь мы.

— Оце, то мы, то вы! Та вы Василя не лякайтесь. Вин дуже гарный.

— А когда можно будет его увидеть?

— Спитаю сегодня вечером. Сегодня буде зибрання. Богунчиха в нарядном платье буде, а я так — в простом. Василь каже, так гарнише. А мени, був бы Василь доволен, солнышко! Дивиться, я все ему приготовила здесь — рубашки вымыла, выгладила. Люблю стирать ему белье. А вин, серденько, мени грамоти учить начал. Каже, что надо. Я дурна... но выучусь. Як же с ним не выучиться? Вин такий умный!

Долго еще влюбленная женщина перечисляла достоинства комиссара. Мне приятно было ее слушать: речь видимо шла от сердца. Она с гордостью и восторгом рассказывала, как ценят Василя товарищи, как он никогда не участвует в попойках Богунского, и ее не пускает, хотя Богунчиха над этим смеется. Я заметила, что между женами бригадного начальства существует некоторое соперничество, с оттенком интеллигентского превосходства со стороны Таисии Александровны, и меткой критики со стороны жены комиссара. Ее звали Пелагея Даниловна. Отец ее был бедный крестьянин.

Ей видимо доставляло удовольствие говорить о муже, и она была довольна, встретив во мне сочувствие. Вероятно она часто так говорила с просителями, ибо трудно было найти более благодарную аудиторию. Слушать ее было очень приятно. Разговор ее как то освежал после тяжелой атмосферы борьбы и ненависти, царившей вокруг. Хорошая женщина Пелагея Даниловна Гайдамака! И искренно хотелось, чтобы ее панегирик соответствовал действительности, и, чтобы судьба наша зависела не от злодея, а от такого благородного, замечательнейшего и умнейшего человека.

Наговорившись досыта, она посмотрела на будильник.

— Оце, вин мени выучив читать часы. Я теперь вмию. Вин вже скоро прииде и пидемо на зибрання. Приходить завтра утречком, раненько.

— А в котором часу? К семи?

Она засмеялась.

— Я кажу раненько, а вы — в семь! Хиба ж це рано? В пять часов приходите. Вин тоди встае, и иде до бригады на весь день. В пять часов!

Я поблагодарила и, провожаемая Пелагеей Даниловной, вышла с комиссарского двора. Этот разговор меня очень ободрил.

Рано утром, на заре, мы с матерью отправились к Гайдамаке. Застали мы его посреди хаты. Жена сливала ему воду на руки, и он умывался. Брюнет широкоплечий, с темно-карими, почти черными глазами, повидимому одаренный большой физической силой, он был очень живописен. Тип революционного матроса! Рядом с ним тщедушная Пелагея Даниловна казалась девочкой. Она смотрела на него с немым обожанием. Он взглянул на нас, спокойно продолжая свой туалет: пригладил волосы, помог жене поставить на стол тяжелый самовар и, наконец, обернулся к матери.

— Что у вас там такое?

Мы изложили нашу просьбу.

— Разве ЧК уже не занята этим делом? — удивился комиссар.

— Черезвычайная комиссия разбирает это дело уже с февраля месяца. Но этот арест произвел командир бригады. Шесть недель тому назад он поставил к нам караул из 15-ти матросов, и с тех пор арест продолжается. Дело, не знаю, разбирается или нет, но мы просим вас, если возможно, рассмотреть его, и снять арест. Нас обвиняют в контр-революции. Ну да! Мой муж был генералом, но неужели теперь ничего кроме тюрьмы уже для нас не будет. Мы ничего не сделали. Пожалейте нас!

— Хлопци стоят у вас вже 6 недель? — спросил комиссар. — Постойте, вы прохоровские Максимовичи? Ага! А как у вас с ребятами?

— Ничего. Они держат себя отлично. Не о них речь, а о самом аресте. За что он?

— Нет, а с хлопцами? Того... ничего не бывает?

— Нет, — вмешалась я. — Они очень хорошие люди, и с нами обращаются прекрасно.

Комиссар испытующе взглянул на мать, потом на меня.

— Прижимают? — спросил он прямо.

— Нет, — ответила я. — Совсем нет. Они очень милые!

— Вы не бойтесь, — заметил Гайдамака, садясь пить чай. — Скажите... я же понимаю... А Бубновских среди них нет?

— Ну как же? Всегда половина караула Бубновские. Но они очень добрые люди.

Комиссар посмотрел на меня, но ничего не сказал. Он подумал немного, дуя на горячий чай, и кивнул головой.

— Хорошо. Посмотрим в чем там дело, — сказал он.

Мы хотели еще что то добавить, но он отрицательно покачал головой.

— Мне некогда, — сказал он. — Пидите зараз, а уж мы с товарищами разберемось и зробим что надо.

— Спасибо.

Пелагея Даниловна проводила нас до калитки.

— Если ваше дело справедливое, — шепнула она, — он все устроит! Сами видите, какой он. Такого второго нет!..

Причиной ареста были найденные чекистами телеграммы, посланные в ноябре 18-го года городскими представителями в Киев, к гетману, с просьбой выслать срочно аэропланы, орудия, пулеметы и войска для обороны Золотоноши от наступавших повстанцев. Правда, эти телеграммы были составлены не отцом, и довольно ясно было, что их посылали штатские люди, вовсе с военным делом не знакомые. Но все же, среди подписей, находилась и фамилия отца, а свидетели единогласно показали, что он в минуту отправления депеши, находился на телеграфе. До сих пор не понимаю, как они могли это простить! Но в полдень, к нам, вместо обычной смены, явился Чирка и снял арест.

Матросам это очень не понравилось. Жизнь у нас так удобно наладилась! Мы простились очень дружески. Впрочем, некоторые и потом продолжали попрежнему заходить к нам, приносили стирать белье, болтали со мной, и помогали нам своими пайками.

**
*

С некоторых пор по городу ходят удивительные слухи. Говорят, что Харьков давно взят офицерами, казаками, контр-революцией! Торговка-перекупка уверяет по секрету, что французы, помогающие белым, дошли уже до Кременчуга, и что ее племянник сам видел из за забора их каски.

Мы относимся к этим слухам очень недоверчиво. Врали уже много и часто. И что это там могут быть за белые? Самостийники донские, не дай Бог! Говорят, что они — наши! Ах, если бы это были, действительно, «наши», то есть умные, хорошие люди, любящие русский народ, знающие, что ему нужно и умеющие так организовать жизнь, чтобы всем было хорошо! Господи, какое бы это было счастье!

Но как то не верится! Уж слишком было бы хорошо! А если войдет какая нибудь дрянь, вроде гетманцев, из за которых только стыдиться придется, так лучше бы не приходили вовсе!

Конечно, я не смела спросить комиссаров об этих слухах, а от других, как добиться толку? Никто ничего не знает! Я старалась не думать о них, но это было трудно.

Однажды, заглянув в комиссариат к Белоусу, застала там и Орду. Они говорили о готовящемся селянском съезде.

— Приходите на съезд, — сказал мне Орда. — Я вам достану билет.

— А мне разве можно?

— Можно. Будет очень интересно. Надо, надо, чтобы вы послушали делегатов с мест. У вас в голове туман — ничего не понимаете. Надо, чтобы вы поняли наконец. Вы вовсе не знаете жизни. Вот послушаете делегатов, авось поймете. Приходите!

— Еще арестуют, — сказала я.

— Не арестуют, — засмеялся Белоус. — Это у вас очень нехорошая черта, этот страх. Вам и хочется, и колется... Эх вы, буржуи.

— А вот вы бы меньше стреляли, и я бы не боялась! — засмеялась я.

— Приходите, приходите, вам полезно.

— Хорошо, приду, раз вы находите, что можно.

— И расскажете нам свои впечатления, — добавил Белоус. — Чорт возьми, должны же вы понять!

— Не понимаю, — вздохнула я. — Я отлично знаю, что прошлое было плохо. Не важно, что оно мне нравилось, раз оно не годилось для большинства. Но сейчас... сейчас мне страшно! Я просто боюсь!

— Послушайте, Анна Павловна, — сказал Белоус. — Правда, сейчас гражданская война и борьба идет суровая. Но разве с вами уж так безжалостно поступили?

Мне стало стыдно перед Белоусом, и я покраснела.

— Нет, конечно. Нет! Но ведь дело не во мне. Посмотрите, что делается вокруг: все разрушается, хаос, беспорядок, убийства. Как вы надеетесь, что из такого кавардака может выйти что то хорошее.

Они смеялись.

— Кавардак, потому что идет война. А когда сопротивление буржуазии будет сломлено, то начнется строительство новой жизни, и будет очень хорошо.

— Как же ее будут строить? — недоумевала я.

— Не верите, что пролетариат сумеет?

— Вы не сердитесь на меня, — попросила я. — Но я действительно не верю. Ведь нужно очень много знаний, опыта, чтобы руководить государством. Так разрушать возможно, но созидать...

— Значит, созидать умеют только капиталисты? — усмехнулся Орда.

— Нет, что вы! Тоже гадость!

— Так как же?

— Вот я и не знаю...

— Приходите на съезд, Анна Павловна, — сказал Белоус. — Честное слово — глупо! Жаль будет, если вы так останетесь!

Орда в это время играл снопом пшеницы, стоявшим в углу. Я ужасно любила колосья, букет из которых мы всегда вешали под образами, и смотрела на сноп с завистью.

— Хорошо уродилась, — усмехнулся Орда. — И во время. Теперь и тикать можно будет.

— Что-о? — удивилась я.

— Тикать будем, во ржи ховаться! Белые идут!

Я ахнула.

— А кто же это такие? — спросила я.

— Офицеры... Идут! Може и дойдут! Вот я и кажу, что добре пшеница уродилась. Буде де ховаться!

— А может быть это враки? — спросила я.

— Враки - не враки! Идут! Но не выгорит их дело! Селян мордуют. Народ их не приймае! Хиба ж вони народна влада? А вы обрадуетесь, наверное! Це ж ваши!

— А какие они? Чего они хотят?

— А вот смотрите!

Он протянул мне деникинский «колокол», на котором стояло: «За единую, неделимую Россию». Комиссар заметил, как блеснули мои глаза.

— Понравилось! — усмехнулся он.

— Конечно хорошо, что за Россию идут, а не самостийники. Но чего они хотят, что думают делать?

— Делают чорт знает что! — вмешался Белоус. — Катуют народ! Вертают имения помещикам! Свора капиталистов, кадетов и эсеров, снюхавшихся с Антантой! Эй, Анна Павловна, дрянь это все!

Я задумалась. Конечно, большевик мог быть несправедлив к противнику, но я очень верила Белоусу.

— А вы что сделаете, если бы вдруг пришли? — тихо спросила я.

— Тикать будем. А потом вернемся. Поховаемся еще раз. Мы привыкли. А все же победит пролетарская революция.

Я не решилась предложить им помощь. Рано еще.

— А когда же съезд? — спросила я.

— Послезавтра. Приходите!

— Приду. Спасибо.

По дороге домой я кипела разнообразными ощущениями. Неужели придут, действительно, наши, такие, как нужно, хорошие, умные! И устроют все! Конечно, Белоус недоволен, но ведь он так верит в свой пролетариат. А я — нет. Меня пугают эти дикие приемы, это разрушение. Что они, такие необразованные, смогут сделать? Конечно, среди них есть очень умные люди? Но разве один ум достаточен? Нужны знания, опыт! А у них его вовсе нет! Не могу поверить!

Через два дня был селянский съезд. Он происходил в городском саду, в большом, дощатом помещении летнего театра. День был жаркий. Солнце уже сильно пекло, когда я вошла в благоухавший медовым, летним ароматом, сад. Лазурь неба дрожала в двух зеркальных шарах, украшавших заброшенную и поросшую бурьяном клумбу.

На всех улицах и в садовых аллеях толпились депутаты. Селяне приехали с торбами, мешками, в пошарпанных свитках, или полотнянных рубахах, в соломенных брилях, из под которых, как корки черного хлеба выглядывали их загорелые, потрескавшиеся шеи. Серьезные, сосредоточенные, они неспешно прогуливались, что то обсуждая. По углам сада, разбились отдельные кучки, среди которых жестикулировали ораторы.

В самый театр еще не пускали — шла проверка мандатов. Орда увидел меня и принес мне билет. Он был очень возбужден, и немедленно скрылся в театр. Я присела на скамейку и стала рассматривать делегатов, но расслышать их слов не могла. Скоро проверка кончилась, и селяне повалили в театр. После них, стали впускать публику. Красноармеец проверил мой билет и впустил.

Большое, досчатое здание театра гудело от сдержанного гула голосов. Сцена была освещена, и на ней, за большим столом, покрытым красным кумачем, сидели комиссары. Зал был темен, только

сквозь щели плохо сходившихся досок пробивались ослепительно-яркие полоски света. Делегаты занимали весь партер и ложи. Лишь сзади несколько рядов скамей были отведены для публики. Ее было очень мало. Я села на переднюю скамью, как раз против сцены, чтобы лучше все видеть.

Начались выборы в президиум, который наполовину состоял из старых знакомых. Там сидели: Каздобин, Белоус, Орда, Гайдамака и, кажется, Антон Богунский. Последний, по моему, председательствовал.

Затем начались речи. Я слушала с большим интересом.

Говорили о середняках, о необходимости тесной спайки с ними, о том, что 8-й съезд партии запретил их приравнивать к кулакам, и сбавил им налоги. Говорили о том, что комбеды иногда перебарщивают... Ругали Петлюру и самостийников, которые передались белым и являются врагами советской власти. Много говорили о Постачайке и о снабжении армии, а также о снабжении селян городскими продуктами. Но главной темой была борьба с добровольческой армией...

Тут я поняла, почему комиссары хотели, чтобы я была на этом съезде. Ясно вырисовалось, какой тыл окажется у наступающих белых. Хотя я и понимала, конечно, что в зале сидят большевики и их поддерживающие деревенские слои, но впечатление все же было сильное. Я не уверена сейчас в том, была ли линия этого съезда строго большевицкой. Очень возможно, что там были и сильные украинско-петлюровские, или эсэровские веяния. Судить не могу. Но что все были против белых — это факт.

И большевики просто стращали крестьян возвратом капиталистов и помещиков, что было достаточно для подчинения всех течений коммунистам. Они главенствовали, хотя в зале и были фракции.

После утреннего заседания был перерыв. Я вышла из театра, довольно утомленная, и направилась домой. Как вдруг мое внимание привлекло громко и раздраженно произнесенное двумя хлопцами имя Белоуса. Я насторожилась. Они на чем свет ругали комиссара, и собирались вечером подстроить ему неприятность. Надо было его предупредить.

Я отправилась обратно в сад, но его уже там не было. Решила вернуться до вечернего заседания, часам к шести и сообщить ему о слышанном.

Вечер был восхитительный. Комары и мошки стаями вились в теплом воздухе. Жар уже начинал спадать. Делегаты расхаживали парами и кучками. Предстояло найти Белоуса и указать ему говоривших так, чтобы они этого не заметили. Я стала выглядывать в толпе знакомых, чтобы не стоять одной. Боялась привлечь внимание. Им то, комиссарам, хорошо меня знать, а вдруг чекистам не понравится, что я торчу на съезде!

Первым мне попался следователь из ЧК, и спросил, откуда я достала билет.

— А вы знаете, что подходят добровольцы? — сказал он.

— Говорят, — ответила я. — Что это за люди такие? Кто они?

— Белогвардейцы.

— Неужели вы думаете, что они придут сюда, в Золотоношу?
— Придут... Что будет потом — дело другое. Но пока — придут!
— Что же это будет?
— А то же, что и при гетмане...
В это время к нам подошел Орда.
— А ведь тикать придется. Идут черти, — сказал он.
— Нас не забудьте, в случае чего, — тихо шепнула я.
— А вам что? — засмеялся он. — Вы то обрадуетесь!
— Нет, я не то... Если бы вы вдруг здесь остались... Так приходите к нам...
— А-а! Что же! Все бывает! Только я здесь своей волей не останусь! Впрочем, барышня, вы сейчас так говорите, а потом!..
— Какой вы злой сегодня! Нехорошо!
— Забудете все, барышня, за веселием-радостью!
— А вы уверены, что я буду так рада?
— А как же? Ваши идут?
— А вы наверняка знаете, что это наши?
— А то чьи же? Офицеры!
— А гетманцы кто были? Наши или не наши?
— Ваши!
— Однако мы остались с вами, а не уехали с ними.
Большевик покачал головой.
— Так то так...
— Они, чорт возьми, вовсе не были наши! — сказала я.
— Ну, эти будут ваши!
— Дай Бог.
— Вам: дай Бог, а нам — тикай! Что? Поняли классовую борьбу!
— То-то мне и кажется, что они вовсе не мои! От меня бы вам тикать было бы нечего!
— Эх, Анна Павловна, вы бы не выдумывали, а смотрели на жизнь, как она есть. Идет борьба, и надо это понимать, а не придумывать какие то фантазии. Утописты были в начале 19-го века, а не сейчас — ей Богу!
— Не нравится мне эта война. Не выношу убийств! Жалко мне их всех! Всех жалко!
— Не будет от вас толку никакого, если так будете рассуждать!
— Что же мне делать? Но только дайте слово, что если, не дай Бог, вам нужна будет помощь, вы сразу же вспомните о нас. Приходите просто и конец!
Он ничего не ответил, но я вовсе не была уверена в том, что он исполнит мою просьбу. Самолюбие у них всех страшное! И Белоуса тоже, ведь, долго придется умолять! Но я же не допущу, чтобы их убили — это уже никак!
Найдя и предупредив Белоуса, я отправилась домой.
Началось напряженное время ожидания. По слухам, белые приближались. У нас в доме, все было тихо. Матросы заходили лишь изредка, по знакомству, и я шепнула им, чтобы они продолжали к нам ходить и потом... Было два-три обыска, но не очень злых... Буржуи распускали весть, что до своего отхода, красные всех перебьют...

2-го августа н. с. я почувствовала себя очень плохо. Но болеть было вовсе не время. Надо было следить за событиями и развивать тонкую дипломатию, чтобы убедить Белоуса и остальных, в случае затруднений, предупредить отца. Это было очень нелегко.

Некоторые поблагодарили, и кто более, кто менее недоверчиво и хмуро обещали. Но Белоус не поддавался. Я еле держалась на ногах. Жар был очень сильный, но я сбивала градусник, чтобы мать этого не знала, и продолжала ходить по городу. Целую неделю уговаривала я их, и, наконец, уходя от Белоуса, свалилась почти без чувств в городском саду. На следующее утро я встать не смогла. Доктор нашел брюшной тиф. Свалился в брюшном тифе и брат Вася. Матери пришлось ухаживать за нами обоими.

Через дней десять у меня началось страшное осложнение, и мать побежала за доктором. Вдруг навстречу ей карьером промчались повозки, верховые, зарядные ящики, тачанки, быстро прошли в'йска, и город опустел. Большевики отступили.

К отцу прибежало два молодых студента организовывать самооборону в ожидании прибытия добровольцев. Собрали какой то отряд. Заняли город...

Я лежала в забытьи, когда к нам заглянул один из следователей Іерезвычайной комиссии. Он не смог покинуть город, и решил придти к нам. С собой он принес отцовское дело. Его поместили в столовой, в бывшем углу курсантов. К нему скоро присоединился один из комиссаров. Все остальные уехали во время. В полусне, смутно долетели до меня звуки марша — добровольцы заняли город. Это был Волчанский отряд, под командой капитана Васильева. Он простоял в городе лишь несколько дней и двинулся дальше, на Киев.

Я страшно беспокоилась за Белоуса. С его характером, захочет ли он дать знать, если будет трудно. Но к счастью, на следующий день, отцу принесли записку. Белоус кратко констатировал, что находится в деревне и может быть арестован. Отец попросил начальствовавшего над самообороной города юнкера Ивженко поехать за комиссаром и привести его к нам... Наконец, в одиннадцать часов вечера, 12-25-го августа, сквозь бредовые сны, услышала шаги — приехал благополучно!

Проходили дни, а я еле переводила дух, несмотря на безумное желание поскорее выздороветь и посмотреть, что делается на свете. Мною владела страшная жажда жизни. Наконец, стало лучше. Через недели две, меня на руках вынесли на балкон перед домом. Была уже осень, середина сентября. Мало по малу, здоровье мое поправлялось, но зато живший у нас комиссар заболел возвратным тифом. Его поместили в городскую больницу, но тут заболел тифом Белоус. Жена его, Наталия Гордеевна, поселилась у нас и ходила к нему в госпиталь каждый день. Только к началу октября мы начали, наконец, вставать с постели. Мать возилась с очень сильно больным братом Васей, которого отчаявались спасти.

Комиссар, выписавшись из больницы, уехал в деревню, а Белоус опять возвратился к нам.

**
*

Я сидела на балконе, когда во двор вошло три человека в крестьянских свитках. Они направились ко мне.

— Здравствуйте, барышня, — сказал один из них. — Не признаете?

— Это вы? — крикнула я. — Идите скорее, садитесь, как вы поживаете?

Это были мои приятели — матросы.

— Наших шесть арестовано, — вздохнули они.

— Кто?

Они назвали фамилии.

— Это ерунда, — сказала я. — Погодите, я сейчас схожу к отцу. С трудом перебирая ослабевшими ногами, я спустилась с балкона в сад, и отправилась к отцу. Матросы остались дожидаться на балконе. Через несколько минут, я вернулась — все было сделано. Отец взял матросов на поруки.

— Ну, рассказывайте, что у вас? Какие новости? — говорила я, садясь с матросами пить чай. Двери в гостинную открылись, и вошел Белоус. Увидев комиссара социального обеспечения, матросы переглянулись, и стали словоохотливее, тогда как до того как то стеснялись.

Они понемногу разговорились, хотя того прежнего, непосредственного веселия больше не было. Шутки как то не выходили. Они были сумрачны, хмуры, несмотря на все мои старания.

— Аня, иди-ка сюда, — услышала я голос тетки. Я спустилась к ней с балкона.

— Аня, с кем это ты сидишь? — спросила меня тетка. — Мне говорят, что это матросы?!

— Да!

— Ты с ума сошла!

— А что?

— Послушай. Это возмутительно! Это просто неприлично. Ты не отдаешь себе отчета...

— Что неприлично?

— Неприлично покровительствовать каким то бандитам... у вас дом полон коммунистов!

Рядом с тетей стояла дама, прошлой осенью бежавшая с немцами и возмущенно смотрела на меня в лорнет.

— Но, тетя, ведь это очень хорошие люди! Ты помнишь — они могли нас всех перестрелять. А они нам даже помогали пайками, хотя их самих раньше избили гетманцы. И ты хочешь, чтобы я их теперь прогнала! Ведь это свинством было бы!

— Я вижу, что ты совсем обезумела, после всего пережитого, и все понятия у тебя смешались. Пойми, что теперь опять началась нормальная жизнь, и пить чай с матросами тебе вовсе не место! Большевики — мерзавцы, их надо истребить, чтобы спасти Россию, а ты им покровительствуешь!

— Ах, так вы меня патриотизму пришли учить! — взбешенно крикнула я. — Пришли учить меня любить Россию! Так я отвечу

иначе. Где вы были, когда меня за контр-революционность таскали по всем судам? Где вы были, когда я голыми руками чистила большевикам отхожие места, или стояла под дулом Страхалиста? С немцами бежали! Все знают, что у нас была за жизнь весь этот год: 28 обысков, ЧК, суды, аресты, принудительные работы! Потому что мы действительно любим русский народ, и предпочли терпеть все, но не идти с его врагами! Где вы тогда были? Боялись с нами слово сказать, чтобы не скомпрометироваться перед большевиками. Когда я заходила за советом, меня выгоняли вон, боясь не понравиться коммунистам! А теперь любви к России меня берутся учить те, кто не постеснялся из страха перед расстрелом присоединиться к немцам! Позвольте мне знать, как надо любить Русский народ!

— Вы, наверное, сами не понимаете, какие говорите возмутительные вещи, — злобно прошептала дама. — Пить чай с матросами! Защищать этих бандитов! В контр-разведке изумляются, что генерал Максимович только и делает, что берет на поруки разную коммунистическую дрянь!

— А по вашему, что надо делать?

— Не пачкаться с большевиками!

— И пусть их расстреливают?

— Конечно!

— А я еще не хотела верить чекистам! Прав Усенко! Прав! Опять прав! Почему, чорт возьми, они всегда правы? Почему? Это же несчастье!

— Ты с ума сошла!

— Когда я летом в ЧК, Христом Богом умоляла Усенко не губить нас, он мне ответил: эх, барышня! Не мы вас, так вы нас! Я стала говорить красивые слова и уверять его, что он напрасно считает нас врагами!.. А теперь! Марксисты вы поганые!

— Что-о!?

— Марксисты вы! Вот кто вы! — крикнула я. — Я не хочу им верить, а вы меня заставляете!

Дамы смотрели на меня, ничего не понимая.

В то время мне безумно хотелось, чтобы кто нибудь нашел средство устроить всеобщее благополучие без признававшейся марксистами неизбежной, гражданской войны. От большевиков меня отталкивали две вещи: во первых, я не могла поверить, что необразованный, полудикий пролетариат может видеть, что надо делать, тогда, когда этого явно не знают все окружающие меня культурные, образованные и привыкшие к государственной деятельности люди. Во вторых, мне разрывала душу эта война, где русские дрались с русскими, и где благополучие столь искренне любимого мною народа ставилось в зависимость от нашего собственного уничтожения. Естественно мне хотелось, чтобы был найден другой путь — чтобы русский народ стал счастлив не через борьбу с нами, а вместе с нами. Поэтому, помимо того, что я любила и жалела людей, которых преследовали за большевизм, поведение белых, способствовавшее классовой вражде и делавшее ее неизбежной, приводило меня в бешенство. Это было лучшее подтверждение слов коммунистов, их оправ-

дание, доказательство их правоты. Но деникинцы почему то этого не понимали!

— Маркса подтверждаете, — крикнула я. — Показываете наглядно, что надо свергать буржуазию силой, и что ей нет дела до народных интересов, что, когда власть в наших руках, то людей губят, преследуют, убивают! Господи, что это за кошмар!

— Ах ты, дерзкая девчонка! Выучилась у них говорить старшим дерзости! Ведешь себя неприлично! Пользуешься тем, что мать твоя при умирающем мальчике и не может присмотреть за тобой!

— А ты, чего от меня хочешь?

— Чтобы ты держалась, как следует! Что это за открытое покровительство коммунистам.

— Ты считаешь пристойным прогонять теперь людей, с которыми всего два месяца тому назад, я рада была пить чай и разговаривать?

— Это было совсем другое дело! Тогда ты вынуждена была терпеть это насилие!

— Это вас, наверное, можно насилием заставить умильно улыбаться. Это вы, от страха перед наганом готовы идти на компромиссы! Нет! Я была с ними тогда мила не потому, что у них были винтовки, а потому, что это русские люди, которых я люблю. И теперь, когда у них винтовок нет, я их тоже люблю, и не хочу, чтобы им было плохо!

Еле помня себя от ярости, я повернулась и, оставив возмущенных дам, отправилась к матросам на балкон.

Быстро и безвозвратно рассеивались последние иллюзии, которые я питала насчет добровольческой армии. В уезде был хаос. Через заходивших матросов и Белоуса я знала, что крестьяне недовольны, что зреет возмущение, что все с нетерпением ждут большевиков.

— Вы нас танками, — а мы вас санками! — говорили коммунисты, намекая на сезонные вариации в политической атмосфере, наблюдавшиеся в наших краях. Зимой всегда побеждали большевики.

1-14-го октября отец, несколько оправившийся от долгой сердечной болезни, решил отправиться в центр, чтобы узнать, как обстоят дела добровольческого движения. Положение дел в уезде приводило его в ужас, но может быть это объяснялось отдаленностью от центра, незнанием местных условий.. Так хотелось верить, что может быть в Таганроге, где тогда сидело правительства Деникина, люди умнее, и делается что то полезное и благоразумное. С его отъездом, в доме стало еще тише. Добровольцы к нам не заходили вовсе, ибо в городе не на шутку возмущались нашим отношениям к большевикам. Мне очень хотелось поговорить с каким нибудь знающим добровольцем и выяснить, каковы идеи этого движения, что они хотят делать, как разрешают социальные вопросы.

Я сидела в гостинной у окна, и смотрела на покрытую ранним снегом улицу, когда в комнату вошла Наталия Гордеевна и сказала, что Белоус арестован.

— Что?!

— Его только что увели в контр-разведку.

— Откуда? Отсюда? Из нашего дома?

— Нет, конечно. Он пошел в город, и его арестовали на улице. Хлопчик это видел и прибежал сказать.

Быстро накинув шубу, я вышла на улицу, в первый раз после отхода большевиков. Была зима. Весело потрескивал снег. Морозный воздух бодрил. Смешно расползались на скользком тротуаре еще слабые ноги. Воздух неподвижно замер. На сучьях, оголенных деревьев зябко прыгали нахохлившиеся воробьи.

Выйдя на площадь, я по знакомой лестнице поднялась в канцелярию начальника уезда. Она находилась в той самой квартире Тоцкого, где Грудницкий судил отца. Сердце немного сжалось воспоминаниями. Теперь вместо петлюровцев, в приемной стояли столики и сидел дежурный офицер. Я попросила его доложить обо мне начальнику.

Последний принял меня чрезвычайно учтиво, щелкнул шпорами, и спросил, чем может служить. Я в двух словах объяснила, что для нас сделал Белоус, и просила отпустить его на поруки.

— Да, у нас есть насчет него письмо от генерала. Ваш отец за него просил, и я его отпущу. Он живет у вас?

— Да, как же.

— Его сейчас отпустят. Хотя, по правде сказать, я с этим не согласен. Этих разбойников надо ликвидировать! Разве они с нашими стеснялись. Если бы вы знали, что они сделали в Пятигорске!

— Знаю, — вздохнула я. — Там погиб любимый друг отца, князь Багратион-Мухранский. Вот горе! Чекисты уверяют, что надо убить белых, иначе они станут катовать народ. Вы говорите, что надо убить большевиков, иначе они перестреляют офицеров! Какое это страшное несчастье!

Он улыбнулся.

— Ничего, барышня. Все это обойдется и скоро придет в порядок. Сейчас мы уже не так далеки от Москвы. Еще усилье, и, надо надеяться, что, несмотря на временную задержку, мы все же достигнем столицы.

— Ну, а потом?

— Там видно будет... Учредительное Собрание решит...

— А что же оно должно решить?

— Всенародное голосование выскажется.

— Помилуйте, за что же оно выскажется?

— Не знаю. Увидим. Надо главное прогнать большевиков и возможность народу изъявить свою волю.

— Но что вы народу предлагаете? Почему вы считаете, что он должен пойти за вами, а не за большевиками?

— Что вы, барышня, — засмеялся начальник; — какой народ идет за большевиками! Идут только мерзавцы и грабители! Каторжане разные! А народ их вовсе не хочет.

— Почему же этот народ бегом бежал записываться в красную армию? Я же сама видела! Почему на съезде селян летом, они все, даже не большевики, говорили против белых? Ведь я то их слыша-

ла! Я на этом съезде была.

Он удивленно взглянул на меня.

— А землю дадут крестьянам? — спросила я.

— Что вы, помилуйте! Этот вопрос, как и все другие, может разрешить лишь Учредительное собрание. Отчего вы волнуетесь, барышня... Такие у вас все вопросы... Как здоровье вашего батюшки? — он улыбался.

— Спасибо, он поехал в Таганрог. Ждем от него известий. Пока ничего не имеем.

— Не бойтесь так большевиков, барышня, — сказал он галантно-покровительственным тоном. — Теперь опять водворится порядок, и все пойдет на лад. Наши герои-добровольцы разгонят эту сволочь.

— Разве можно победить большевиков, пока за ними идет народ? — вздохнула я. — А разве народ не пойдет за ними, когда они ему все дают, а мы не даем ничего! Почему вы надеетесь, что люди пойдут за вами? Что вы хотите им дать?

Начальник несколько нахмурился.

— Вопросы эти не нам решать, барышня, — сказал он, глядя на часы. — Порядочные крестьяне вовсе не хотят грабить помещичью землю. Это делают лишь лодыри и уголовные преступники, которых подстрекают к этому коммунисты. Перестрелять вожаков, запрятать в тюрьму грабителей, и все пойдет отлично.

— Ну, уж это нет! Землю крестьяне определенно хотят, — рассердилась я. — Все хотят. Я сама слышала...

— Н-да, простите, мне некогда, — сказал начальник. Он взглянул на меня, увидел, что я очень недовольна, и повел плечами.

— А вы лучше, барышня, взгляните в складе, нет ли там ваших вещей, среди барахла, отобранного у большевиков. Наверное, есть и ваши вещи. Вас кажется тревожит, сумеем ли мы справиться с большевиками. Будьте спокойны — справимся! Но конечно нужна строгость. Поверьте мне, что это не из кровожадности. Это просто необходимо. Коммунистов, комиссаров, курсантов, матросов — ликвидировать надо беспощадно, хотя это и тяжело мягкому женскому сердцу. Вот еще вчера расстреляли четырех матросов...

— Кого? — быстро обернулась я.

— Матросов.

— Как их фамилии? Кого?

Он удивленно посмотрел на мое изменившееся лицо.

— Вы знаете фамилии матросов?

— Конечно, и фамилии и имена-отчества... Не всех, но все же человек сорока из здешней сотни.

— Это же каким образом?

— Трудно было бы не знать. Разговаривала с ними с утра до поздней ночи в течение полутора месяца. Среди них есть очень хорошие люди. Они стояли в карауле, у нас дома. Отец был под арестом. Кого же вы расстреляли? Кого?

— Если хотите, я вам прочту фамилии.

Он прочел мне список имен. Я смутно помнила двух, приходив-

ших к нам однажды. Один был очень славным парнем. Мне стало ужасно жаль его. Начальник смотрел на меня с удивлением, но потом улыбнулся и начал успокаивать.

— Напрасно я вам прочел. Вы черезчур уж... сердобольная. Так нельзя. Теперь война. Сколько они перебили наших, самым зверским, возмутительным образом. А вас огорчает смерть какого то матроса.

— Ну хорошо, я не буду говорить о чувствах, хотя мне жаль его! Жаль ужасно! Он был такой хороший! Но разве вы не согласны, что именно в этом вопросе, мы никак не можем действовать так, как большевики. Когда большевики нас убивают, они действуют логично, так как считают необходимым насильственное свержение старого и утверждают, что нельзя добиться счастливой жизни, не уничтожив сначала буржуев. Но мы, ведь, отрицаем неизбежность этой бойни! Мы говорим о национальном единстве и всенародной солидарности! Как же мы можем свой собственный народ преследовать! С нашей стороны, всякая жестокость является лишь подтверждением слов коммунистов! Как же это можно!

Он явно не понимал моих слов.

— Ой, барышня, как они вас напугали! — засмеялся он. — Марксизм это вздор, галиматья! Неужели вы думаете, что эти грабители — марксисты? Они читать не умеют!

— О, Господи, — горько вздохнула я. — Они его не читают, а практически осуществляют! Действуют по нем... Разве коммунисты когда нибудь говорили, что в их партии должны быть лишь профессора! Марксизм вовсе не глупость! Множество вещей, которые они говорили — осуществилось... И если мы просто будем говорить, что это вздор, то они победят — это факт!

Он рассмеялся.

— А вот и склад! Посмотрите лучше на вещи, и успокойтесь, ради Бога.

— А где вы поймали этих матросов? — спросила я.

— Тех, что расстреляли? Их взяли в плен в августе, и держали в тюрьме.

— Ах, так вы из тюрьмы их взяли?!

Мне стало бесконечно тоскливо и больно. В уезде хаос. Крестьяне с нетерпением ждут большевиков. Богунский уже объявился в Еремеевке. А эти расстреливают беззащитных пленных! И марксизм это вздор! Большевики просто шайка грабителей, которую разгонят карательными экспедициями, и главное, это въехать в Москву, провозгласить Учредительное Собрание, и предложить ему «высказаться»... неизвестно за что. Это же не власть, а какое то недоразумение!

Мы вошли в склад, где лежали груды реквизированных большевиками и доставшихся белым вещей.

— Посмотрите, здесь наверное есть ваши вещи.

Я окинула склад беглым взглядом.

— Нет, наших вещей здесь нет.

— А вот это ваше, наверное ваше, — сказал он, указывая на чудный, расшитый золотом, украинский костюм. Я остановилась, любуясь им.

— Нет, не наше, к сожалению, — ответила я. — Какая прелесть! Я ужасно люблю эти костюмы. Красота!

— Да, конечно, это ваше, — поспешил заметить офицер. — Наверное, ваше. Где нибудь у вас взяли. Я велю вам отнести.

— Спасибо, — ответила я холодно. — Но это не наше.

Он пожал плечами.

— Как хотите.

«Ну», подумала я, выходя оттуда, «через месяца два, наверное, большевики будут здесь. Разве эти годятся куда нибудь!»

Вернулась я домой в самом подавленном состоянии духа. Открывшаяся передо мною картина деникинского движения меня просто угнетала. Не говоря уже о недопустимой дезорганизации, идейное убожество прямо поразительное. Они хотят сначала победить большевиков, а затем уже решать, что надо делать в России, а не понимают, что победить большевиков нельзя именно потому, что они предлагают народу то, что ему нужно, что ему хочется! Отыгрываются на старых словах и фразах, не имеющих в настоящий момент никакой силы, и ругают хамами, бандитами и некультурной сволочью именно тех, у кого есть продуманная, стройная и серьезная программа! Чорт возьми таких болванов!

Конечно, месяца через два-три, если не раньше, большевики будут тут, а эти, перебив пленных, отойдут, оставляя население в руках обозленных красных! Господи, что же это такое!

**
*

Числа 4-5-го ноября 1919 года, поздно вечером, вдруг в двери постучали и в столовую вошел отец. Мы вскрикнули от неожиданности. Он был мрачен и угрюм.

— Собирайтесь! Через два дня мы уезжаем.

— Куда! — ахнула я.

— Сначала в Ростов, а потом увидим, может быть за границу.

— Что?!

— Большевики здесь будут не позже, как через месяц. Что делается в Таганроге, я вам расскажу потом. Это не власть, а несчастье! Они ничего сделать не могут и их выгонят обязательно!

— Папочка, я не хочу уезжать!

— Не хочешь! — отец ласково и грустно смотрел на меня. — Бедная моя девочка!

— Я не могу! Не надо! — крикнула я, чувствуя, что разрыдаюсь.

— Что же делать, доченька! — Отец ласково гладил меня по волосам. — Что делать? Знаешь, у меня больше сил не хватает опять сидеть под окном и ждать, когда придут арестовывать.

Я молча уронила голову на стол.

— Мы уедем... переждем... увидим, что будет потом... Ведь, опять придут чекисты... опять тюрьма, допросы, обыски... Сил нет! Дочка моя, бедная!

Что я могла ответить?

— Но ведь они нам ничего не сделали! И теперь, наверное, будет лучше! Ведь Белоус заступится, и матросы, и остальные!.. Может быть, не тронут!

— Расстрелять, может быть, и не расстреляют. Но сил нет сидеть и ждать!.. Я не могу... Ведь ты знаешь, что эти наделали! Сейчас ненависти будет еще больше, чем после гетмана.

Я выбежала из комнаты и зарылась головой в подушки. Отчаяние разрывало меня. Я не хотела уезжать, а в особенности уезжать за границу. Но что я могла сделать? Отец меня здесь не оставит. Даже если убегу — разыщет. Да и как бежать? Куда? На какие средства? И что делать потом? Я еле хожу после тифа! Куда я денусь? Ведь у меня никого нет, никого!

Ночь кошмарного отчаяния, длинная, бесконечная, мрачная, как могила. На утро начались хлопоты. Перенесли в добытую отцом теплушку кое-какой скарб. Денег и ценных вещей давно у нас больше не было. Все было реквизировано, а остальное пропало в Ковно и в банке в Бахмуте. На каких то мешках устроили постель для еле дышавешго больного тифом, брата. С щемящей тоской следила я за приготовлениями. Сердце разрывалось... Белоус, помогавший нам укладываться подошел ко мне.

— Оставайтесь, Анна Павловна, — сказал он мне.

Я горько усмехнулась.

— Вы же знаете, почему это невозможно!

Он не настаивал.

**
*

Вечером 7-20-го ноября мы переехали в теплушку, ибо в те времена никогда нельзя было знать, когда состав тронется, и надо было заранее быть готовым. Было часов одиннадцать и мы уже засыпали, когда в двери теплушки постучался кто то. Открыли. В вагон влез весь засыпанный снегом, с судорожно напряженным лицом, крестьянин в свитке.

— Вы генерал Максимович? — спросил он отца.

— Я. А что?

— Брата сегодня расстреливают, Луцека, матроса, помните? Спасите.

Отец немедленно написал, тут же, под закопченным фонариком, письмо в контр-разведку. Крестьянин поспешил туда...

Утром мы простились с Белоусом, пришедшим проводить нас. Я прочла на его лице сдержанное веселие.

— Что такое? — спросила я.

— Ничего, — ответил он уклончиво. — Имянины справляю. Сегодня 8 ноября. Гости будут интересные.

— Ага, ну кланяйтесь, если будут знакомые.

— Будут, будут, самые знакомые.

Я с тоской отвернулась от него.

— Оставайтесь, Анна Павловна, — сказал он. — Право оставайтесь. Ну чего вам ехать. Будете служить. Хорошо будет!

— Не знаю я что будет — ничего не знаю, — чуть не разрыдалась я.

— А я знаю, что будет отлично.

— Вам то легко! — шепнула я. — А я не знаю, что делать?

— Это и глупо.

— Может быть глупо, но я не вижу выхода. Не вижу совершенно.

Он покачал головой.

Через несколько минут паровоз резко дернул и состав медленно покатился по рельсам. Белоуса уже не было. Он поспешил в город, на собрание...

Две недели ехали мы через Полтаву и Харьков на Ростов. Харьков был занят через несколько дней после нашего отъезда. С величайшим трудом отцу удавалось проталкивать наш состав через загроможденные отступавшими деникинцами пути. Приехали мы в Ростов 12-го декабря.

17-го декабря отец опять раздобыл билеты (денег у нас совсем не было) и мы двинулись на Кисловодск, где должны были погрузить Здравицу № 3, и вместе с ней эвакуироваться на Екатеринодар. Приехали в Ессентуки 24 декабря — 7 января 1920 года, а через два дня добрались до Кисловодска. Тут управление Здравицы стало говорить, что уезжать незачем, ибо «большевики никогда не дойдут сюда». Однако, отец убедил их, что большевики придут непременно, и что остается лишь решать, ждать ли их прихода, или уезжать. Здравица решила уезжать и мы отправились. Ростов уже был взят.

До Екатеринодара мы еле доехали. Я лежала в бреду, сильно разболелась в теплушке, где то было невыносимо жарко, то коченели от мороза. В конце января достигли Екатеринодара. Забрав там раненых, поезд двинулся дальше, к Новороссийску, куда мы приехали, кажется, в середине февраля. Тут я даты путаю, ибо лежала сильно больная, и плохо помню этот кошмарный период, самый тяжелый для меня с начала революции. Я страдала безумно при одной мысли, что может быть придется покинуть Россию.

14-27-го февраля, если память не изменяет, отец пришел в теплушку взволнованный и сказал готовить все к отъезду на утро, ибо итальянский пароход Брюнн забирает желающих эвакуироваться беженцев и везет их... неизвестно куда. Я рыдала всю ночь, но оставаться одной в неизвестном городе, больной, без всяких средств, прямо на улице, было немыслимо... На утро мы погрузились.

В горах, окружающих Новороссийск, шла стрельба — добровольцы отбивались от осмелевших зеленых. Под звуки выстрелов, «Брюнн» отчалил и взял курс на Ялту, куда отвозил желавших присоединиться к Врангелю. Но отец Врангелю не верил, и идти с ним не хотел. Последний образ, который я запечатлела о России, это розово-золотистый отблеск ялтинских гор... Несмотря на болезнь и на страшный холод, я четыре часа стояла с отцом на корме «Брюнна» и смотрела... с какой безысходной, отчаянной болью... на тающий вдали родной берег.

За что я должна уехать! За что? Почему я не имею права быть

на родной земле? Почему все могут там жить, а я не должна? Почему надо прогнать или убить меня, чтобы люди в России стали счастливы? Почему я им враг? Почему ни царское правительство последнего времени, ни гетманцы, ни деникинцы ничего путного создать не могут и лишь разжигают в народе ненависть? Почему я должна за это расплачиваться? Почему меня ненавидят те люди, которых я так люблю?..

Едем мы в трюме, среди угольных мешков. Из милости, пароходное начальство выдает беженцам пищу, так как купить не на что... Едем три долгих томительных дня.

**
*

Наконец, утром в белом, молочном тумане, неясно выступают очертания гор. Босфор, Константинополь... Красивый, знаменитый пейзаж, воспетый столькими поэтами! Но как странно. Я, обычно так остро чувствующая красоту, так физически-близко воспринимающая природу, абсолютно холодна. Будто камень какой то вместо сердца!

Я сознаю, что это глупо. Разве только Россия хороша? Разве не узость любить один берег Черного моря, и не любить другой? Но это говорит разум. А чувствуется другое: то я люблю, а это нет!

Тузла, предместье Константинополя. Нас ведут на берег, в какую то баню, где страшные сквозняки и вода ледяная. Дрожим от холода, и простуженные возвращаемся на «Брюнн». Медленно проходим через Босфор в Мраморное море. Нас везут на Принцевы острова.

Да, красиво, очень красиво. Но отчего это все так безжизненно, мертво... Или я сама омертвела? Слезы назойливо ползут по щеке. Хорошо, что никто не видит.

Остров Антигона, на котором нас размещают, небольшой, но очень живописный, находится под властью итальянцев. Они обходятся с нами человечно, чего нельзя сказать про остальных «союзников». Например, англичане, не стесняясь, показывают, что они думают про «нэтивс» — туземцев, как они называют всех иностранцев, считая их человечеством низшего разряда.

Мне везет. Тут же на пароходе меня уже наняли заведывать открывшейся на острове библиотекой. Буду получать 25 лир в месяц. Денег у нас нет ни копейки, и я очень рада заработку.

Мать находит уроки музыки, ибо чудно играет на рояле, и дает несколько концертов. Это позволяет нам перебиваться... Опять повезло. Мать поступает учительницей музыки в американский колледж в Арнауткей, и ей предлагают взять сестру и меня учиться в колледже на стипендии. Там открывается медицинский факультет, и я могла бы стать доктором.

Я была рада перспективе учения. Но одно меня пугает: я боюсь крови и трупов... Очень боюсь. Когда я вижу кровь, то мне становится дурно, звенит в ушах, перед глазами идут круги и надо сесть или выйти из комнаты. Как же это будет?

— Хорошо, — говорит д-р Патрик, президент Колледжа, кото-

рой я понравилась. — Тогда поступайте на философский. Я сама там преподаю, и буду вам помогать.

Она смотрит на меня умными, ласковыми глазами... Кровь бросается мне в лицо! Какая недостойная слабость останавливаться перед таким глупым препятствием, как нервный страх перед трупами! Кому нужна будет в России здешняя философия? Никому! А я буду валять дурака и тратить время на отвлеченные умозаключения, тогда как в России идет такая революция! Конечно, мне легче выучить философов по книжкам, чем резать трупы, — но куда же я гожусь, если сама с собой справиться не могу! России врачи нужны будут — это конечно. А философы!..

— Очень прошу вас зачислить меня на медицинский, — говорю я.

— А справитесь ли?

— Надеюсь.

Мать сказала мне потом, что очень испугалась, видя, что я так колеблюсь, вместо того, чтобы благодарить президента за оказанное мне благодеяние.

Учение идет как всегда хорошо, а чтобы отплатить немного за свое содержание, подаю за столом, мою посуду, чищу серебро, а летом бесплатно служу сестрой в американском госпитале, в Стамбуле. Тут я впервые сталкиваюсь с национальной рознью, на положении низшей расы. Англо-саксонские сестры нас — армянок, гречанок и русских считают существами низшего порядка. Кормят впроголодь, тогда как сами отлично едят за отдельным, господским столом. Работаем с 7 часов утра до 7 вечера с двухчасовым перерывом, причем в часы службы строжайше запрещено садиться, даже когда делать абсолютно нечего. Сесть не имеем права. Надо стоять.

Это меня возмущало, доводило до ярости! Утром ничего — идет работа, и сидеть не хочется, потому что есть дело: умываешь больных, прибираешь палаты, меряешь температуру, кормишь слабых и оперированных, даешь ванны и т. д. Но после обеда, вся работа кончена. Надо просто следить за больными и подавать им, что нужно. И вот начинается пытка. Стоишь сложа руки, и не смеешь сесть, а делать нечего. Так и стоишь! Ноги болят, спину ломит, иногда голова кружится от усталости, в особенности после серии ночных дежурств. Почему нельзя сесть? Нельзя, и конец! Не позволяют. По палатам ходит англичанка и строго следит за этим. Даже прислониться к подоконнику нельзя. А работы нет. Молчи и стой!

Сестры стараются уходить в уборную, чтобы посидеть хоть там. Но за этим строго следят и, если это делать часто, то вызовут к директриссе. Почему? Зачем? Для чего? — Такая дисциплина!

Буря ненависти подымается во мне — бессильной, злобной, отвратительной. У Богунского на принудительных, и то садилась, а этих разве поймешь? Конечно, зимой они меня содержат и учат даром, и я за это благодарна им, но зачем же такое бессмысленное издевательство! Зачем мучить людей даром!

1922 год — поздняя осень. К Константинополю подходит Кемаль паша. Надо уезжать. Не для того бежали от своей революции, чтобы

попасть в чужую. Отцу советуют ехать в Лион, где открывается французское общежитие для студенток. Туда бесплатно принимают русских.

Едем в декабре, на пароходе «Кинг Александр», через Дарданеллы, Пирей, Патрас, в Марсель. Видим вулкан Стромболи. Да, красиво.

Так и не удалось мне осмотреть Константинополь. В колледже и в госпитале нас держали строго. Выходить в город не позволяли, да и денег не было, чтобы ездить... Раз только пошла в Айю Софию, да заглянула в Галату, где в то время открылось Советское консульство... Что там в моей далекой, ненаглядной России?.. Говорят ужас!.. Умирают от голода... Тоска! Тоска!

Лион. Опять посчастливилось. Через две недели уже удалось поступить в университет на медицинский факультет, и стать секретарем профессора анатомии А. Латаржэ. Работы масса. Надо все переучивать с английского на французский, многие предметы здесь совсем новые — их не проходили вовсе в Константинополе. Утро занято практическими работами в госпитале, а после обеда сижу у Латаржэ. Учиться приходится поздно вечером. Очень стараюсь, ибо надо получить хорошие отметки на годовых экзаменах, чтобы получить на будущий год стипендию. Латаржэ обещал похлопотать.

Июль 1923 года — экзамены сдала на «хорошо». Стипендия будет. Перешла на второй курс.

Июль 1924 года — перешла на 3 курс. Отметки хорошие — стипендию продолжили. Мне советуют держать конкурс на «экстерна госпиталей», госпитальное звание, которое здесь ценится. Кандидатов около 200, а мест 30-40.

Выдерживаю конкурс.

Июль 1925 г. Перехожу на 4 курс. Самое трудное позади. Привыкла к трупам настолько, что режу их отлично, и сама, как «экстерн», делаю вскрытия в госпитале совершенно правильно. Старший врач приходит только проверять и остается доволен. Каждое утро делаю в отведенной мне палате перевязки и усыпляю больных при операциях. Работаю у знаменитого профессора Берара, президента французской Лиги по борьбе с раком. Он замечательно оперирует. Особенно интересны операции рака щитовидной железы, когда приходится выпиливать часть грудной кости, и торакопластия туберкулезных, когда у неусыпленного пациента, с одной местной анестезией выламывают до 11 ребер. Впоследствии техника этой операции стала менее страшной, но тогда это было что то зверское! Но и тут я уже в обморок не падаю.

За время учения мне становилось дурно несчетное количество раз, по нескольку раз в день и, наконец, привыкла. Теперь все в порядке.

В декабре того же, 1925 года, первой выдерживаю конкурс на «интерна психиатрических госпиталей Ронского департамента» и начинаю специализироваться по психиатрии. Это замечательно

интересно. Живу и работаю в огромном Бронском азиле, в университетской клинике проф. Лепина.

Июль 1926 г. — перехожу на последний курс.

Июль 1927 года — оканчиваю университет. Остаются лишь так называемые клинические экзамены, что то вроде государственных экзаменов, принятых в России. Сдаю их за зиму 27-28 года.

Теперь советуют ехать в Париж, держать конкурс на «интерна Сэнских психиатрических госпиталей», так как парижское звание больше ценится. Остановка за одним: не на что жить в Париже. Но мне опять повезло! Посылаю в парижские госпиталя свои свидетельстства с просьбой принять на службу. Принимают сразу два госпиталя — Мэзон Бланш и Опиталь Анри Руссель. Поступаю в Мэзон Бланш и успешно выдерживаю конкурс следующей весной.

Кончено. Психиатр из меня вышел недурной. Но что же делать дальше? Государственные азили мне закрыты, так как я иностранка!

Поступаю в частную клинику ассистентом. Все говорят, что место найти очень трудно, но мне опять везет. Принимают срезу в двух местах: в клинике Ленобля, под Парижем, где я буду жить и работать утром и вечером, а после обеда я служу секретарем д-ра Тулуза в Опиталь Анри Руссель. Заработок хороший.

Тут случилось давно ожидавшееся мною несчастье. Отец слег, чтобы больше не вставать. Его мечтой было дать нам хорошее образование и он требовал, чтобы мы учились, тогда как сам он работал ночным сторожем на фабрике. И вот именно в 1929 году, когда мы трое закончили учение и получилн службу, он умирает... Мы перевезли его с матерью в Париж и поместили в клинику.

Но хозяину моему не понравилось, что я взяла 15 дней отпуска, чтобы перевести из Лиона больного отца; начинается кризис, у него дела идут хуже. Он увольняет меня. А ведь надо платить за отца!..

Снова мне улыбается счастье. Выходит даже лучше прежнего. Поступаю в клинику д-ра Коллэ и, продолжая работать у Тулуза, начинаю отлично зарабатывать. Правда, работы чрезвычайно много, и никто не соглашается жить так. Поэтому и платят мне хорошо. Каждую ночь меня вызывают к больным, сделать укол или дать лекарство, а на утро я как ни в чем не бывало, должна приняться за души, массажи, электрическое лечение и т. д. Наскоро пообедав, надо лететь к Тулузу и работать до 6 часов вечера, а затем опять назад, к Коллэ, для вечернего обхода. И так изо дня в день... Свободного времени в неделю всего несколько часов — от 7 часов вечера в субботу, до 12 часов дня в воскресенье. Вот и все. Но зато можно прилично устроить родителей.

Отец умирает, но и тут мне не дают отпуска. Позволяют отлучиться лишь на ночь. Ночью сижу у тела отца, и картины детства проносятся передо мною... Как многим я ему обязана!..

А утром опять к Коллэ! Совсем не спала четверо суток! Ничего! Выдерживаю. Но посторонним ничем заниматься не удается. Даже газеты некогда читать. Я совершенно отрезана от мира! Что там в России? Большевики все сидят, но что они там делают?

***

— Мадемуазель, доктор К. вас просит, — говорит библиотекарь. Я встаю и направляюсь к двери.

Вот уже больше года, как я работаю в Институте Психической Профилактики, в Париже. Работа чрезвычайно интересная. Директор института, д-р Тулуз, не только выдающийся психиатр, но и замечательный организатор. Он создал во Франции первый центр для свободного, амбулаторного и клинического лечения душевнобольных.

Для того, чтобы понять всю важность этого прогресса, достаточно знать, что обычно лишь богатые люди могут во время начать лечение психического заболевания. Лишь только родственники убеждаются , что больного надо лечить, его помещают в частную клинику. Но эти последние огромному большинству населения совершенно не доступны. Не менее полуторы тысячи франков в месяц стоит такое лечение! Где же о нем мечтать рабочему или служанке, зарабатывающей 350 фр. в месяц.

А между тем, кроме частных клиник не существует никаких заведений, куда можно было бы поместить нервно больного, нуждающегося в лечении, но еще не совсем обезумевшего. Обыкновенные больницы их не принимают. А в «сумасшедшие дома», азили, закон разрешает помещать лишь тех, кто «является опасным для себя или для других». Куда же деть человека в начале заболевания, то есть именно в то время, когда лечение могло бы дать самые благоприятные результаты? Посадить его в азиль воспрещает закон, ибо он еще не опасен. Госпиталя не принимают. Вот и остается одно — ждать, пока состояние больного не ухудшится настолько, что он станет годен для азиля. Но таким образом упускают самое драгоценное время. И вот человек, который отлично мог бы поправиться, если бы его стали лечить во время, делается хроническим сумасшедшим, потому что он смог начать лечение лишь тогда, когда болезнь осложнилась и затянулась.

Сразу же после окончания войны, д-р Тулуз начал энергичную кампанию в пользу открытия специального заведения для психических больных, где их принимали бы без полицейского свидетельства об опасности. Рядом с этим психиатрическим госпиталем, названным «Анри Руссель», была создана амбулатория для приходящих нервных больных, с дешевой аптекой. А особый отряд квалифицированных сестер социальной помощи высылается на дом к больным, и обследует бедные кварталы с целью предупреждения несчастий, связанных с психопатами, болезнь которых ускользает от окружающих, и которые в припадке безумия являются иногда причиной страшных драм.

С доктором Тулузом было тем более интересно работать, что он, помимо психической профилактики интересовался целым рядом вопросов, касающихся социальной гигиены. Перевоспитание преступников и влияние психической недоразвитости и разных социальных факторов на преступность... Устранение профвредностей на заводах, фабриках, шахтах... Определение способностей молодых людей для выбора ими соответствующей карьеры.. Профессиональный отбор кадров

для различных видов работы, как шоферы, машинисты на поездах и т. д.... Изучение влияния различных профессий на здоровье и причины этого влияния... Все эти, и множество других вопросов разбираются в Институте. В виду моего знания иностранных языков и умения быстро читать и резюмировать книги, подготавливать материал для докладов и статей Тулуза поручает мне. Это захватывающая работа!

— Здравствуйте, — сказал К., когда я вошла к нему в кабинет. — Вот в чем дело. Через три дня выходит наш журнал «Психическая Профилактика», и надо в отделе хроники поместить отчет о новых мероприятиях Советов, устроивших там что то такое в Москве. Переведите, пожалуйста. Вот здесь... Рассказывают, что это похоже на наш Психиатрический Центр.

Он подал мне советский журнал.

— Не думаю, конечно, чтобы эти дикари могли сделать что нибудь серьезное, — улыбнулся он. — Но надо показать, что мы в курсе. Удивительно, как русский народ мягкотел и... терпелив... что ли! Разве европейцы потерпели бы владычество большевиков! Но у вас ам слав, и в страдании вы находите какую то прелесть. Дохнут с голоду, а молчат. Любят кнут!

Я сжала губы и проглотила слюну.

— А, может быть, они все-таки там сделали что нибудь полезное, — говорю я с деланным спокойствием.

Он рассмеялся.

— Что вы! Разве им до психиатрии. Там есть нечего! И это среди плодороднейших степей! Что значит отсталый и апатичный народ! Подумайте, чем была бы Россия, если бы она была в руках европейцев! Но вы такие фантазеры непрактичные! Вот выдумать какую нибудь сногсшибательную теорию, поверить безумной утопии, или страдать вселенской скорбью (потому, что мир лежит во зле) это русские умеют. Ну и пляски разные, пение... Я люблю русские басы, такие глубокие, нечеловеческие, словно не люди поют, а земля гудит... Это ваше дело! А чтобы создать что нибудь реальное — нет, не умеют!.. Соважи!.. Ну, так я надеюсь, вы скоро переведете. Иностранные языки это тоже ваша русская специальность.

Я вышла из комнаты, сжимая покрывшиеся потом кулаки, и страстно желая, чтобы хоть на этот единственный раз, большевики сделали что нибудь приличное!

Через несколько дней, за моей подписью, появился в журнале отчет о великолепном Психиатрическом Институте, организованном большевиками в Москве.

— А вы не допишете тут заметочку о том, что вряд ли это серьезно, и что наверное ля Чека все это сама придумала и расписала небылицы про этот институт, — заметил мне молодой доктор. — Сами понимаете! Ха, ха! Не может же этого быть!

— Нет, заметочку уж вы сами напишите, — ответила я. — А я все написала, что нужно.

— Но разве вам не приятно будет добавить свое мнение об этих разбойниках, разоривших вас и прогнавших с родной земли? — спро-

сил он подымая брови.

— Не здесь! — кратко бросила я.

Он пожал плечами, и отчет вышел без его заметки.

***

Международный юридический конгресс 1932 года.

Готовлю материал для доклада Тулуза по очень важному вопросу. Дело идет о старом споре между юристами и психиатрами по поводу «виновности» преступников.

С незапамятных времен вся юридическая система покоится на понятии о виновности человека, нарушившего закон, и справедливом возмездии за эту вину. Если вина больше, наказание должно быть более тяжелым, и, наоборот, меньшей виновности должно соответствовать более мягкое наказание. Этот взгляд в юридической практике держался в течение тысячелетий. Первый удар ему нанесли психиатры.

Случилось это так.

Во все времена считалось, что нельзя признавать виновным, а следовательно и наказывать человека, если он совершил преступление в состоянии безумия, не отдавая себе отчета в том, что он делает. Но до 17-18 века определяли существование психического расстройства сами судьи, и естественно по отсутствию необходимых знаний и опыта допускали множество ошибок. В 18, а в особенности в 19 веке за этим стали обращаться к врачам. Начались экспертизы, врачебные осмотры преступников в широком масштабе. Так как на кары смотрели, как на возмездие за вину, то ясно, что справедливость требовала освободить от наказания людей, совершивших преступный акт под влиянием болезни. Но вскоре оказалось, что вопрос гораздо более сложен, чем кажется.

Насчет явно больных психопатов никакого сомнения не было. Их надо не наказывать, а лечить. Поэтому их оправдывали и отсылали на излечение в соответствующие больницы.

Но рядом с ними, существует огромная масса слегка ненормальных людей, не являющихся однако сумасшедшими в обычном смысле этого слова. Это дети алкоголиков, с хрупкой и отравленной спиртным ядом нервной системой. Это зараженные наследственными заболеваниями, или умственно недоразвитые. Или люди, нервы которых истощены тяжелыми условиями жизни, переутомлением, отравленные разными ядами, а поэтому психически неустойчивые и т. д.

Что делать с ними? Болезненное их состояние несомненно имело влияние на совершение ими преступления, но до какой степени? Они менее способны, нежели нормальный человек сопротивляться преступному влечению — и в этом виновата их болезнь. Но их нельзя признать безумными. Они часто ловко и умело подготовили свое преступление, защищаются умно. До какой степени их психическая ненормальность должна считаться смягчающим их вину обстоятельством?

Тут началась целая бухгалтерия, научное достоинство которой должно быть признано весьма невысоким. Стали пытаться определить в процентах степень ненормальности преступника, как расценивают в процентах уменьшение трудоспособности пострадавших рабочих. Человек на половину, или на четверть должен быть признан ненормальным, а следовательно, наказывать его надо на половину или на четверть меньше, чем обыкновенно.

Не говоря уже о том, что справедливость такого расчета более, чем сомнительна, результаты на практике вышли весьма неудовлетворительные. В общем это значило, что полупомешанных, отравленных кокаином и другими ядами, неустойчивых преступников держали в тюрьмах гораздо меньше, чем других, и после краткого сидения, они опять возвращались на волю, где немедленно опять совершали разные проступки и преступления. Суды переполнялись рецидивистами.

А врачи заявляли в один голос, что никак не могут поручиться за справедливость и точность своих бухгалтерских выкладок, для определения степени виновности.

Вопрос находился приблизительно в этой стадии к началу мировой войны. К этому времени, материалисты стали говорить, что вообще понятие о виновности отжило, ибо если отказаться от религиозного мировоззрения, то ни о какой виновности вообще не может быть речи. Если человеческие действия являются результатом биохимических процессов, то о какой вине, и о каком возмездии можно говорить. Христиане с этим соглашались, хотя и по другим соображениям. И к тому же всем вообще было ясно, что практически учесть степень виновности человека невозможно. Слишком много факторов ускользает от судьи. Как справедливо взвесить влияние наследственности? Воспитания? Среды? Как учесть биологическое состояние преступника в минуту преступления? О справедливой и точной расценке всего этого не может быть и речи.

Таким образом рушилась главная основа всей старой юридической системы — понятие о справедливом возмездии за вину. Взамен ее выдвигался другой принцип — идея социальной защиты от опасных для общества элементов. С такой постановкой вопроса очень многие были согласны, но реальная замена всей веками выработанной юридической системы новыми методами натолкнулась на крупнейшее затруднение. Не оказывалось власти, которая могла бы это сделать. Проведение такой гигантской реформы через палаты буржуазно-капиталистических государств оказалось просто немыслимым, тем более, что единогласия по этому поводу не было не только среди юристов, но даже между психиатрами.

В это время произошла октябрьская революция, которая смела все раннее существовавшее, и оставила свободное поприще для проведения новых мер. И вот в 1926 г. Советский кодекс провозгласил принцип социальной защиты от опасных элементов, и применении к ним мер судебно-исправительного, медицинского и медико-педагогического характера. Причем прямо заявлялось, что меры социальной защиты не могут иметь целью причинение физического страдания

или унижения человеческого достоинства, и задачи возмездия и кары себе не ставят. Весь кодекс основан на понятии социальной защиты, и предоставляет судам гораздо более широкие полномочия чем повсюду, для определения в каждом данном случае целесообразных мер

— Ну, что же? Есть что нибудь новое, интересное? — спрашивает меня молодой врач Х. — Как там ваши изыскания?

— Ведь мы стоим за социальную защиту, — спрашиваю я, — правда?

— Ну, конечно.

— Тогда, значит, берите советский кодекс 1926 года.

— Что вы, помилуйте, — ахнул он. — Этих разбойников?! Чекистов?! О! Что вы там нашли хорошего?

— Да вот. Они взяли и провели этот принцип.

— Не может быть.

— А что мне делать! Взяли и провели! Смотрите отчет.

Он быстро пробежал написанное.

— Врут — крикнул он убежденно.

— В том то и дело, — вздохнула я, — что, когда они перечисляют пуды угля или железа, то можно сказать, что они врут. Но когда они провозглашают принцип, то нельзя сказать, что врут. Тем самым, что они говорят, что это их принцип, они его проводят в жизнь. Ведь принцип — это идея! Мысль!

— Так вы думаете, что у них хорошие принципы? — недоумевал он.

— Остальные — не знаю. Но этот ведь хорош! Никто еще не сделал, а они уже его провели. Не можем же мы сказать, что это плохо!

— Но ведь вы их ненавидите! Правда?

Я нетерпеливо пожала плечами.

— По сведениям, доходящим до нас, они разорили страну, и ничего путного не создали. Это мне, конечно, неприемлемо! Но когда они действуют правильно, то слава Богу, я очень рада!

— Странно, как вы к ним относитесь, — усмехнулся он. — Если бы меня так разорили, лишили всего, изгнали, как вас, я пылал бы лютой злобой. А вы! Впрочем, все вы, русские, непротивленцы! Вас бьют, а вы рады! Живете созерцательной жизнью — вот вас и обирают. И самое лучшее было бы, если бы кто нибудь ,наконец, навел порядок на вашей территории. И для европейцев рынок открылся бы, и соважи - мужики стали бы жить лучше.

Я вскипела.

— А все-таки, принцип социальной защиты в Европе после дождика в четверг проводиться будет, а большевики его уже провели!

Он расхохотался.

— А вы и впрямь их защищаете! Потеха право! Они с этим самым кодексом в руках вас в два счета расстреляли бы, если бы вы появились на родине, а вы! Ха! ха! ха! Но это уже русская черта — любите кнут!

— А вам кажется, что кроме меня никого на свете нет, и что главная задача правительства, это соблюдать мои интересы! Это да-

же комично! Если бы единственным недостатком советской власти было то, что она меня изгнала, я считала бы ее совершенством!

— Мы чувствуем совсем по иному, — улыбнулся он. — Не сердитесь! Я вовсе не хочу вас обидеть. Но мне забавно, когда вы защищаете большевиков. Это так парадоксально!

— Я вовсе их не защищаю, — недовольно проговорила я. — Я просто рада, когда там делается что нибудь хорошее! Если бы они во всех областях так поступали, то я давно была бы с ними согласна. К сожалению, на это расчет плохой.

Через несколько дней я подала д-ру Тулузу обширный доклад о том, как большевики осуществили ту реформу, которую мы хотим защищать на конгресе. Он чрезвычайно заинтересовался и мы много говорили об этом в Институте.

**
*

Настал кризис. У хозяина в клинике дела пошли хуже и, хотя он доволен мною, (еще бы не был доволен, кто же согласится на такой труд!), но ему невыгодно меня держать. И я чувствую, что мое положение шатко.

Как ни работай, не можешь быть спокоен за завтрашний день! Что же делать? Опять искать места, чтобы снова работать, как на каторге, пока опять не прогонят! А ведь я еще привилегированная служащая с отличной квалификацией! Эх! Прав Маркс!

Нет. Надо открыть свою клинику. Считают, что это невозможно без капитала, но я знаю, что смогу. Это трудно, но возможно! Больные придут и внесут деньги.

У нас с братом отложено десять тысяч. Нанимаем павилион и устраиваем сначала одну комнату — больная входит. Устраиваем вторую, третью. Больные идут. Им нравится. Через несколько месяцев приходится открыть рядом второй павилион, потом переносим клинику в Шавиль.

Все идет отлично. Наконец то, после стольких годов напряженного, неустанного, непрерывного, всепоглощающего труда, имею время осмотреться и пораздумать... Как я оторвалась от жизни! Что в быстро прошли эти годы! Что же теперь делается на свете? Что в России? Ведь за все это время я никуда не выходила, ни с кем не виделась, даже газет почти не читала. Только работала, работала: экзамены, дежурства, сумасшедшие, конкурсы, доклады Тулузу, подготовка материала для конгрессов...

Психиатр я хороший, но что же творится в мире? Что сталось с Россией? Эти долгие годы я только любила ее, но даже думать о ней не имела времени, не то, чтобы серьезно следить за происходившими там событиями. Говорят, что там гибнут люди, что постоянный голод, что большевики должны скоро пасть — хотя они все никак не падают!

Меня мучит совесть. Как же это я не заметила, что прошло столько лет! Столько лет боролась для себя и даже не следила за тем,

что происходит на Родине! А вот говорят другие, хотя лично и хуже устроились, но зато все свои силы отдали России. В Париже масса эмигрантов, занятых политической деятельностью. За эти годы народились новые течения, которые уже победили в Италии и Германии, и молодые русские политические организации, более или менее родственные фашизму, собираются вести Россию по новым путям.

Однако там, в СССР большевики все же сидят крепко и делают какие то удивительные вещи — какие то пятилетки, колхозы, социалистическое стротельство... Гм! Надо во всем этом разобраться.

В моем кабинете накопляются грудами классики марксизма — Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, советская беллетристика, газеты... Люди говорят, что по книгам нельзя создавать себе впечатление о политических событиях — что же делать! Я иначе не умею! Не привыкла в серьезных делах полагаться на одну интуицию и инстинкт. Вот сначала разберусь, посмотрю, а затем и увижу. Надо посмотреть, что все эти люди сделали, что они говорят и хотят.

И вот я в первый раз встречаюсь с эмигрантами. Как это ни странно, но вплоть до июня 1932 года, я эмигрантов вовсе не знала, и даже не видела никогда, кроме двух-трех студентов в университете. Что это за люди? Что они делают?

Во всяком случае ясно одно. Не для того я столько работала, чтобы сидеть спокойно в кабинете и ездить по вечерам в театр. Не имею я на это никакого права. Сколько труда и усилий было потрачено для того, чтобы дать мне это образование, чтобы сделать из меня трудоспособного, могущего быть полезным человека. Единственное, чем я могу отблагодарить, это — приносить пользу. Но как? Где? Каким образом?

